

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ

«НАУКА»
МОСКВА — 1990

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.	МАЙРХОФЕР М. (Австрия)
АРИСТЕ П.	МАРТИНЕ А. (Франция)
БАНЕР В. (ФРГ)	МЕЛЬНИЧУК А. С.
БЕРНШТЕЙН С. Б.	НЕРОЗНАК В. П.
БИРНБАУМ Х. (США)	ПИЛЬХ Г. (ФРГ)
БОГОЛЮБОВ М. Н.	ПОЛОМЕ Э. (США)
БУДАГОВ Р. А.	РАСТОРГУЕВА В. С.
ВАРДУЛЬ И. Ф.	РОБИНС Р. (Великобритания)
ВАХЕК Й. (ЧСФР)	СЕМЕРЕНЬ О. (ФРГ)
ВИНТЕР В. (ФРГ)	СЛЮСАРЕВА Н. А.
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)	ТЕНИШЕВ Э. Р.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.	ТРУБАЧЕВ О. Н.
ДЖАУКЯН Г. Б.	УОТКИНС Ш. (США)
ДОМАШНЕВ А. И.	ФИШЬЯК Я. (Польша)
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)	ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ДУРИДАНОВ И. (Болгария)	ХЕМП Э. (США)
ЗИНДЕР Л. Р.	ШВЕДОВА Н. Ю.
ИВИЧ П. (СФРЮ)	ШМАЛЬСТИГ В. (США)
КЕРНЕР К. (Канада)	ШМЕЛЕВ Д. Н.
КОМРИ Б. (США)	ШМИДТ К. Х. (ФРГ)
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)	ШМИТТ Р. (ФРГ)
ЛЕМАН У. (США)	ЯРЦЕВА В. Н.
МАЖЮЛИС В. П.	

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.	КОДЗАСОВ С. В.
АПРЕСЯН Ю. Д.	ЛЕОНТЬЕВ А. А.
БАСКАКОВ А. Н.	МАКОВСКИЙ М. М.
БОНДАРКО А. В.	НЕДЯЛКОВ В. П.
ВАРБОТ Ж. Ж.	НИКОЛАЕВА Т. М.
ВИНОГРАДОВ В. А.	ОТКУПЩИКОВ Ю. В.
ГАДЖИЕВА Н. З.	СОБОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.	СОЛНЦЕВ В. М.
ГАК В. Г.	СТАРОСТИН С. А.
ДЫБО В. А.	ТОПОРОВ В. Н.
ЖУРАВЛЕВ В. К.	УСПЕНСКИЙ Б. А.
ЗАЛИЗНЯК А. А.	ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.	ХРАКОВСКИЙ В. С.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.	ШАРЬБАТОВ Г. Ш.
КАРАУЛОВ Ю. Н.	ШВЕЙЦЕР А. Д.
КИБРИК А. Е.	ШИРОКОВ О. С.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)	ЩЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,

.. редакция журнала «Вопросы языкознания», Тел. 203-00-78

СОДЕРЖАНИЕ

4

Герда С. (Ленинград). Морфемика в ее отношении к лексикологии	5
Шилдз К. (Ланкастер, Пенсильвания). Заметки о происхождении основообразующих формантов в индоевропейском	12
Храковский В. С. (Ленинград). Взаимодействие грамматических категорий глагола (Опыт анализа)	18
Проскурин С. Г. (Кемерово). О значениях «правый — левый» в свете древнегерманской лингвокультурной традиции	37
Санников В. З. (Москва). Конъюнкция и дизъюнкция в естественном языке (На материале русских сочинительных конструкций)	50
Белоногов Г. Г., Кузнецов Б. А., Новоселов А. П., Пашенко Н. А. (Москва). Лингвистическое обеспечение автоматизированных информационных систем	62
Панфилов В. С. (Ленинград). Классы слов (части речи) во вьетнамском языке	74
Фрумкина Р. М., Мостовая А. Д. (Москва). Овладение неродным языком как обучение знаковым операциям	90

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Журавлев В. К. (Москва). «Книга жизни» Н. С. Трубецкого (К столетию со дня рождения)	101
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Цветкова М. Л. (София). Основные направления исследований польской разговорной речи	116
Антинова А. М. (Москва). Основные проблемы в изучении речевого ритма	124

Рецензии

Климов Г. А. (Москва). <i>Studia Caucasologica. I: Proceedings of the Third Caucasian Colloquium. Oslo, July 1986; II: Vogt H. Linguistique caucasienne et armenienne.</i>	135
Чернов В. И. (Киров). Разновидности городской устной речи	138
Алексеев А. А. (Ленинград). <i>Neues Testament des Cudov-Klosters. Eine Arbeit des Bischofs Alexij, des Metropolit von Moskau und ganz Russland. Phototypische Ausgabe von Leontij Metropolit von Moskau. Moskau, 1892</i>	142
Карпенко Ю. А. (Одесса). <i>Русатвський В. М. Структура лексичної і граматичної семантики</i>	145
Кручина Е. Н. (Москва). <i>Japan Echo. 1989. V. XVI.</i>	148

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	154
--------------------------------	-----

CONTENTS

Ger'd A. S. (Leningrad). Morphemics and its relation to lexicology; f h i e l d s K. (Lancaster, Pennsylvania). Remarks on the origin of stem-formants in Indo-European; X r a k o v s k i j V. S. (Leningrad). Interaction of grammatical categories of the verb; P r o s k u r i n S. G. (Kemerovo). On the meanings «right — left» in Old Germanic languages and culture; S a n n i k o v V. Z. (Moscow). Conjunction and disjunction in natural languages (based on the materials of Russian coordinative conjunctions); B e l o n o g o v G. G., K u z n e c o v B. A., N o v o s e l o v a P., P a s c e n k o N. A. (Moscow). Linguistic supply of automatized computer-systems; P a n f i l o v V. S. (Leningrad). Word-classes (parts of speech) in Vietnamese; F r u m k i n a R. M., M o s t o v a j a A. D. (Moscow). Learning foreign languages by means of semiotic tests; From the history of science: Z u r a v l e v V. K. (Moscow). N. S. Trubetzkoy's «Book of life» (to the centenary of the scientist); Purveys: C v e t k o v a M. L. (Sofia). The main trends in the study of Polish colloquial speech; A n t i p o v a A. M. (Moscow). The principal problems in the study of speech rhythm; Reviews: K l i m o v G. A. (Moscow). *Studia Caucasologica*; C e r n o v V. I. (Kirov). Varieties of town-folk colloquial speech; A l e k s e e v A. A. (Leningrad). New Testament of the Chudov monastery; K a r p e n k o Ju. A. (Odessa). *Rusanovskij V. M.* Structure of lexical and grammatical semantics; K r u c i n a E. N. Japan Echo. 1989. V. XVI; Scientific life.

© 1990 г.

ГЕРДА С.

МОРФЕМИКА В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К ЛЕКСИКОЛОГИИ

Морфемика как относительно молодой раздел языкознания все более обретает свой самостоятельный статус и характер. Например, в Академической грамматике современного русского языка [1] находим раздел «Введение в морфемiku», а в Русской грамматике 1980 г. [2] — уже раздел «Основные понятия морфемикн». В новой Академической грамматике польского языка помещен самостоятельный раздел «Морфотактика», посвященный системному описанию морфемики польского языка [3]. В ноябре 1987 г. в Ленинграде состоялся симпозиум «Морфемика. Принципы и методы системного описания» [4]. Наконец, только в 1979—1982 гг., по нашим данным, опубликовано свыше 50 работ по морфемике. В этом отношении весьма примечательно появление двух словарей-справочников В. Н. Немченко [5, 6]. Терминология морфемики заняла прочное место даже в информационных тезаурусах по языкознанию [7, 8]. Все это говорит о том, что морфемика обретает и свой метаязык для описания данных, что, в свою очередь, всегда свидетельствует о становлении и стабилизации того или иного научного направления.

Настоящая статья не ставит целью рассмотрение истории становления морфемики в отечественном и зарубежном языкознании (см. об этом [5, 6, 9], ср. [10]) и представляет собой некоторое обобщение идей, высказанных в 1987 г. на Ленинградском симпозиуме по морфемике¹.

Вопрос о положении морфемики в ее отношении к другим разделам науки о языке с особой остротой встал в последнее время в связи с постановкой такой новой по своему типу для языкознания темы, как «Машинный фонд русского языка», и решением о разработке в его рамках специальной морфемно-словообразовательной базы данных.

В 1986 г. на страницах журнала «Вопросы языкознания» мы уже останавливались на основных трудностях, связанных с проектированием подфонда морфологии в Машинном фонде русского языка [11]. Первый год деятельности Рабочей комиссии по морфемно-словообразовательной базе данных показал, что такой подфонд не может быть сведен только к системе, которая лишь фиксировала бы результаты, накопленные в словарях, грамматиках, диссертациях и статьях. Такая морфемно-словообразовательная база данных должна обладать собственной стратегией поиска и лингвистической обработки языковых фактов, включая и разработку автоматического сегментатора слов на морфемы.

Морфемика в наши дни переживает приблизительно ту же стадию своего развития, которая характеризовала словообразование в конце

¹ Ниже основные понятия морфемики рассматриваются согласно [2]: в статье условно термины «морф» и «морфема» употребляются как синонимы, под термином «слово» понимается слово как совокупность его словоформ.

30-х — начале 50-х гг. [12—14] ². Каково положение морфемики в кругу ближайших родственных дисциплин — словообразования, морфологии, лексикологии? Морфемика с самого зарождения обрела свою автономию в основном по линии отделения от словообразования. Но и сегодня она, конечно, теснее всего связана со словообразованием. Сюда относятся такие вопросы, как взаимосвязь между разными типами словообразовательных моделей, производящих основ в словообразовании и структурных типов слов и словоформ в морфемике, соотношение словообразующих аффиксов и единиц, выделенных на собственно морфемном уровне, глубинных процессов порождения слова с его поверхностной структурой, словообразовательных значений и значений отдельных морфем.

Даже на первый взгляд очевидно, что морфемика — неотъемлемая часть морфологии в широком смысле слова. Что составляет основной предмет морфемики? Это теория и практика сегментации текста на морфологическом уровне, идентификация выделенных сегментов как единиц, релевантных в морфологическом отношении, качественная интерпретация и инвентаризация выделенных сегментов как морфов или неморфов, субморфов, квазиморфов, выделение и описание структурных типов слов как устойчивых последовательностей морфов в пределах слова, словоформы. Морфемике связывает с морфологией также описание значения морфем в рамках общей теории грамматического значения, выявление соотношения между структурными типами слов и частями речи (примеры конкретного анализа см. в [10]).

Меньше обсуждалось взаимоотношение морфемики с лексикологией. Действительно, на фоне тесной связи морфемики с общей морфологией и словообразованием кажется, что морфемика связана с лексикологией лишь косвенно. К проблемам взаимосвязи морфемики и лексикологии относятся: определение взаимоотношения разных видов структурных типов слов с теми или иными собственно лексическими группами, распределение отдельных типов морфем по группам слов и внутри слова и значений по общим типам морфологических структур [15].

Но морфемика связана с лексикологией гораздо глубже, а именно, на уровне самого метода анализа. Основной метод морфемики — морфемный анализ. Однако результаты морфемного анализа во многом зависят от того, какие типы слов исследователь выделяет в лексике языка и привлекает далее в ходе анализа. С одной стороны, само по себе это предполагает уже достаточно высокий собственно лексикологический уровень такого исследования. С другой стороны, отсюда следует, что в саму процедуру морфемного анализа должен быть включен отдельный блок, предусматривающий детальную разработку лексикологических (включая сюда и лексикографические) оснований морфемного анализа. Любой морфемный анализ, в котором отсутствует такой собственно лексикологический компонент, всегда будет обречен на критику со всех сторон. Рассмотрим названные аспекты подробнее.

Слово справедливо признается основной единицей языка, но только в лексикологии слово является основным объектом изучения прежде всего как носитель одного или нескольких лексических значений. Морфемике сближает с лексикологией то, что чаще всего она также оперирует отдельным словом и преимущественно в его исходной номинативной форме. Однако в то же время морфемике слово интереснее с точки зрения его

² Ср. у В. В. Виноградова: «Правила сочетания морфем в слова и фонетико-морфологические способы объединения морфов в структуры слов разных грамматических разрядов должны быть отнесены к законам грамматики языков» [13, с. 130].

внутреннего морфемного состава. Морфемика рассматривает слова как единства, состоящие из морфем.

В результате применения тех или иных принципов морфологической сегментации текста на определенном этапе анализа мы получаем цепочки слов, расчлененных на сегменты (морфы, субморфы, квазиморфы). Например, *не-со-из-мер-и-м-ость*, *не-со-из-мер-и-м-ость-ю*, (о) *не-со-из-мер-и-м-ост-и*.

Переходя от уровня наблюдения к уровню системы языка, можно представить эти цепочки морфов в виде общих структурных типов, таких, как P-P-R-S-S-S-F-³ или P-R-2S-F.

Таким образом, структурные типы слов — это цепочки, последовательности морфем в пределах слов того или иного типа [16, 17]. Нетрудно заметить, что все подобные структуры существуют в пределах слова как совокупности словоформ. С этой точки зрения морфемика — это наука о внутренней морфемной структуре слова, о структурных типах слов. И здесь в равной степени можно изучать структурные типы славянизмов, неологизмов или терминов, слов разговорной речи или слов сугубо книжных.

Подход с позиций структурных типов слов позволяет полнее описать их отдельные лексико-семантические группы, показать структурные типы, которые наиболее характерны для той или иной группы слов. Так, В. В. Виноградов предлагает относить к лексикологии анализ морфологического состава слов тесных, лексически замкнутых групп типа *младенец*, *первенец*, *птенец*; *чахотка*, *чесотка*, *сухотка* [13, с. 132].

В свое время тесная взаимосвязь структуры слова с лексическими и лексико-грамматическими группами была показана нами на материале названий рыб. В. М. Мокиенко — на географической терминологии, К. Вачковой — на болгарских сложных словах; К. Ковалик — на разных группах прилагательных польского языка, А. К. Карповым — на типах русских диалектных прилагательных [18—21]. Названные аспекты относятся, по-видимому, к «чистой» лексикологии. Предмет морфемики составляет изучение собственно морфемной природы структурных типов с точки зрения инвентаря и характера составляющих их сегментов.

Наиболее сложный круг вопросов связан с выявлением соотношения лексикологии и морфемики на семантическом уровне.

Как отмечал И. Г. Милославский, с одной стороны, значение многоморфемного слова не есть простая сумма значений его составляющих морфов. Оно включает в себя и определенное добавочное приращение значения, идущее как раз от значения морфов, образующих слово [22]. С другой стороны, само членение слова на морфемы производится, как правило, с учетом лишь прямого основного значения слова без принятия во внимание значений вторичных, переносных, омонимов. В то же время членение слов типа *спутник* (о космическом аппарате), *размазня* (о человеке) не может не учитывать не только самих принципов членения, но и значения соотносительных слов, привлекаемых для сравнения. Членение слова в его переносном, или вторичном, значении может иногда и не совпадать с членением этого же слова в его прямом значении, хотя в целом проблема прямой и косвенной семантической мотивированности слова меньше затрагивает морфемнику, чем словообразование, где она до сих пор является одной из наиболее дискуссионных (проблема двойной мотивации, множественности мотиваций) [23, 24].

³ P — приставка (префикс), R — корень, S — суффикс, F — флексия.

Для сегментации слова на морфемы важно не столько направление мотивации от производящего к производному, сколько вхождение данного слова в ряды других-слов, соотносительных в плане синхронии и по корню и по аффиксу, а также либо только по корню, либо только по аффиксу.

Членение отдельного слова на морфемы обычно производится с опорой на словарь или же на коллективное языковое сознание носителей данного языка. Рассмотрим подробнее эти аспекты. С одной стороны, в том или ином словаре (словарях) может не оказаться соотносительных рядов слов, позволяющих произвести вычленение того или иного сегмента.

В практике морфемики такие случаи обычно предусматриваются в самой процедуре морфемного анализа [25]⁴. С другой стороны, на результаты сегментации слова на морфы может оказать сильное влияние тип словаря, привлекаемого в качестве своеобразной шкалы членимости. Например, привлечение в ходе морфемного анализа терминологических словарей сразу резко расширит пределы членимости многих слов, находящихся на периферии литературного языка, таких, как *трахит*, *фальзит* [26].

Широкое использование диалектных и полудиалектных данных безусловно отразилось на сегментации многих слов в «Словаре морфем русского языка» [27]. Свои, иные результаты дает использование этимологических словарей (этот вопрос особо остро дискутировался на ленинградском симпозиуме в ноябре 1987 г.). Можно ли членить и каким образом, например, такие слова, как *окно*, *окунь*, *сохатый*, *басня*, *зодчий*, *мешок*, *крыльцо* [26, с. 106—108; 28, 29]. Использование при морфемном анализе словарей иностранных слов может также повлиять на членимость слова типа *микроскоп*, *телескоп* [27], *каталог*, *катализ*, *анализ*, *генезис* [30]. Таким образом, сегментация слова на морфы может по своим результатам быть зависимой и от словарей, используемых в качестве источников.

Через лексику морфемика особо тесно связана с проблемами синхронии и диахронии. Опора членимости — соотносительные ряды слов: именно в лексике синхроническое и диахроническое переплетаются наиболее сложно. Чаще всего членение слова на морфемы производится, однако, с опорой на языковое сознание носителей данного языка. Но и здесь синхронические пределы членимости во многом зависят от уровня знаний самого носителя языка. Так, при опоре на носителя языка, хорошо осведомленного в той или иной специальной терминологии, знающего иностранные языки, может получиться определенный результат членимости слов типа *баттерфляй*, *бульдог*, *офсайд*, *фильдер*, *студент*, *доцент* [31]; если же ориентироваться на носителя просторечия, делимость этих слов окажется иной: делимыми окажутся и слова типа *халдейка* [32], *вториться*, *назююкаться*, *ухайдакаться*, *отчихвостить* [33]. Особый аспект лексикологических проблем морфемики составляет обращение к фактам народной этимологии и переосмысления внутренней структуры слова (ср. русск. *спинжак*, *полуклиника*). При опоре на сознание носителя результаты членения слова на морфы во многом зависят и от строгости проведения самого эксперимента (характер аудитории по возрасту, образованию, профессии, месту рождения, проживания и т. д.), от объема и характера активного и пассивного словаря этих носителей. В лингвистическом отно-

⁴ Конечно, членимость слова во многом зависит и от того, признаются ли значимыми в языке те или иные остаточные выделяемые сегменты типа *-ос* в *космос*, *ра-* в *ра-дуга*, но эта проблема составляет уже объект собственно морфемики и к данной статье прямого отношения не имеет.

шении — это проблема периферийных границ литературного языка в области лексики⁵.

Итак, именно исходя из того, какие соотносительные слова, сходные по форме и по значению, привлекаются для доказательства выделяемости того или иного сегмента, и зависит нередко, как расчленяется на морфемы данное слово. Одной из наиболее сложных проблем для морфемного анализа является подбор и разработка лексической шкалы сегментации слов на морфемы. Без наличия относительно единой лексической шкалы сегментации членение с учетом значения проводить очень трудно. Следовательно, уже в самой процедуре морфемного анализа должны быть предусмотрены и учтены все исследовательские операции, которые ведут к вовлечению и использованию лексики и словарей. Если анализ ведется с опорой на словари, должны быть заранее заданы и оговорены виды словарей и сами конкретные словари, а также и исследования по лексикологии, которые служат основанием для сегментации; если анализ опирается на коллективное языковое сознание носителей языка, должны быть достаточно строго и последовательно описаны условия проведения эксперимента или охарактеризован тот обобщенный «средний» тип носителя литературного языка, который послужил эталоном при проведении сегментации.

В работах по диалектному словообразованию уже давно последовательно указывается, как ведется выделение словообразовательных типов, вариантов с учетом данных всего диалекта, говора села, индивида или же, напротив, исходя из наличия соотносительных слов в других диалектах, родственных языках. Собственно говоря, так же проводится словообразовательный анализ в работах по истории языка, где постоянно оговаривается учет таких факторов, как время, жанр, тип текстов, ареал, школа, традиции письменности и т. д. Ни один диалектный дифференциальный словарь не может быть создан, если он заранее не определил своего отношения к словарям литературного языка и словарям других диалектов. Наконец, проводя записи живой разговорной речи, мы постоянно учитываем и ситуации, и все «параметры» информанта (место рождения, возраст, национальность, образование, профессию и т. д.).

Итак, если процедура морфемного анализа учитывает значение как таковое, то она должна включать в себя в явном виде то или иное отношение ко всем названным выше проблемам.

Альтернативой подобному морфемному анализу являются только чисто алгоритмические процедуры, весьма полезные во многих прикладных целях, но вряд ли способные удовлетворить обычные филологические потребности [35]. При всей важности разработки автоматических сегментаторов слова в ЭВМ будущее морфемики и ее методов во многом все же зависит от таких факторов, как лексическое значение, типы речи, виды слов.

Наконец, еще один аспект взаимоотношений морфемики и лексикологии связан с тем, что в языке существует немало морфем, структурно равных отдельному слову. Это так называемые слова-морфемы. Сюда относятся прежде всего простые предлоги, союзы, частицы, междометия, артикли, многие наречия, неизменяемые имена типа *какаду*, *беж*. В том, что одни и те же единицы выступают в языке то как морфемы, то как слова, нет никакого противоречия. Подобно тому, как существуют однокоренные морфемы, выделяются и одноморфемные слова. Речь идет, с одной

⁵ Интересные и оригинальные примеры членимости и осмысления слов *вермикүлит*, *синусит*, *ифанит*, а также слова *учительница* в разных группах испытуемых в ходе психолингвистических экспериментов см. [34].

стороны, о таких примерах, как *кинообозрение, кинореклама, кинорепортаж, телецентр, телекурьер, телеинтервью, кафе-ресторан, клуб-кафе*, а с другой — *партибюро, комбюро, профбюро, оргбюро*, или усечения типа *неуд* от *неудовлетворительно*, *баскет* от *баскетбол*, *диск* от *дискотека*, *зам* от *заместитель*, *зав* от *заведующий* [36]. Во всех этих словах та или иная часть может выступать и в качестве отдельного слова, и в качестве морфа. Функционирование таких сегментов как морфов — предмет морфемики, но жизнь их в языке в виде отдельных слов — предмет лексикологии. Так, морфемика в части, связанной с аффиксоидами, тесно соприкасается с лексикологией на уровне сложных, составных, усеченных слов и аббревиатур. На то, что эти процессы — внутренне разные, обратил внимание еще А. И. Смирницкий, когда писал, что части слов типа *бык* в *овцебык* скорее выглядят, как отдельное слово, но не обладают такой же оформленностью и законченностью, как отдельное слово [37]. В конечном счете вопрос состоит в том, описывать ли в морфемике корни слов. Например, касаясь корневых морфем в целом, В. В. Виноградов полагал, что сам инвентарь корневых или вообще вещественных морфем не принадлежит грамматике [13, с. 130].

Взаимосвязь морфемики и лексикологии проходит не столько по ясно очерченным группам отдельных типов слов (с точки зрения их происхождения, сферы употребления и т. п.) или морфем, сколько по линии объема и широты словаря носителя языка, по линии объема словника словаря (словарей), привлекаемых в качестве основы для проведения морфемного анализа. Так, например, сегодня для многих из нас членами слова *асушник* «специалист по АСУ», *гаишник* «работник ГАИ», *пэтэушник* «учащийся ПТУ» [34, с. 91], но вряд ли членами слова *корыто, муравей, оленок*.

Отмеченные выше аспекты взаимосвязи морфемики и лексикологии позволяют более отчетливо увидеть не только наиболее существенные задачи морфемики, такие, как разработка гибких принципов морфемного анализа, инвентарь и типология морфов и морфем, их валентность, но и поставить вопрос об основной единице морфемики⁶. Таковой, по-видимому, является именно структурный тип слова как совокупность словоформ, и само по себе уже одно это делает актуальным продолжение обсуждения вопросов об отношении морфемики к лексике и лексикологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970. С. 30—36. W?
2. Русская грамматика. Т. I. М., 1980. С. 123—132.
3. Gramatyka wspolczesnego jezyka polskiego. Morfologia. Warszawa, 1984.
4. Морфемика. Принципы и методы системного описания/ Под ред. Герда А. С. и Бондарко А. В. Л., 1987.
5. Немченко В. Н. Основные понятия словообразования в терминах. Красноярск, 1985.
6. Немченко В. И. Основные понятия морфемики в терминах. Красноярск, 1985.
7. Тезаурус информационно-поисковый по языкознанию. М., 1977.
8. Никитина С. Е. Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике. М., 1978
9. Кубрякова Е. С. Основы морфологического анализа. М., 1974.
10. Герд А. С. Семантика морфемы: значение или значимость (valeur)?//Структурная и прикладная лингвистика. 1983. Вып. 2.
11. Герд А. С. Русская морфология и Машинный фонд русского языка// ВЯ. 1986.

⁶ При оценке связи морфемики и лексикологии следует учитывать и фонетические варианты слова, которые, однако, целесообразно рассматривать уже на фоне проблем соотношения морфонологии и фонологии, а также морфемики.

12. *Щерба Л. В.* Очередные проблемы языковедения // Щерба Л. В. Избр. работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958.
13. *Виноградов В. В.* Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии (на материале русского и родственных языков) // Вопросы теории и истории языка. М., 1952.
14. *Левковская К. А.* О словообразовании и его отношении к грамматике // Вопросы истории и теории языка. М., 1952.
15. *Зубрякова Е. С.* Стратификация значений в морфологической структуре слова // Морфемика. Принципы системного описания // Под ред. Герда А. С. и Бондарко А. В. Л., 1987.
16. *Герда А. С.* Структурные типы слов в современном русском языке // Исследования по грамматике русского языка. 5. Л., 1973.
17. *Герда А. С.* О специфике словообразовательного анализа в рамках одной лексической группы // Очерки по словообразованию и словоупотреблению. Л., 1963.
18. *Мокиенко В. М.* Словообразовательный анализ в рамках тематической группы // Studia rossica posnaniensia. 1972. 3.
19. *Волкова К.* Наблюдения върху морфемния и словообразователния строеж на сложните глаголи в съвременния български книжовен език // Годишник на Висшия педагогически институт в Шумен. 1976. Т. I.
20. *Kowalik K.* Budowa morfologiczna przymiotników polskich. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdansk, 1977.
21. *Карпов А. К.* Притяжательные прилагательные в псковских говорах: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1979.
22. *Милославский И. Г.* О регулярном приращении значения при словообразовании // ВЯ. 1975. № 6.
23. Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1972, 1975, 1976, 1978.
24. *Моисеев А. И.* Основные вопросы словообразования в современном русском литературном языке. Л., 1987.
25. *Богданов С. И.* Собственно морфемный анализ и морфологическая интерпретация элементарной лексики русского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1983.
26. *Машерипов Р. Р.* О словообразовании однословных строительных терминов // Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1978. С. 186–188.
27. *Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф.* Словарь морфем русского языка. М., 1986.
28. *Николаев Г. А., Балалыкина Э. В.* Русское словообразование. Казань, 1985.
29. *Николаев Г. А.* Русское историческое словообразование. Казань, 1987.
30. *Демьянков В. З.* Концепция морфологического словаря в теории интерпретации. Морфемика. Л., 1987.
31. *Логинова З. С. К.* вопросу о членности английских спортивных заимствований в русском языке // Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент. 1975.
32. *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Русская разговорная речь. М., 1981. С. 90, 99.
33. *Тихонов А. Н.* Членимость и производность слова // Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент. 1976.
34. *Сахарный Л. В.* Психолингвистические аспекты теории словообразования. Л., 1985.
35. *Герда А. С.* О сегментации текста на морфологическом уровне // Теория языка. Методы его исследования и преподавания. Л., 1981.
36. *Лагутова Е. Н.* Образование сложных слов на базе несклоняемых имен существительных с гласными финалями // Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1978.
37. *Смирницкий А. И.* К вопросу о слове (проблема «отдельности слова») // Вопросы теории и истории языка. М., 1952. С. 195.

© 1990 г.

ПШЛДЗ К.

ЗАМЕТКИ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОСНОВООБРАЗУЮЩИХ
ФОРМАНТОВ В ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ

Принято считать, что типы склонения в классическом индоевропейском «естественно распределяются на пять видов: (1) согласные основы, (2) основы на -г, (3) основы на -i, -u, (4) основы на -a, -I, -й, (5) основы на -o I-e (тематические основы)» [1, с. 242]. В действительности же такое представление не отражает древнейшей реконструируемой стадии индоевропейского языка. Что касается хронологии таких суффиксов, то В. Леманн [2, с. 67] замечает: «Совершенно очевидно, что удлинения основ, подобные тем наращениям, что представлены в герм. *-inassu-*, *-nassu-*, *-assu-*, более позднего происхождения, чем простые суффиксы, состоящие из одного элемента, например, *-dh-*, или из двух элементов, как *-U-* и *-tu-*, которые сами послужили основой для образования более сложных суффиксов в германском... Внутреннее описание германской группы и других индоевропейских диалектов, а также более широкого сравнительное исследование нередко позволяют определить, какие суффиксы древнее, а какие принадлежат к периоду раздельного существования диалектов, к которому относятся также все префиксы. Индоевропеистика должна, следовательно, стремиться к хронологической оценке суффиксации и других словообразовательных приемов, как это предлагалось делать в отношении именных флексий...». Таким образом, общепризнано, что «так называемые корневые имена относятся к наиболее древнему именному слою, какой мы только способны постулировать... Тематические основы на -o I-e принадлежат к самому позднему слою праязыка; к нему же относятся основы, составленные сочетанием этих основ с ларингалом, т. е. -a» [2, с. 72]¹. В этой короткой статье я попытаюсь рассмотреть возможные истоки индоевропейских основообразующих формантов. Исследование будет проходить в контексте моих воззрений на типологическую природу раннеиндоевропейского языка как такового. Вслед за Ф. Адрасом [4, 5] я реконструирую стадию «дофлективного индоевропейского и протоиндоевропейского (и.-е. 1)», который «состоял из номинально-вербальных либо прономинально-адвербиальных слов-корней, определявших друг друга и образовывавших синтагмы и предложения; при этом использовались такие средства, как порядок слов, расстановка ударения и некоторые расширители; собственно флексия и более поздние категории индоевропейского языка к этому времени еще не появились» [5, с. 1]². Не соглашаясь с многими частностями, я в целом поддерживаю гипотезу В. Георгиева [8] о том, что «протоиндоевропейский язык изначально использовал только моносиллабические лексемы (как китайский) и не имел ника-

¹ Другую точку зрения на происхождение *-a и других маркеров женского рода см. в [3].

² Подобное мнение о существовании дофлективной стадии индоевропейского языка высказывалось В. В. Ивановым [6, с. 51] и В. Шмальстигом [7, с. 46].

кой морфологии» [9, с. 47]. Я считаю, что вся система классов склонения, которую мы находим в классическом индоевропейском языке, требует исторического объяснения. Поскольку истоки этой системы лежат глубоко в языковой предьстории, ее происхождение никогда не будет известно с точностью. Однако я убежден, что в компаративистике уже имеется достаточно данных, а также известны типологические прецеденты, позволяющие исследовать происхождение основообразующих формантов в индоевропейском.

Такое исследование не является новым. Например, Г. Хирт [10, с. 193—194] утверждает, что основной формант **-i-* происходит от корня **ei-* «идти», тогда как У. С. Аллен [11] «приписывает ему (т. е. суффиксу-детерминативу **-bk-*.— Ш. К.) скорее фоно-эстетическую функцию, чем роль семантического уточнителя» [2, с. 73]. Близок к моей точке зрения Ф. Шпехт [12, с. 315], утверждающий: «то, что число демонстративов в точности покрывается вышеупомянутыми расширениями, не оставляет сомнения, что различные индоевропейские именные классы основ — это не что иное, как слияние корней с указательными местоимениями того периода». Остается лишь сожалеть, что Ф. Шпехт практически не приводит специальных типологических прецедентов процесса универбации и совсем не рассматривает случаи превращения местоимения в деривационный суффикс. Он не упоминает также, что «все демонстративы, по-видимому, были некогда дейктическими частицами, а следовательно, несклоняемыми словами» [13, с. 311] и что дейктические частицы в индоевропейском языке, как правило, были энклитиками [14, с. 223]. Упустив из виду этимологическую связь дейктических частиц с демонстративами, Ф. Шпехт заключает, что «следовательно, и в индоевропейском также отсутствуют основы на краткое *-a*, поскольку отсутствует соответствующее указательное *-местоимение*» [12, с. 315]³. Однако такие именные формы, как греч. *V64?Y*; «нимфа», *Ίβν\α.χῆ* «всадник», *υεῦρα* «мост», умбр. *Tursa* «Турса», лат. *mensa* «стол», церк.-слав. *жѢно* «женщина», *главо* «голова», весьма напоминают изначальный класс склонения на **-a*, хотя в конечном счете эти основы «слились с относительно недавно возникшими основами на *-a*» [15, с. 33]. Несмотря на то, что в индоевропейском не реконструируется обычно демонстратив на **-a*, существование дейктической частицы **a* не вызывает сомнения. Г. Хирт [10, с. 12] восстанавливает эту дейктическую частицу на основе, например, греч. *α?* «если», *α3* «вновь», лат. *au-t* «или», гот. *au-k*, нем. *auch* «также». Короче говоря, мне представляется, что источником основообразующих формантов в раннем индоевропейском были дейктические частицы.

Очень показательную параллель такого развития приводят, например, Дж. Сэнкофф и П. Браун [16] при описании ток-писина. Они отмечают, что функция дейктического *ia*, «стоящего после существительного или местоимения...» — сосредоточивать внимание на этом элементе. Иногда оно подчеркивает контраст с другим референтом, обозначая примерно «именно это имя, а не какое-либо другое», иногда же оно просто как бы выдвигает имя на передний план» [16, с. 639]. «Иногда *ia* точнее всего переводится как „этот“ или „тот“..., иногда как более слабый демонстратив, вроде англ. *the*, хотя его точный перевод на английский затруднителен» [16, с. 640]. Дж. Сэнкофф и П. Браун [16, с. 639] указывают, что *ia* сохраняет свою функцию наречия места параллельно с функцией «более ши-

³ При обсуждении происхождения падежных флексий в индоевропейском Ф. Шпехт не признает эволюции дейктических частиц в указательные местоимения, см., например [12, 354].

рокого по значению демонстратива» в том случае, когда оно присоединено к какому-либо именному элементу. «То, что обе функции выражаются на синхронном уровне одной и той же формой, становится объяснимым, если принять во внимание семантическую близость обоих значений...» [16, с. 639]. Отмеченное употребление *ia* не следует приписывать пиджино-креольскому происхождению ток-писина, т. к. это ш имеет аналоги во «многих австронезийских языках Новой Гвинеи и Меланезийских островов... Так, в языке буанг дейктическая частица *ken* употребляется как наречие места... и как постпозитивный демонстратив» [16, с. 663]. Тенденция к энклитическому присоединению дейктических частиц к корням в индоевропейском была проявлением изменений в его структуре на пути от изоляции к агглютинации. Согласно теории лингвистических циклов, предложенной К. Ходжем [17], этот процесс агглютинации в конечном счете уступил место флексивным чертам моно- и политематического индоевропейского, ср. [5]⁴.

Несмотря на то, что известны случаи, когда дейктические частицы энклитически присоединялись к именным формам, вопрос о том, каким образом эти дейктические частицы стали переосмысливаться как основообразующие форманты, все же остается открытым. Ведь дейктические частицы в индоевропейском, подобно *ia*, сохранили свою изначальную форму и функцию и на поздней стадии развития послужили для образования новых демонстративов, выступающих в виде свободных морфем. Эти новые демонстративы, по-видимому, ударные, затем видоизменили существовавшие именно-дейктические комбинации, так как «по мере употребления любой демонстратив постепенно теряет свою дейктическую силу, а поэтому должен постоянно подкрепляться сочетанием либо с другим демонстративом, либо с наречием», ср., например, англ. *this here, that there, this one here, that one there*, вместо простых *this* и *that* [18, с. 469—470]. Изначально эти новые демонстративы со свободными морфемами просто усиливали дейкис прежних энклитических определителей, затем, по-видимому, прежние формы постепенно утратили свою дейктическую силу, а новые формы (и последующие «составные» формы) полностью взяли на себя функцию дейкиса. Это повлекло за собой переосмысливание прежних форм. Другим движущим фактором такого развития был просто «постепенный отказ от использования клитик и переход к большей зависимости от изолированных слов» [14, с. 224]. Как отмечают Р. Джефферс и А. Звикки [14, с. 224], эволюция часто характеризуется циклическими изменениями в соотношении ролей клитик и самостоятельных слов.

Переосмысленные семантические значения прежних дейктических частиц-энклитик были, вероятно, функцией семантических характеристик определенных «ключевых» имен, с которыми последние стали конкретно ассоциироваться, хотя с течением времени процессы выравнивания по аналогии подорвали семантическую основу такой дистрибуции. Иными словами, развитие этих элементов очень напоминало развитие в собственно индоевропейском показателе женского рода *-*a*, засвидетельствованная дистрибуция которого явилась результатом весьма сложного взаимо-

⁴ В целом я поддерживаю «широко распространенную гипотезу о доисторическом состоянии многих языков, которая утверждает, что система флексивных суффиксов и, возможно, деривационных аффиксов также представляет собой одну из стадий в цикле, в котором развитие идет от свободной морфемы к клитике, к аффиксу. Предполагается, что свободные морфемы изначально появлялись в безударных позициях в придаточных предложениях и сливались с соседними ударными словами в качестве частиц-клитик. Фонологическое ослабление этих морфем привело к постепенной утрате ими лексической самостоятельности» [14, с. 222—223].

действия формальных и семантических факторов. Согласно традиционной точке зрения (ср. [19]), **-a* (первоначально — показатель собирательности и абстрактности) осмысливался как маркер женского рода по ассоциации со словом **gwenā* «женщина» < «та, что вынашивает, рождает» и подобными словами. «Таким образом, семантическая характеристика понятия «женский» находило формальное выражение благодаря тому, что одна или несколько форм, обладающих этим признаком, также имели данную особенность, которая и стала экспонентом этого признака» [15, с. 74]. Однако при таком слиянии семантическая мотивация суффикса стала нарушаться аналогией. В [20] я показываю, как в индоевропейских и некоторых других засвидетельствованных языках явное формальное и семантическое подобие между двумя и более элементами способно вызвать изменения в обозначении рода и как подобные изменения, накапливаясь постепенно, превращают обоснованную главным образом семантически категорию рода в категорию, выраженную главным образом формально. Важность этих процессов для эволюции основообразующих формантов подчеркивается К. Бругманом [21, с. 110]: «В большинстве индоевропейских языков мы довольно часто находим переход основ, не оканчивающихся на -o или -a... в типы склонения на -o- или -a-, без какого бы то ни было изменения в значении. Этот переход в каждом конкретном случае вызван одной из множества возможных причин: ассоциацией либо по звучанию, либо по значению».

В связи с ранним возникновением основообразующих формантов изменения по аналогии, протекавшие в течение веков, затрудняют точную оценку семантического значения этих элементов. К примеру, Т. Хадсон-Вильямс [22, с. 47] отмечает, что основы с тематической гласной «часто обозначают действие», ср. [23, с. 256]. Однако К. Бак, разделяющий в целом эту точку зрения, указывает, что и в греческом и в санскрите есть много исключений из этого правила [24, с. 315]; а К. Бругман [21, с. 103] прямо оговаривает, что «с самого раннего периода суффикс -o ... использовался для множества различных целей».

Мне хотелось бы подчеркнуть, что длительная формальная и функциональная независимость дейктических частиц на протяжении развития индоевропейского языка позволяла этим элементам служить источником самых разнообразных морфо-синтаксических функций. По мере превращения индоевропейского в развитой флективный язык конструкции с дейктическими частицами стали переосмысливаться как именные флексии падежа и числа [12, 19], а также как глагольные показатели времени, вида, залога и лица/числа [25—29]. Подобную многофункциональную роль общих дейктических частиц в развитии фино-угорских языков отмечает Л. Т. Хейзелькорн [30]. Она указывает, «что... дейктические частицы, первоначально обозначающие участников коммуникации и их местонахождение, впоследствии превратились в маркеры определенности [т. е. в демонстративы и местоимения третьего лица] и стали использоваться для того, чтобы выделять фокус высказывания. В дальнейшем эти же элементы были переосмыслены как показатели лица, с одной стороны, и маркеры аккузатива, числа и т. д., с другой. Однако основной характеристикой всего набора рефлексов указанных элементов... является определенность» [Ю, с. 110].

Еще один вопрос, касающийся постулируемого здесь процесса развития основных формантов, связан с большим количеством различных классов основ. Даже если допустить последовательное наращение элементов, все же приходится признать наличие в преддиалектном индоевропейском

классов склонений на «*o-*, *ē*, *u-*, *n-*, ... *l/r-*, *k/g-*, *t/d-* и *s-*» [12, с. 315], каждый из которых имел соответствующие реконструируемые дейктические частицы (ср. [10, с. 11—14]). Конечно, не все основообразующие элементы (или дейктики) возникли в одно и то же время. Самое убедительное объяснение их многозначности заключается в структуре дейктической системы самого индоевропейского языка. В ток-писине частица *ia* имеет очень широкую дейктическую референцию. Однако во многих языках указательность довольно четко дифференцируется по оттенкам в том, что касается пространственно-временных связей [31]. В [32] я доказываю, что индоевропейская система дейкиса была главным образом бинарной (ср. [33, с. 28—29; 34]) и «основывалась в первую очередь на противопоставлении „сейчас — здесь : не-сейчас — здесь”» [32, с. 243], но при этом частицы обозначали «различную степень удаленности» от пространственно-временной точки «сейчас — здесь» [32, с. 243]. Я, вслед за В. Шмидтом [35], выделяю в индоевропейской дейктической структуре по меньшей мере «шесть степеней удаленности от „здесь и сейчас”».

Несмотря на справедливо высказанной К. Бругманом [36, с. 312] мысли о том, что «происхождение основообразующих формантов, дошедших до нас из праиндоевропейского периода, остается неясным», мне хочется верить, что предлагаемая здесь гипотеза дает убедительное объяснение пути их возможного развития. Она основывается на непосредственно доступных данных, на соображениях типологической вероятности, а также на уже известных принципах языкового изменения и особенно на том, который гласит: «сегодняшняя морфология — это вчерашний синтаксис» [37, с. 413].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Burrow T.* The Sanskrit language. L., 1973.
2. *Lehmann W.* Proto-Indo-European derivational morphology in chronological perspective // For Gordon Fairbanks. Honolulu, 1985.
3. *Shields K.* Some new observations concerning the origin of the Indo-European feminine gender // KZ. 1977. Bd 91.
4. *Adrados F.* The archaic structure of Hittite: The crux of the problem // JIES. 1982. V. 10.
5. *Adrados F.* Binary and multiple oppositions in the history of Indo-European // Festschrift for Henry Hoenigswald. Tübingen, 1986.
6. *Иванов В. В.* Общинеоэвропейская, праславянская и анатолийская языковые системы. М., 1965.
7. *Schmalstieg W.* Indo-European linguistics: A new synthesis. University Park, 1980.
8. *Georgiev V. I.* Die Entstehung der indoeuropäischen Verbalkategorien // Linguistique balcanique. 1975. V. 13. № 3.
9. *Szemerényi O.* Recent developments in Indo-European linguistics // TPhS. 1985.
10. *Hirt H.* Indogermanische Grammatik. Bd 3. Heidelberg, 1927.
11. *Allen W.* The Indo-European primary affix *-b [h] // TPhS. 1950.
12. *Specht F.* Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Gettingen, 1947.
13. *Brugmann K.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd II. 2. Strassburg, 1911.
14. *Jeffers R., Zwicky A.* The evolution of clitics // Papers from the 4-th International conference on historical linguistics. Amsterdam, 1980.
15. *Shields K.* Indo-European noun inflection: A developmental history. University Park, 1982.
16. *Sankoff G., Brown P.* Origins of syntax in discourse: A case study of Tok Pisin relatives // Language, 1976. 52.
17. *Hodge C.* The linguistic cycle // Language sciences. 1970. 13.
18. *Lane G.* On the formation of the Indo-European demonstrative // Language. 1961. 37.
19. *Brugmann A.* The nature and origin of the noun genders in the Indo-European languages. V.2/Transl. by Robbins E. N. Y., 1897.
20. *Shields K.* A theory of gender change // Glossa. 1979. 13.
21. *Brugmann K.* Elements of the comparative grammar of the Indo-Germanic languages. V. 2 / Transl. by Conway R. and Rouse W. L., 1891.

22. *Hudson-Williams T.* A short introduction to the study of comparative grammar (Indo-European). Cardiff, 1972.
23. *Meillet A.* Introduction a l'etude comparative des langues indo-europeennes. University of Alabama Press, 1964.
24. *Buck C.* Comparative grammar of Greek and Latin. Chicago, 1933.
25. *Watkins C.* Indo-European origins of the Celtic verb. Dublin, 1962.
26. *Watkins C.* Indogermanische Grammatik. Bd 3. 1. Heidelberg, 1969.
27. *Shields K.* On Indo-European sigmatic verbal formations//Bono Homini Donum: Essays in historical linguistics in memory of J. Alexander Kerns. Amsterdam, 1981.
28. *Shields K.* Some thoughts about Hittite fei-conjugation // General linguistics. 1982. 22.
29. *Shields K.* Some thoughts about the origin of the Indo-European optative and subjunctive // A linguistic happening in memory of Ben Schwartz /Ed. by Arbeitman Y. Louvain-la-Neuve, 1988.
30. *Hazelkorn L. T.* The role of deixis in the development of Finno-Ugric grammatical morphemes // Working papers in linguistics. 1983. 27.
31. *Traugott E.* On the expression of spatio-temporal relations in languages// Universals of human language/Ed. by Greenberg J. V. 3. Stanford, 1978.
32. *Shields K.* Tense, linguistic universals, and the reconstruction of Indo-European // JIES. 1988. 16.
33. *Gonda J.* The character of the Indo-European moods. Wiesbaden, 1956.
34. *Neu E.* Zur Rekonstruktion des indogermanischen Verbalsystems // Studies in Greek, Italic, and Indo-European linguistics offered to Leonard R. Palmer. Innsbruck, 1976.
35. *Schmid W.* Die pragmatische Komponente in der Grammatik // Abhandlungen der Geistes-und Sozialwissenschaftlichen Klasse (Universitat Mainz). 1972. № 9.
36. *Brugmann K.* Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1904.
37. *Givon T.* Historical syntax and synchronic morphology: An archeologist's field trip// [Transactions of the] Chicago linguistic society. 1971. 7.

Перевел с английского *Родионов В. А.*

© 1990 г.

ХРАКОВСКИЙ В.С.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ ГЛАГОЛА

(ОПЫТ АНАЛИЗА)

1. Вступительные замечания.

Изучение грамматических категорий — тема, постоянно привлекающая к себе внимание исследователей. В большой мере интерес к этой теме объясняется той важной ролью, которую грамматические категории играют в языковой системе. Напомним в этой связи, что по компетентному мнению Л. В. Щербы, «грамматика в сущности сводится к описанию существующих в языке категорий» [1, с. 12]. Несколько упрощая реальное положение дел, но отнюдь не искажая его, можно утверждать, что традиционные описания знаменательных частей речи (и прежде всего — глагола) в основном сводятся к характеристике их грамматических категорий. Иллюстрировать этот тезис можно ссылкой на «Русскую грамматику» под ред. Н. Ю. Шведовой (М., 1980, т. I), где описание глагола фактически состоит из двух разделов: грамматические категории глагола (вид, залог, наклонение, время, лицо, число, род) и словоизменение глагола. По существу та же схема описания глагола принята и в авторитетном учебнике «Современный русский язык» под ред. В. А. Белошапковой (М., 1981).

Важная роль отводится грамматическим категориям в лингвистической типологии. Как подчеркивал С. Д. Кацнельсон, «конечной целью типологического анализа является определение роли разнотипных грамматических функций в общем механизме языка и отделение универсальных функций, обязательных для всякого языка (данного уровня развития), от пидиотических функций, обусловленных специфической морфологией отдельных языков. Для достижения этой цели необходимо подвергнуть подробному редукционному анализу все морфологические категории, зарегистрированные описательной грамматикой в разных языках» [2, с. 21]. Идея типологического анализа грамматических категорий в настоящее время реализуется в работах Группы типологического изучения языков ЛО Института языкознания АН СССР. В соответствии с программой, предложенной основателем группы А. А. Холодовичем, уже проведен типологический анализ глагольных категорий: каузатива [3], пассива [4], результата [5], императива [6], множественности [7].

Учитывая важность проводимой работы и целесообразность ее продолжения, мы вместе с тем должны констатировать недостаточность «независимого» описания для адекватной характеристики грамматических категорий, поскольку их функционирование во многих случаях определяется взаимодействием с лексическим значением и другими грамматическими категориями глагола, а также с лексическими значениями и грамматическими категориями частей речи, входящих вместе с глаголом в состав предложения [8, с. 63].

Принимая во внимание сказанное, мы в этой работе хотим остановить-ся на проблеме взаимодействия грамматических категорий глагола, для чего нам предварительно придется дать краткий анализ понятия «взаимодействие».

2. Понятие взаимодействия и его использование в языкознании.

Термин «взаимодействие» достаточно часто встречается в современных лингвистических работах, однако, насколько мы можем судить, какого-либо определения понятия, обозначаемого этим термином, в языкознании нет и соответственно нет признанных критериев, позволяющих судить о наличии/отсутствии взаимодействия лингвистических элементов (и в том числе грамматических категорий). В этой связи хотелось бы отметить, что анализом используемых научных понятий, логикой их движения и развития лингвистики, как, впрочем, и представители других научных специальностей, начинают заниматься лишь тогда, когда порой неожиданно для себя осознают, что рабочие понятия, к которым у них до сих пор не было претензий, являются нечеткими, расплывчатыми, неясными. Специалистам в области методологии науки это обстоятельство хорошо известно, и они уже обращали внимание на то, «что к анализу исходных понятий, особенно таких, которые считаются сами собой разумеющимися, ученые приходят на сравнительно позднем этапе своих исследований — пользуясь какой-либо привычной схемой, мы обычно не думаем о возможности ее превращения в объект теоретического знания» [9, с. 188].

Говоря о сфере использования понятия «взаимодействие», следует прежде всего подчеркнуть, что оно входит в состав определения, которое дается языку в рамках структурного подхода, лежащего в основе научной парадигмы, получившей серьезные результаты в XX в. В соответствии с этим определением, восходящим к Ф. де Соссюру, язык — целостная система, состоящая из элементов, которые по определенным правилам взаимодействуют друг с другом и окружающей средой. Можно также указать, что при моделировании языковой деятельности в интеллектуальных системах одним из ключевых является понятие языкового взаимодействия, охватывающее коммуникативную среду, а также языковую и коммуникативную компетенцию партнеров по общению [10]. Понятие «взаимодействие» используется и во многих других случаях, в том числе и при анализе грамматических категорий. Отметим в этой связи, что относительно недавно состоялся рабочий семинар лингвистов Ленинграда, Таллинна и Тарту, специально посвященный проблеме «Взаимодействия языковых единиц и категорий в высказывании» [11]. В результате обмена мнениями участники семинара согласились с тем, что в настоящее время в языкознании нет какой-либо теории взаимодействия, и кроме того, обратили внимание на то, что зачастую в одном и том же контексте наряду с термином «взаимодействие» широко употребляются термины «взаимозависимость», «взаимообусловленность» и «взаимосвязь», причем их дифференциация остается неопределенной. Ср. [11, с. 15—17].

Для того чтобы уяснить суть понятия «взаимодействие», следует, видимо, прежде всего обратиться к его философской трактовке. С этой точки зрения, «Взаимодействие, филос. категория, отражающая процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также порождение одним объектом другого. В. представляет собой вид непосредств. или опоп-

средованного, внеш. или внутр. отношения, *связи*. Свойства объекта могут проявиться и быть познанными только во В. с др. объектами» [12, с. 81]. Нужно заметить, что из этого весьма расплывчатого «определения» суть понятия взаимодействия не проясняется. Из него следует, что взаимодействие — это и воздействие объектов друг на друга (данное утверждение представляет собой тавтологическое высказывание), и взаимная обусловленность объектов (что интуитивно не кажется верным), и порождение одним объектом другого, переход одного объекта в другой (что действительно может рассматриваться как один из частных случаев взаимодействия).

Вместе с тем это определение может служить точкой опоры для того, чтобы, не претендуя на какое-либо решение проблемы взаимодействия в общем виде, высказать некоторые сугубо предварительные соображения относительно того, что такое взаимодействие грамматических категорий, и привести соответствующие иллюстрации этого явления. Эмпирической базой для приводимых ниже утверждений служит функционирование грамматических категорий глагола в различных разноструктурных языках. Важно подчеркнуть, что, говоря о взаимодействии грамматических категорий глагола, мы имеем в виду взаимодействие двух категорий, хотя в принципе допустимо одновременное взаимодействие нескольких грамматических категорий как одной, так и разных частей речи.

Наши исходные постулаты таковы: 1) взаимодействие — одна из разновидностей отношения, связывающего две грамматические категории, 2) взаимодействие — это такое отношение между грамматическими категориями, при котором видоизменяются обе грамматические категории (в частном случае — одна грамматическая категория — строго говоря, речь идет о ситуации, когда видоизменением другой грамматической категории можно пренебречь из-за его незначительных, приближающихся к нулю, проявлений).

Для исследования проблемы взаимодействия грамматических категорий воспользуемся методом моделирования. Будем считать, что в глагольном слове среди грамматических категорий имеется категория наклонения, представленная граммами индикатива и императива⁵. Исходным объектом нашего исследования служат глагольные словоформы, в состав которых входит показатель индикатива и альтернативно сочетающиеся с ним показатели других глагольных категорий. Само исследование будет заключаться в замене заданных словоформ другими, которые отличаются от заданных только тем, что в них показатель индикатива заменен показателем императива. Цель исследования состоит в том, чтобы установить, как реагируют на замену индикатива императивом граммы других грамматических категорий. Таким образом, общая проблема взаимодействия грамматических категорий глагола сводится к более частной проблеме взаимодействия категории наклонения с другими глагольными категориями. Соответственно правомерен вопрос о том, с какими глагольными категориями в принципе может взаимодействовать категория наклонения.

Хорошо известно, что к числу основных категорий, присущих глаголу в различных языках, кроме наклонения, относятся категории времени, вида, залога (актива/пассива), референтноеTM (рефлекси́ва/речи-

⁵ Эти граммы составляют тот минимум, который, насколько мы можем судить, представлен во всех описаниях категории наклонения. Соответственно такие неуниверсальные косвенные наклонения, как оятатив, конъюнктив и др., в работе не рассматриваются.

прока), каузатива, кратности (единичности/множественности), лица, числа, рода, класса и др. И в описательных грамматиках, и в работах общего характера выделяются и исследуются комплексы, обычно пары грамматических категорий, относительно которых утверждается, что они связаны друг с другом или зависят друг от друга. Наиболее активно анализируются такие пары, как вид—время, время—наклонение [11, с. 16]. Взаимозависимые грамматические категории предложено называть «сопряженными» [13, с. 15], а взаимозависимость объясняется семантическими причинами, а именно наличием общего семантического компонента у сопряженных категорий. Так, взаимозависимость категорий вида и времени предопределяется тем, что они по-разному отражают общую идею времени [14], тогда как взаимозависимость категорий времени и наклонения вытекает из того, что реальность (ирреальность) реализуется в конкретной временной отнесенности [6]. Из сказанного как будто бы следует вывод, что если какие-либо две категории не зависят друг от друга, то причиной этого служит отсутствие у них общего семантического компонента.

Таким образом, мы вплотную подошли к очень важному в теоретическом отношении вопросу: проявляется ли каким-либо закономерным образом наличие/отсутствие взаимозависимости категорий, а тем самым и возможность их взаимодействия в структуре семантического представления словоформы глагола? Правдоподобная гипотеза относительно устройства семантического представления глагольной словоформы на материале агглютинативного хиналугского языка предложена в работе [15]. Финитный глагол в этом языке, кроме корня, включает показатели категорий вида, времени и наклонения. Несколько упрощая реальное положение вещей, семантическое представление глагольной словоформы можно уподобить набору матрешек. Внешняя матрешка — это категория наклонения, в значении которой имеется переменная, заполняемая значением категории времени, т. е. следующей матрешки. В свою очередь в значении категории времени есть переменная, которая заполняется значением категории вида, т. е. еще одной матрешки. И в значении категории вида есть переменная, которая заполняется значением корня, представляющим собой последнюю внутреннюю матрешку. Из этой гипотезы следует, что взаимозависимость категорий, а тем самым и возможность их взаимодействия, предопределяется устройством семантического представления глагольной словоформы: взаимозависимыми являются такие пары категорий (вид—время, время—наклонение), у которых значения одной категории складываются в значения другой категории, причем «расположение служебных аффиксов относительно корня иконически повторяет структуру семантического представления словоформы» [15, с. 8].

Если следовать духу и букве этой гипотезы, то категория наклонения может взаимодействовать только с категорией времени, что находит подтверждение в существующей практике описания этих категорий. Мы, однако, полагаем, что такое утверждение не полностью отражает реальное положение вещей и что категория наклонения непосредственно взаимодействует не только с категорией времени, но и с категорией вида, а также с категориями залога, лица, числа (возможно, и с другими категориями), которых нет у хиналугского глагола. Ср. [16, с. 642]. Обоснованию этого тезиса и посвящены последующие разделы работы.

3. Взаимодействие наклонения и времени.

Если в каком-либо языке глаголу присущи категории наклонения: и времени, то обычно в индикативе представлены все временные формы. Если же от индикатива перейти к императиву, то здесь ситуация в корне меняется. В подавляющем большинстве случаев у императива нет временных форм. Такое отторжение категории времени объясняется не тем, что значения императива и времени в принципе совсем не совместимы. Напротив, отторжение происходит в силу внутренне присущей императиву презентно-футуральной рамки, т. е. того, что действие, обозначаемое императивной формой, либо уже реализуется в момент речи (*Читай* = «продолжай читать» — презентная перспектива), либо должно начать реализовываться после момента речи (*Читай* = «начинай читать» — футуральная перспектива).

Присущая императиву презентно-футуральная рамка объясняет его многообразную связь с соответствующими временными формами индикатива. Эта связь проявляется, например, в том, что в некоторых языках, в частности в славянских, специализированные центральные формы императива 2 л. ед. ч. образуются от основы настоящего времени индикатива: (русск.) *смотри*-и, *читай*-и.

Далее эта связь проявляется в том, что некоторые императивные формы по происхождению являются формами настоящего или будущего времени либо восходят к этим формам. Ср.: (франц.) *parle* «говори», *parlez* «говорите», *parlous* «давай/те говорить», (русск.) *идем*, *идемте*, *пусть идет*, *пусть идут*.

Наконец, эта связь проявляется в том, что в отдельных языках презентные и/или футуральнее формы индикатива выступают как полноправные синонимы императивных форм, не уступая им в употребительности. Именно такая ситуация характерна для языка иврит, где повеление ко 2 л. выражается как формами императива [*saper* «расскажи» (м. р.), *sapri* «расскажи» (ж. р.), *sapru* «расскажите»], так и формами футурума [*tesaper* «расскажи» (м. р.), *tesapri* «расскажи» (ж. р.), *tesapru* «расскажите»]. Семантические различия между «стандартным» и «футуральным» императивом трудноуловимы. Считается, что «футуральный» императив в принципе более вежлив, чем «стандартный». Существенно вместе с тем подчеркнуть, что в иврите нет специализированных императивных форм 1 л. и 3 л. и соответствующие формы футурума — это единственные формы, способные выражать повелительное значение (1 л. мн. ч. *nesaper* «давай/те расскажем», 1 л. ед. ч. *'asaper* «расскажу-ка я», 3 л. ед. ч. м. р. *yesaper* «пусть он расскажет», 3 л. ед. ч. ж. р. *tesaper* «пусть она расскажет», 3 л. мн. ч. *yesapru* «пусть они расскажут»).

Сходная ситуация наблюдается и в языке кламат (языковая семья кламат-сахаптин, макросемья пенути, США, штат Орегон), где форма будущего времени (показатель *-wabgl-wapk*) выступает как полноправный синоним любой формы, входящей в императивную парадигму (временные формы индикатива в отличие от форм императива по лицам не изменяются)². Ср.: *ksebli-φ* «принеси живое (= рыбу) обратно» — императив 2 л. ед. ч., *ksebli-wapk* «принеси живое (= рыбу) обратно» — футурум; *ksotgi-k* «положу-ка я живое вниз (рыбу на шампур)» — императив 1 л. ед. ч., *ksotgi-wapk* «положу-ка я живое вниз (рыбу на шампур)» — футурум.

² О языке кламат см. работы [17, 18]. Приводимые ниже примеры любезно предоставил нам В. А. Стегний.

Нам остается доавить, что презентные и футуральные формы индикатива в принципе имеют тенденцию в косвенных речевых актах выступать в качестве функциональных синонимов императивных форм 2 л. (*Завтра Вы подадете/подадите заявление об уходе по собственному желанию*).

Суммируя сказанное, можно утверждать, что категории наклонения и времени взаимодействуют друг с другом. Это взаимодействие проявляется в том, что значение времени заполняет переменную в значении индикатива, но является константным компонентом в значении императива. Если согласиться с предложенной трактовкой, то придется признать, что утверждение, в соответствии с которым значение времени заполняет переменную в значении наклонения [15, с. 81, а не его отдельных категориальных форм, и в первую очередь индикатива, является слишком сильным.

Сделанному выводу на первый взгляд противоречат факты, к рассмотрению которых мы сейчас переходим. В некоторых языках существует оппозиция императивных форм, которая в грамматиках квалифицируется как временная. К числу таких языков относится латынь, где различаются императив настоящего времени (*imperativus praesentis*): *lauda* «хвали», *laudate* «хвалите» и императив будущего времени (*imperativus futuri*): *laudato* «хвали потом», *laudatote* «хвалите потом». На самом деле эта оппозиция не является временной в том смысле, в соответствии с которым мы различаем индикативные формы настоящего и будущего времени. Действие, обозначаемое императивом настоящего времени, происходит либо непосредственно после момента речи, либо через любой временной интервал: *Manns lava et cena* (Cic. De or. 2, 246) «Вымой руки и обедай», *Si me diligis, postridie Calendas cena apud me* (Cic. Att. 4, 12) «Если ты меня любишь, пообедай у меня на другой день после календ». Действие, обозначаемое императивом будущего времени, всегда происходит только через какой-либо временной интервал после момента речи: *Si me diligis, ad me litteras mittito* (Cic. Fam. 3, 9, 2) «Если ты меня любишь, пришли мне письмо»³.

Таким образом, и императив настоящего времени, и императив будущего времени обозначают будущее действие, а суть их различий состоит в том, что сфера действия императива будущего времени распространяется только на часть отрезка временной оси, который составляет сферу действия императива настоящего времени. Иными словами, императив настоящего времени всегда можно употребить вместо императива будущего времени, но не наоборот. Из сказанного следует, что и в латыни у императива нет категории времени, однако здесь место этой категории занимает другая категория, которую, видимо, можно характеризовать, как категорию временной ориентации, поскольку различие образующих ее форм связано с обязательностью/необязательностью наличия интервала между моментом речи и моментом исполнения действия.

Сходная ситуация наблюдается в тунгусо-маньчжурских языках, и в частности в нанайском [20]. Здесь во 2 л. различаются императив ближайшего будущего и императив отдаленного будущего. Показатель императива ближайшего будущего — суф. *-пу-1-у-1-о-* (*хола-у* «читай сейчас», *хола-у-су* «читайте сейчас», *дебо-пу* «работай сейчас», *деб-о-су* «работайте сейчас»). Показатель императива отдаленного будущего — суф. *-хари-1-хри-* (*чимана хола-хари* «завтра читай», *чимана хола-хар-су* «завтра читайте»),

³ Латинские примеры заимствованы из работы [19, с. 191].

дебо-хари «работай потом», *дебо-хар-су* «работайте потом»). Если языковые факты описаны точно, то дистрибуция императивных форм в нанайском языке не такая, как в латыни. В нанайском языке императивные формы находятся в отношении дополнительной дистрибуции: императив ближайшего будущего обозначает действия, которые происходят немедленно после момента речи, т. е. без интервала, тогда как императив отдаленного будущего обозначает действия, которые происходят через какой-либо интервал после момента речи.

Впрочем, можно думать, что дистрибуция императивных форм в тунгусо-маньчжурских языках напоминает дистрибуцию императивных форм в латыни. В этом нас убеждает знакомство с фактами эвенкийского языка. Хотя в грамматике этого языка в соответствии с существующей традицией описания говорится, что «глагол побудительного наклонения дифференцируется по степени временной отдаленности совершения побудительного действия от момента речи: различается побудительное действие ближайшего будущего и отдаленного будущего времени» [21, с. 183], примеры, любезно предоставленные в наше распоряжение Н. Я. Булатовой, позволяют сделать вывод, что сфера действия императива ближайшего будущего (показатель 2 л. ед. ч. *-кал1-кэл*) распространяется на всю временную ось после момента речи, тогда как сфера действия императива отдаленного будущего (показатель 2 л. ед. ч. *-дави!-дъви*) требует наличия интервала после момента речи и при этом императив отдаленного будущего обозначает смягченное повеление. Ср.: *Си эрты эмэ-кэл* «Ты тотчас приходи», *Си тыматнэ эмэ-кэл* «Ты завтра приходи» и *Си тыматнэ эмэ-дъви* «Ты завтра приходи», *Окса, тэли эмэ-дъви* «Сделав, тогда приходи». Таким образом, и в тунгусо-маньчжурских языках императив ближайшего будущего и императив отдаленного будущего независимо от той или иной их интерпретации образуют категорию временной ориентации.

В результате мы приходим к следующему заключению. Наклонение и время являются взаимодействующими категориями. Их взаимодействие проявляется в том, что у индикатива есть временные формы, а у императива таких временных форм нет, поскольку презентно-футуральная рамка является компонентом его значения. Вместе с тем факультативно императиву может быть присуща категория временной ориентации, которая маркирует различную локализацию действия внутри присущей императиву презентно-футуральной рамки. Следовательно, можно считать, что в анализируемой паре грамматических категорий наклонение является доминантной категорией, а время — рецессивной категорией.

4. Взаимодействие наклонения и вида.

Анализ категорий наклонения и вида хочется начать с утверждения, что эти категории не являются взаимообусловленными. Иными словами, есть языки (например, немецкий язык), которые обладают категорией наклонения, но не имеют самостоятельной грамматической категории вида. Вместе с тем, если в языке есть категория вида, то обычно в этом языке есть категория наклонения. Данное обстоятельство позволяет прогнозировать принципиальную возможность взаимодействия наклонения и вида.

Как известно, категория вида, представленная граммемами НСВ и СВ, служит визитной карточкой славянских языков. В силу этого обстоятельства категория вида в славянских языках изучена весьма обстоятельно, и поэтому проблему взаимодействия наклонения и вида мы будем

расслаивать на материале славянских языков, и прежде всего русского языка. Специфическая особенность категории вида, акцентированная современной аспектологией, состоит в том, что не каждая глагольная лексема, т. е. не каждое глагольное значение, репрезентируется формами НСВ и СВ, образующими видовую пару (типа *переписывать* — *переписать*), члены которой лексически тождественны и отличаются друг от друга только по видовому значению. Наряду с парными глаголами, т. е. имеющими формы НСВ и СВ, есть также и непарные (одновидовые) глаголы НСВ (*уважать, спать*) и СВ (*истолочь, расплакаться*). Кроме того, члены одной видовой пары могут неодинаковым образом сочетаться с лексическими (словарными) значениями многозначных глаголов. Если взять в качестве примера глагол *рассчитывать/рассчитать*, то значение «произвести подсчет, исчисление чего-л.» реализуется обеими видовыми формами (*рассчитывать/рассчитать траекторию полета*), тогда как значение «учитывая обстоятельства, надеяться на что-л.» присуще только форме НСВ (*рассчитывать на помощь друзей*). Иными словами, вид — это категория, неразрывно связанная с лексемой, тогда как наклонение и время связаны не с лексемой, а с вокабулой, т. е. формы наклонения и времени образуются при любом значении многозначного глагола, хотя, скажем, употребление императивных форм зависит от того, является ли конкретное значение глагола агентивным или неагентивным.

Для нашей темы важно подчеркнуть, что основные теоретические положения учения о виде сформировались в результате анализа употребления видовых форм прошедшего времени и отчасти настоящего времени индикатива. «Что касается вневременных употреблений СВ и НСВ (императив, инфинитивные обороты, употребление после модальных предикатов), то они ... не стали еще объектом систематического исследования: чаще всего лингвисты пытаются описывать такого рода случаи при помощи понятий, используемых для употребления СВ и НСВ в прош. времени» [22. с. 269].

В результате анализа видо-временных форм русского глагола стало ясно, что индикативные формы как НСВ, так и СВ употребляются без каких-либо ограничений. Выяснилось также, что видовые граммемы неоднзначны. Основным и наиболее частым значением граммемы НСВ является актуально-длительное, или конкретно-процессное значение, которое характеризует единичное действие, взятое в его срединной фазе, т. е. в процессе его осуществления (*Вечером я писал письмо*). Фазы начала и прекращения действия в этом случае остаются за кадром. Другое значение этой граммемы — общефактическое, которое сосредотачивает внимание на самом факте прошлого действия, время прекращения которого остается неопределенным (*Я предупреждал его о ревизии*)⁴. Еще одно значение этой граммемы неоднократное, или повторительное, которое обычно реализуется при наличии в контексте соответствующих показателей неоднократности (*Мы каждый день смотрим телевизор*). Что касается граммемы СВ, то ее основным значением считается конкретно-фактическое, которое характеризует единичное действие как взятое целиком и осуществившееся в определенный момент времени (*Он позвонил мне рано утром*). Кроме того, у этой граммемы есть наглядно-примерное значение (*Он иногда ни с того ни с сего перебьет всю посуду*) и потенциальное значение (*Такой костюм теперь не найдешь*), которые иногда считают

⁴ Для целей данной работы irrelevantно то обстоятельство, что общефактическое значение имеет три разновидности: результативное, двунаправленное, нерезультативное [23].

«переносными видоизменениями конкретно-фактического значения» [24, с. 23]⁵.

Располагая сведениями о семантике граммем НСВ и ГВ в индикативных формах, мы можем поставить вопрос о функционировании императивных форм обоих видов. Сразу же скажем, что граммеме НСВ в императивных формах присущи те же значения, что и в индикативных формах, однако в известной мере меняется иерархия значений грамлемы. У императивных форм ведущим значением грамлемы НСВ является общефактическое, а не актуально-длительное, как у индикативных форм. Известно, что прескрипция, выражаемая императивной формой, может относиться либо к действию, которое еще не совершается в момент речи (*Говорите, мы слушаем, Включайте свет*), либо к действию, которое уже совершается в момент речи (*Что ей здесь делаете! — Слушаем музыку. — Ну, слушайте, слушайте*) [25]. Основную массу употреблений императива НСВ образуют случаи, когда прескрипция относится к действию, которое не совершается в момент речи. Нет оснований сомневаться в том, что в подобных употреблении грамлемы НСВ присуще общефактическое значение (внимание сосредотачивается на самом факте будущего действия, которое должно завершиться, хотя момент его завершения остается неопределенным). У общефактического значения в императивных формах есть интересные особенности, которые не свойственны ему в индикативных формах. Первая особенность состоит в том, что специально может акцентироваться внимание на начальной фазе действия (*Проводите голосование* = «начинайте проводить голосование»). Вторая особенность заключается в том, что действие должно происходить немедленно после момента речи (*Давай чемодан*) или после какого-либо эксплицитно обозначенного момента в будущем (*Через час слушайте важное сообщение*). Третья особенность сводится к тому, что прескрипция обуславливается не столько личным желанием говорящего, сколько создавшейся объективной ситуацией (*Включайте свет. Кино кончилось*) [26, 27].

Актуально-длительное значение присуще граммеме НСВ в тех относительно немногочисленных случаях, когда прескрипция относится к действию, которое уже совершается в момент речи (*Ты уже спишь! — Сплю. — Ну, спи, спи*). В подобных случаях прескрипция каузирует необходимость продолжать действие, находящееся в своей срединной фазе (*Спи* = «продолжай спать»), что как раз и характерно для актуально-длительного значения.

Что касается неоднозначного значения грамлемы НСВ, то оно реализуется в императивных формах точно так же, как и в индикативных (*Зовите нам каждый день*).

Если говорить об особенностях грамлемы СВ в императивных формах, то они сводятся к тому, что эта грамлема из неоднозначной становится однозначной: у нее остается ее основное конкретно-фактическое значение и в отличие от индикативных форм нет наглядно-примерного и потенциального значений. Существенно подчеркнуть, что действие, обозначаемое формой СВ, может происходить либо немедленно после момента речи (*Включи телевизор*), либо через определенный временной интервал (*Включи телевизор в 9 вечера. Я буду выступать*). Кроме того, при употреблении формы СВ прескрипция обуславливается не создавшейся объективной ситуацией, очевидной для говорящего и слушающего, а личным желанием

⁵ Мы оставляем в стороне вопрос о том, что неоднозначность видовых граммем в большей мере определяется семантической неоднородностью лексем и тем самым⁸ представляет собой результат взаимодействия видовых граммем и лексем.

говорящего, о котором слушающий может и не знать (*Петя, дай мне на несколько дней твою сумку. Моя совсем порвалась*).

Для полноты картины необходимо рассмотреть вопрос о функционировании видовых форм в отрицательных предложениях. Как известно, отрицательная частица свободно сочетается с индикативными формами обоих видов, не видоизменяя принципиально значения граммем как НСВ, так и СВ. Что касается сочетаемости отрицательной частицы с императивными формами НСВ и СВ, то здесь картина несколько меняется. Сразу же скажем, что прескрипция относительно неисполнения действия, т. е. запрет действия, выражается только формами НСВ, причем запрет может относиться как к действию, уже совершающемуся в момент речи (*Не кричи* = «перестань кричать» — актуально-длительное значение НСВ), так и к действию, еще не совершающемуся в момент речи (*Не приходи завтра* — общефактическое значение НСВ), а также к неоднократным действиям (*Не приходи по вечерам* — неоднократное значение НСВ). Что касается СВ, то эта форма в сочетании с отрицательной частицей в южнославянских языках в настоящее время практически выходит из употребления [28], тогда как в западных и восточных славянских языках за формой СВ с отрицанием закреплено значение предостережения (*Не утони, Случайно не позвони отцу*). Образуют эту форму глаголы, точнее глаголы употребления, обозначающие неконтролируемые действия, а прескрипция в данном случае каузирует исполнителя агентивно действовать таким образом, чтобы случайно не оказаться в неконтролируемой ситуации, называемой императивной формой глагола.

Обобщая сказанное относительно функционирования индикативных и императивных видовых форм, можно утверждать, что 1) индикативные и императивные формы НСВ отличаются друг от друга разной иерархией значений видовой граммемы: у индикативных форм основным значением является актуально-длительное, а у императивных форм — общефактическое, 2) в императивных формах НСВ возможна акцентуация начальной фазы действия, что исключается в индикативных формах, 3) если у индикативных форм граммема СВ неоднозначна, то у императивных форм эта граммема имеет только конкретно-фактическое значение, 4) если индикативные формы СВ без ограничений употребляются в отрицательных предложениях, то императивные формы СВ либо вообще не употребляются в отрицательных предложениях (в южнославянских языках), либо употребляются, обозначая неконтролируемые действия и выражая специфическое значение предостережения (в западных и восточных славянских языках), 5) в отличие от индикативных форм императивные формы НСВ и СВ образуют категорию временной ориентации: действие, происходящее в момент речи, или действие, происходящее немедленно после момента речи (а также после любой эксплицитно названной точки отсчета), выражается формой НСВ, действие, происходящее или немедленно после момента речи или через любой временной интервал, выражается формой СВ.

Таким образом, у нас есть основания считать, что категории наклона и вида взаимодействуют друг с другом, причем в этом взаимодействии доминантной является категория наклона, а рецессивной категория вида. К такому выводу мы приходим потому, что в результате взаимодействия в большей мере видоизменяется категория вида. Вместе с тем и вид воздействует на категорию наклона — мы имеем в виду выражение императивными формами СВ в отрицательных предложениях специфического значения предостережения.

5. Взаимодействие наклонения и залога.

Если исходить из того, что категория залога образуется оппозицией" активных и пассивных форм, а формы рефлексива, реципрока и каузатива не считать залоговыми [3, 29], то тогда категории наклонения и залога нельзя характеризовать как взаимообусловленные. Дело в том, что наличие категории наклонения отнюдь не предопределяет наличия категории залога. Хорошо известно, например, что отсутствие категории залога считают одним из характерных признаков типичных эргативных языков [30], тогда как категория наклонения в этих языках есть. Однако если в языке есть категория залога, то в нем обычно есть и категория наклонения. Указанное обстоятельство дает основание думать, что эти категории могут взаимодействовать друг с другом.

Залог, как и вид, относится к числу категорий, которые непосредственно связаны с лексемой, а не с вокабулой. В силу этого в принципе возможно существование потенциально неоднозначных залоговых форм. Таковы, например, русские глагольные формы с постфиксом *-ся* типа *наиматься, удаляться*. Эти формы в зависимости от контекста могут интерпретироваться и как активные (*Якуты нимаются в рабочие и выгодно сбывают на прииски хлеб*. А. Гончаров), и как пассивные (*Павлицев доверил его каким-то старым помещицам, своим родственникам; для него нанималась сначала гувернантка, потом губернёр*. Ф. Достоевский).

У залога и вида есть не только сходство, но и различия, которые сводятся к тому, что вид является содержательной, т. е. семантически наполненной категорией, тогда как залог перераспределяет одни и те же семантические роли по разным синтаксическим позициям, т. е. является семантико-синтаксической категорией. Несомненно огрубляя реальное положение вещей, можно утверждать, что в соотносительных активной и пассивной конструкциях позицию подлежащего занимают имена, выполняющие разные семантические роли.

Предметом нашего анализа служат переходные глаголы, у которых есть индикативные формы актива и пассива. Наша цель состоит в том, чтобы охарактеризовать императивные залоговые формы. Теоретически можно допустить, что у переходных глаголов есть императивные формгп а) только актива, б) и актива, и пассива, в) только пассива. Все эти возможности реализуются в конкретных языках.

Прежде чем перейти к рассмотрению этих возможностей, необходимо сделать важное предварительное замечание. Все языки, у которых есть индикативные формы актива и пассива, очевидно, можно разделить на две группы. В одну группу входят языки, в которых пассивные формы описываются как заведомо формально производные и обычно употребляющиеся в текстах реже, чем активные. Кроме того, для языков этой группы не характерно наличие нескольких формально различных пассивных форм. К числу таких языков относятся, например, индоевропейские, афразийские, тюркские, финно-угорские, тунгусо-маньчжурские. В другую группу входят языки, в которых формальная производность пассивных форм от активных далеко не очевидна, а употребляются эти формы либо так же часто, как активные, либо чаще активных. К тому же в этих языках многовалентные переходные глаголы могут иметь несколько формально различных форм объектного, адресатного, бенефактивного, каузального, а иногда и других пассивов. К числу таких языков принадлежат, например, аустронезийские языки [31, 32].

Если теперь обратиться к рассмотрению языков первой группы, то у них обычно бывают только формы активного императива. Правда, в очень редких случаях могут встретиться и формы пассивного императива 2 л. Такие формы отмечены в латыни, где наряду с формами активного императива (типа *laud* «хвали», *laudato* «хвали потом») существуют и крайне редко употреблявшиеся формы пассивного императива (типа *lauddre* «будь похвален», *laudator* «будь похвален потом»). Теоретически формы пассивного императива выделяются в английском языке, причем отдельные примеры приводятся в грамматиках: *Be checned by a doktor, then, you'll be sure there's nothing wrong* [33, с 15] «Будь осмотрен врачом (=дай осмотреть себя врачу), и ты убедишься, что с тобой все в порядке». Однако в текстах формы пассивного императива встречаются в основном в отрицательных предложениях: *Don't be deceived, George (Wilde)* «Не будь обманут (=не дай себя обмануть), Джордж». Фактически рассмотренным формам пассивного императива присуще каузативно-рефлексивное значение: «пациент выступает как каузатор, который действует так, чтобы агент совершил с ним называемое действие». Таким образом, формальной оппозиции: активный императив/пассивный императив соответствует содержательная оппозиция: активный императив/каузативно-рефлексивный императив.

Еще реже, чем формы пассивного императива 2 л., встречаются формы пассивного императива 3 л., которые, в частности, отмечены в таких тюркских языках, как казахский, киргизский и узбекский [34, с. 52]. Однако формальная оппозиция: активный императив 3 л. ед. ч. /пассивный императив 3 л. ед. ч. содержательно является не залоговой, поскольку пассивная форма в отличие от активной обозначает не «нормальное» повеление, адресованное 3 л., а категорическое повеление, адресованное неопределенному лицу. Ср.: (кирг.) *Ал буйрукту аткарыш* «Пусть он приказ выполняет» и *Буйрук аткарылсын* «Приказ выполнять».

Перейдем к рассмотрению языков второй группы. В некоторых из них переходные глаголы имеют только формы пассивного императива. Так, например, обстоит дело в языке маори (*Tau-ia te papa* «Вытащи доску», букв. «Пусть-будет-вытащена доска (тобой)») и в мадурском языке (*Toles sorat jareya Ы' Ба'на* «Пиши это письмо», букв. «Пишишь письмо это тобой» [35, с. 59]). В других случаях, в частности в индонезийском языке, у переходных глаголов есть и пассивные, и активные императивные формы. Выбор пассивного или активного императива зависит от определенности (референтности)/неопределенности (нереферентности) пациента, с которым происходит действие. Если пациент определенный, то избирается конструкция с пассивным императивом, в которой пациент занимает позицию подлежащего, а агент занимает позицию факультативного дополнения. Ср.: *Baca surat (oleh Anda)* «Прочитайте письмо», букв. «Пусть-будет-прочитано письмо (Вами)». Если пациент неопределенный, то избирается конструкция с редуцированной формой активного императива и постпозитивным формантом *-lah*. Ср.: *Membaca-baca-lah koran* «Почитай газету», *Membaca-baca-lah sebelum tidur* «Почитай (что-нибудь) перед сном» [36].

Отдельно остановимся на ситуации с многовалентными глаголами. Как мы уже отмечали, в некоторых аустронезийских языках многовалентный переходный глагол может иметь одну индикативную форму актива и несколько форм пассива. Например, в тагальском языке у глагола со значением «давать» есть форма актива (*mag-bigay*), форма объектного

пассива (*i-bigay*) и форма адресатного пассива (*Bf i-an*). Те же три формы употребляются и в повелительных предложениях, причем выбор пассивных форм в соответствии с общим правилом детерминируется определенностью участника ситуации, занимающего в пассивной конструкции позицию подлежащего. Ср.: *I-bigay mo sa bata ang kuwarta niya* «Дай ты ребенку его деньги», букв. «Пусть-будут-даны тобой ребенку его деньги»; *Bigi-an mo ako ng pilak* «Дай ты мне серебра», букв. «Пусть-буду-одарен я тобой серебром».

Обобщая изложенное, мы можем сказать, что категории наклонения и залога взаимодействуют друг с другом, причем результаты взаимодействия отражаются на категории залога. Как нам удалось показать, в сфере повелительных предложений в отличие от неповелительных либо исключается возможность использования одной из двух залоговых форм, либо сокращается область ее употребления. В языках первой группы ограничения касаются пассивной формы, в языках второй группы — активной формы. При сохранении формальной оппозиции залоговых форм в некоторых языках первой группы меняется интерпретация этой оппозиции: формально пассивная форма является либо каузативным дериватом исходной активной формы, что лишний раз иллюстрирует известный тезис о связи каузативности и пассивности [37], либо маркирует категориическое повеление, адресованное неопределенному лицу. Таким образом, взаимодействие наклонения и залога, затрагивая в основном сферу употребления залоговых форм, в минимальной степени сказывается и на значении пассивных форм.

6. Взаимодействие наклонения с лицом и числом.

С самого начала отметим, что лицо и число глагола стандартно характеризуются как согласовательные, т. е. семантически пустые категории, причем формы лица обычно являются и формами числа, что и позволяет их рассматривать совместно. Выбор значений этих категорий, как принято считать, зависит от актантного (именного и/или местоименного) окружения глагольных форм. Тем самым эти категории сближаются с залогом, выбор значений которого также зависит от актантного окружения. Таким образом, у нас есть основания полагать, что лицо и число, также как и залог, взаимодействуют с категорией наклонения, которое является содержательной, т. е. семантически наполненной категорией.

Первое обстоятельство, на которое необходимо обратить внимание, заключается в том, что тезис о согласовательном характере лица и числа нуждается в корректировке. Этот тезис справедлив, да и то не всегда, лишь по отношению к индикативу. Рассмотрим в этой связи два арабских примера: 1) *nam-a* «Он уснул» и 2) *nam-й* «Они уснули». Данные примеры являются полными неэллиптическими предложениями, состоящими из одной глагольной словоформы. Следовательно, выбор формы 3 л. ед. ч. м. р. в первом случае и формы 3 л. мн. ч., м. р. во втором случае определяется не соответствующими характеристиками местоименного актанта в позиции подлежащего, поскольку его нет в предложении, а вытекает из свойств семантического субъекта, который на поверхностном уровне представлен в предложении только в соответствующих лично-числовых показателях словоформы.

Для императива подобную ситуацию следует считать наиболее типичной, поскольку в стандартных случаях употребления императивных форм 2 л. ед. и мн. ч., 1 л. мн. ч. (= совм. л.) типа *иди, идите, идем, идем-*

me, (франц.) *parle* «говори», *parlez* «говорите», *parlons* «давай/те говорить» отсутствие местоименного подлежащего является либо нормой, как в русском языке по отношению к формам 2 л., либо правилом, как во французском языке, а в русском языке по отношению к формам 1 л. мн. ч. (= совм. л.). Идеи о том, что в императиве лицо и число не являются согласовательными категориями, восходят к Р. Якобсону, который писал, что «в сфере повелительного наклонения корреляция числа является самостоятельной» [38, с. 218]. Вместе с тем можно думать, что и для индикатива трактовка этих категорий как согласовательных в строго формальном смысле является недостаточной.

Если теперь обратиться к рассмотрению вопроса о лично-числовых формах императива, то прежде всего следует отметить следующее своеобразное явление. Есть языки (например, нивхский, кламат, лезгинский, монгольский, японский), у которых в индикативе нет лица и числа, а в императиве эти категории есть, причем состав императивной парадигмы заметно колеблется от языка к языку. В нивхском языке (амурский диалект) в императивную парадигму, в частности, входит шесть форм: 2 л. ед. ч. *ви-йа* «иди», 2 л. мн. ч. *ви-ээ* «идите», 1 л. дв. ч. (= совм. л. ед. ч.) *ви-нытэ* «пойдем-ка», 1 л. мн. ч. (= совм. л. мн. ч.) *ви-да* «пойдемте», 1 л. ед. ч. *ви-ныкта* «пойду-ка я», 3 л. *ви-щазо* «пусть он идет» ' «пусть они идут» [39]. В языке кламат в императивную парадигму входит пять форм: 2 л. ед. ч. *ра-0* «ешь», 2 л. мн. ч. *ра-ат* «ешьте», 1 л. мн. ч. (= совм. л.) *ра-на* «поедем-ка мы», 1 л. ед. ч. *пан-ик* «поем-ка я», 3 л. *ра-тги* «пусть он поест» / «пусть они поедят». В лезгинском языке в императивную парадигму входят три формы: 2 л. *ацукь(а)* «садись»/ «садитесь», 1 л. *ацукь-ин* «давай/те сядем» / «давай/те сяду», 3 л. *ацукь-рай* «пусть садитесь» / «пусть садятся» [40]. Такие же три формы входят в императивную парадигму монгольского языка: 2 л. *буу* «спускайся» / «спускайтесь», 1 л. *буу-я* «спустимся-ка мы» / «спущусь-ка я», 3 л. *буу-г* «пусть он спустится» / «пусть они спустятся» [41]. В японском языке в императивную парадигму входит всего две формы: 2 л. *ём-э* «читай» / «читайте», 1 л. *ём-о* «давай/те почитаем» / «дай/те почитаю» [42].

Языки, в которых лично-числовая парадигма есть у индикатива, но, не у императива, нам не известны. Таким образом, наши наблюдения, если они, разумеется, справедливы, позволяют сформулировать следующую импликацию. Если лично-числовая парадигма есть в индикативе, то она есть и в императиве. Обратное неверно [6, с. 87]. Вместе с тем лично-числовая парадигма императива обычно по целому ряду параметров отличается от лично-числовой парадигмы индикатива.

Первое. В лично-числовой парадигме императива центральными и соответственно наиболее употребительными являются формы 2 л., тогда как в лично-числовой парадигме индикатива формам 2 л. эти особенности не свойственны. Разное распределение центральных и периферийных форм в индикативе и императиве объясняется семантико-прагматическими причинами. Основное назначение индикатива — передавать информацию о реальных событиях. Участниками этих событий в принципе могут быть и лица (а также не-лица), не участвующие в коммуникативном акте, и лица, участвующие в коммуникативном акте. Таким образом, совпадение участников событий с участниками коммуникативного акта не является обязательным. Напротив, наиболее естественно для говорящего, чтобы он информировал слушающего о событиях, участником которых тот не является, и потому они остаются ему неизвестными. Именно по этой причине формы 2 л. являются периферийными в индикативной парадигме.

Основное назначение императива — инициировать некоторое событие, агенсом которого в принципе может быть любое лицо, но прежде всего слушающий / слушающие, что и делает формы 2 л. центральными в императивной парадигме, а все остальные — периферийными.

Второе. Лично-числовые показатели императива, как правило, полностью или частично отличаются от лично-числовых показателей индикатива. Ср., например, азербайджанские формы 2 и 3 лиц императива и настоящего-будущего времени индикатива: 2 л. ед. ч. *ал-ш* «возьми», *ал-ар-сан* «ты берешь», 2 л. мн. ч. *ал-ын* «возьмите», *ал-ар-сынн*з «вы берете», 3 л. ед. ч. *ал-сын* «пусть он возьмет», *ал-ар-0* «он берет», 3 л. мн. ч. *ал-сын-лар* «пусть они возьмут», *ал-ар-лар* «они берут» [43].

Материальное отличие лично-числовых показателей императива от лично-числовых показателей индикатива объясняется, возможно, тем, что во многих случаях, как и в азербайджанском языке, именно эти показатели по существу являются показателями императива, поскольку специальных показателей императива нет. В этой связи важно отметить, что у центральной императивной формы 2 л. ед. ч. лично-числовой показатель часто бывает нулевым, тогда как у соотносительной индикативной формы, которая не является центральной, этот показатель нулевым не бывает. В индикативе, напротив, нулевым часто бывает, как в азербайджанском языке, показатель 3 л. ед. ч. Из этого следует, что в индикативе центральной является именно форма 3 л. ед. ч.

Совпадение лично-числовых показателей императива и индикатива (преимущественно частичное) обычно бывает в тех случаях, когда у императивных форм есть специальный показатель императива. Именно такая ситуация наблюдается в венгерском языке. В приводимых ниже примерах формы императива даются в сопоставлении с формами претерита индикатива: 2 л. ед. ч. *men-j-u (men-j-el)* «уходи», *men-te-l* «ты ушел», 2 л. мн. ч. *men-j-tek* «уходите», *men-t-etek* «вы ушли», 1 л. мн. ч. (= совм. л.) *men-j-tink* «уйдем/те», *men-t-tink* «мы ушли», 1 л. ед. ч. *men-j-ek* «уйду/ка я», *men-t-et* «я ушел», 3 л. ед. ч. *men-j-en* «пусть он уйдет», *men-t-fj* «он ушел», 3 л. мн. ч. *men-j-enek* «пусть они уйдут», *men-t-etek* «они ушли» [44]. В этих парадигмах лично-числовые показатели совпадают у форм 2 л. мн. ч. (а также у форм 2 л. ед. ч., если учитывать устаревшую императивную форму *men-j-el*), 1 л. мн. ч. и не совпадают у форм 2 л. ед. ч., 1 л. ед. ч. и 3 л. ед. и мн. ч.

Третье. Лично-числовые парадигмы императива и индикатива в очень многих случаях отличаются друг от друга по количеству входящих в них форм. С одной стороны, в императивной парадигме могут отсутствовать периферийные формы не-2л. Например, в тюркских языках нет специализированных императивных форм 1 л., хотя в индикативной парадигме эти формы есть. С другой стороны, в императивной парадигме могут быть «лишние» формы, которых нет в индикативной парадигме. Например, в русском языке в индикативной парадигме есть форма настоящего / будущего времени 1 л. мн. ч. типа *идем*, *пойдем*, которая обозначает, что агенсом (= субъектом) действия является говорящий вместе со слушающим / слушающими и/или лицом/лицами, не участвующими в коммуникативном акте. Эта форма соотносится с двумя формами императивной парадигмы. Одна из них, форма типа *идем*, совпадающая с рассматриваемой индикативной формой, обозначает, что агенсом действия (= исполнителем прескрипции) вместе с говорящим (= прескриптором) является единственный слушающий. Эту форму можно квалифицировать как форму 1 л. дв. ч. (= совм. л. ед. ч.). Другая форма типа *идемте* обозначает, что

агентом действия (= исполнителем прескрипции) вместе с говорящим (= прескриптором) являются многие слушающие (= получатели прескрипции). Соответственно эту форму можно квалифицировать как форму 1 л. мн. ч. (= совм. л. мн. ч.). Таким образом, «лишняя» форма в императивной парадигме — это форма 1 л. дв. ч., поскольку в индикативной парадигме личных форм дв. ч. нет. Эта форма, естественно, не бывает лишней, когда личные формы дв. ч. есть и в индикативной, и в императивной парадигме, как это, например, имеет место в словенском языке. •Ср. соотносительные формы императива и презенса индикатива: 1 л. дв. ч. *govori-va* «давай будем вдвоем говорить», *givori-va* «мы двое говорим», 1 л. мн. ч. *govori-mo* «давайте будем говорить», *govori-mo* «мы многие говорим».

Четвертое. Периферийные императивные формы бывают многовариантными, что обычно не характерно для соотносительных индикативных форм. Ср., например, русские императивные формы 1 л.: *почитаем* и *давай/те почитаем*, *будем читать* и *давай/те (будем) читать*.

Пятое. Периферийные императивные формы часто бывают аналитическими, в то время как соотносительные индикативные формы исключительно или преимущественно являются синтетическими. Аналитическими, например, являются многовариантные императивные формы 3 л. в русском языке: *пусть/пускай посядут*.

К этим отличиям, которые были сформулированы в работе [6], сейчас можно добавить еще два. Одно из них состоит в том, что лично-числовые показатели в императивной парадигме могут быть прагматически нагруженными, чего с ними обычно не бывает в индикативной парадигме. Например, в селькупском языке императивные формы переходных глаголов в конструкции с прямым дополнением, выступая в «своем собственном» объектном спряжении, обозначают приказ (*Ut tat-aty* «Воды принеси»), а выступая в «чужом» субъектном спряжении, обозначают просьбу (*Ut tat-as* «Воды принеси, пожалуйста») [45, с. 234—235]. Другое отличие заключается в том, что один и тот же личный показатель может иметь разные значения в индикативе и императиве. Например, в индонезийском, яванском и других родственных аустронезийских языках есть преф. *di-*, который является показателем 3 л. субъекта (= агенса) в пассивных формах индикатива. Ср.: (индонез.) *Surat di-baca oleh dia* «Письмо читается им». Стандартной формой пассивного императива 2 л. является нулевая (беспрефиксная) форма переходного глагола: *Baca surat (oleh Anda)* «Пусть-будет-прочитано письмо (вами)» = «Прочтите письмо». Вместе с тем функции этой формы может выполнять и форма с преф. *di-*: *Nah paman sudah mengupasplang. Ayo di-makan* «Вот я (букв. дядя) уже очистил банан. Давай пусть-(он)-будет-съеден (тобой)» = «Съешь его».

Существенно отметить, что нулевая форма и форма с преф. *di-* могут совместно употребляться в одной цепочке форм, обозначающих последовательные действия: *Tunggu minyak sampai panas lalu masukkan daging beserta gula dan di-aduk-aduk sebentar, kemudian tuangkan air* «Подожди, пока масло нагреется, потом положи туда мясо с сахаром и немного пошей (форма с преф. *di-*), затем залей водой» [36, с. 6].

К сказанному добавим, что в яванском языке тот же преф. *di-*, присоединяясь к прилагательным, образует императивную форму 2 л. (непереходного глагола?): *sabar* «терпеливый» → *di-sabar* «терпи» — *Di-sabar sawatara maneh, dhik* «Потерпи еще немного, дорогая».

Остановимся еще на одной проблеме личных форм, которая иногда возникает в сфере императива. Если в индикативной парадигме обычно

представлены формы 1 л., 2 л. и 3 л., то к императиву иногда относят только центральные формы 2 л., тогда как периферийные формы других лиц с тем же повелительным значением относят к другим наклонениям и соответственно различие наклонений в таком случае связано не с различиями в значении, а с противопоставлением форм разных лиц. В качестве примера можно привести яванский язык, где выделяется особое наклонение пропозитив, которое по существу является императивом 1 л. ед. ч. [46, с. 93]. Показателем пропозитива в активе служит префиксальная морфема *tak-ldak-*: *Aku dak-lunga dhewe* «Я пойду-ка сам», *Tak-mangan, tak-ngombe* «Поем-ка (и) попою». В пассиве показатель пропозитива усложняется. Дополнительно используется суф. (*n*): *Tak-om'Be-ne* «Пусть-будет-выпито-мною» = «Выпью-ка я», *Wis, kang, tak-plathokan-e kayumu* «Ладно, братец, пусть-будут-поколоты-мною твои-дрова» — «Поколою-ка я твои дрова».

Приведенные факты, без сомнения, дают основание считать, что категория наклонения взаимодействует с категориями лица и числа, причем выступает в этом взаимодействии как доминантная категория. Об этом можно судить потому, что и наличие/отсутствие категорий лица и числа (или их отдельных форм), и статус этих категорий, и иерархия их форм, и интерпретация формальных показателей зависят от того, в какой глагольной форме представлены эти категории, в индикативной или императивной.

7. Заключительные замечания.

Если различать взаимообусловленность и взаимодействие, полагая, что о взаимообусловленности можно говорить в случае обязательного сосуществования двух категорий, а о взаимодействии в случае видоизменения хотя бы одной из двух категорий, то можно утверждать, что категория наклонения взаимодействует с категориями времени, вида, залога, лица и числа. Тем самым категория наклонения взаимодействует не только с категорией времени, с которой она связана отношением взаимообусловленности, но и с категориями, с которыми она по существующим представлениям не связана отношением взаимообусловленности. Важно подчеркнуть, что взаимодействуя с другими категориями, наклонение в основном выступает как доминантная, т. е. невидоизменяющаяся категория. Соответственно все категории, с которыми взаимодействует наклонение, являются рецессивными, т. е. видоизменяющимися в результате взаимодействия.

Если сравнивать функционирование рецессивных категорий в индикативных и императивных формах, то в императивных формах в отличие от индикативных наблюдаются следующие разновидности видоизменения рецессивных категорий: 1) ликвидация рецессивной категории (примером может служить отсутствие в императиве категории времени), 2) ликвидация отдельных форм рецессивной категории (примером может служить отсутствие в императиве либо форм пассива, либо форм актива), 3) появление рецессивной категории (примером может служить наличие в императиве отдельных языков лица и числа, отсутствующих в индикативе), 4) появление некоторых новых форм у рецессивной категории (примером может служить наличие в императиве некоторых языков формы 1 л. дв. ч. при ее отсутствии в индикативе), 5) содержательная модификация рецессивной категории (примером может служить наблюдаемое в отдельных языках преобразование индикативной оппозиции актив/пассив в импе-

ративную оппозицию некаузатив/каузатив), 6) формальная модификация рецессивной категории (примером может служить замена центральных -форм у категории лица: в императиве центральными являются формы 2 л., которые никогда не бывают центральными в индикативе), 7) содержательная модификация отдельных форм рецессивной категории (примером может служить индикативная форма 3 л. пассива в индонезийском языке, которая в императиве может употребляться как форма 2 л. пассива), 5) формальная модификация отдельных форм рецессивной категории (примером может служить наличие в индикативе и императиве разных показателей для обозначения одних и тех же лиц). Можно думать, что есть и другие разновидности видоизменения рецессивных категорий.

Полагая, что категория наклонения, возможно, взаимодействует и с некоторыми другими категориями, мы хотим обратить внимание на то, что, очевидно, есть и такие категории, с которыми категория наклонения не взаимодействует. К их числу, с нашей точки зрения, относятся, например, категории референтности (рефлекси́ва/решшро́ка) и каузатива, однако эта проблема заслуживает специального исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Шерба Л. В.* О служебном и самостоятельном значении грамматики как учебного предмета // Избр. работы по русскому языку. М., 1972.
2. *Качинельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
3. Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Л., 1969.
4. Типология пассивных конструкций. Диатезы и залого. Л., 1974.
5. Типология результативных конструкций. Л., 1983.
6. *Храковский В. С., Володин А. П.* Семантика и типология императива. Л., 1986.
7. Типология итеративных конструкций. Л., 1989.
8. *Апресян Ю. Д.* Принципы описания значений граммем // Типология конструкций с предикатными актантами. Л., 1985.
9. *Роговин М. С.* Развитие структурно-уровневого подхода в психологии // Системные исследования. Ежегодник 1974. М., 1974.
10. Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах. М., 1987.
11. Взаимодействие языковых единиц и категорий в высказывании: Тезисы осенней школы-семинара. Таллинн, 1989.
12. *Философский энциклопедический словарь.* М., 1983.
13. *Ярцева В. Н.* Иерархия грамматических категорий и типологическая характеристика языков // Типология грамматических категорий. М., 1975.
14. *Маслов Ю. С.* К основаниям сопоставительной аспектологии // Вопросы сопоставительной аспектологии. Л., 1978.
15. *Кибрик А. Е.* Типология: таксономическая или объяснительная, статическая или динамическая // ВЯ. 1989. № 1.
16. Русская грамматика. Т. 1. М., 1980.
17. *Barker M.A.B.* Klamath Grammar // University of California. Publications in linguistics. V. 32. Los Angeles, 1964.
18. *Стегний В. А.* Морфологическая структура глагола в языке кламат: Автореф. дне. ... канд. филол. наук. М., 1983.
19. *Соболевский С. И.* Грамматика латинского языка. Морфология и синтаксис. М., 1948.
20. *Аврорин В. А.* Грамматика нанайского языка. Т. 2. М.; Л., 1961.
21. *Константинова О. А.* Эвенкийский язык., М.; Л., 1964.
22. *Пайар Д.* К теории перфективизации // Проблемы интенциональных и прагматических контекстов. М., 1989.
23. *Гловинская М. Я.* Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
24. *Бондарко А. В.* Вид и время русского глагола. М., 1971.
25. *Быролин Л. А.* Об одном условии приложения побуждения // Лингвистические исследования. 1986: Социальное и системное на различных уровнях языка. М., 1986.
26. *Храковский В. С.* Императивные формы НСВ и СВ в русском языке и их употребление // Russian linguistics. 1988. № 12.

27. *Paduceva E. V.* Семантика л прагматика несовершенного вида императива в русском языке // *Studia Slavica Finlandensia*. 1989. Т. VI.
28. *ИвиК М.* Употреба вида в словенском императиву с негацијом // *Славянская филология*. Т. II. М., 1958.
29. *Храковский В. С.* Диатеза и референтность // *Залоговые конструкции в разноструктурных языках*. Л., 1981.
30. *Климов Г. А.* Очерк общей теории эргативности. М., 1973.
31. *Schachter P., Otnes F. T.* Tagalog reference grammar. Berkeley; Los Angeles; London, 1972.
32. *Оглоблин А. К.* О соотношении актива и пассива в языках яванской группы // *Проблемы теории грамматического залога*. Л., 1978.
33. *Davies E.* The English imperative. L., 1986.
34. *Шербак А. М.* Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (Глагол). Л., 1981.
35. *Оглоблин А. К.* Мадурский язык и лингвистическая типология. Л., 1986.
36. *Агус Салим.* Пассивный императив в индонезийском языке // *Императив в разноструктурных языках*. Л., 1988.
37. *Яедыаков В. П.* О связи каузативности и пассивности // *Вопросы общего и романогерманского языкознания*. Уфа, 1964.
38. *Якобсон Р. О.* О структуре русского глагола // *Якобсон Р. О. Избр. работы*. М., 1985.
39. *Панфилов В. З.* Грамматика нивхского языка. Ч. 2. М., 1985.
40. *Талибов Б. Б.* Грамматический очерк лезгинского языка // *Талибов Б., Гаджиев М.* Лезгинско-русский словарь. М., 1966.
41. *Крылов С. А.* Средства выражения речевого побуждения в современном халхмонгольском языке // *Тез. конф. аспирантов и молодых сотрудников. Языкознание*. М., 1988.
42. *Апатов В. М.* Категории вежливости в современном японском языке. М., 1973.
43. *Гаджиева Н. З.* Азербайджанский язык // *Языки народов СССР*. Т. 2. М., 1966.
44. *Майтинская К.Е.* Венгерский язык. 4.1. М., 1955.
45. *Кузнецова А. И., Хелимский Е. А., Грушклина Е.В.* Очерки по селькупскому языку. М., 1980.
46. *Оглоблин А. К.* Императив и залог в яванском языке // *Императив в разноструктурных языках*. Л., 1988.

© 1990 г.

ПРОСКУРИН С. Г.

О ЗНАЧЕНИЯХ «ПРАВЫЙ - ЛЕВЫЙ» В СВЕТЕ
ДРЕВНЕГЕРМАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

Впервые слова со значением «правый» и «левый» на материале древнегерманских языков были исследованы в фундаментальном труде Я. Грима [1], многие из наблюдений и обобщений которого сохраняют свою актуальность и по настоящее время. В начале главы под названием «Прагое и левое» (первом опыте синтеза идей сравнительно-исторического языкознания и семасиологических разысканий в области словаря культуры) читаем, что, по мнению автора, существует «...одно понятие, чье смысловое происхождение по существу полностью обязано переходу от естественного к отвлеченному. Представления о правом и левом распространяются с тела человека, его строения на окружающее пространство» [1, с. 680]. Сравнительный анализ позволяет с относительной строгостью выделить три основных направления исследовательских задач: 1) сопоставительный аспект («Язык»); 2) дейксис («Язык» — «Пространство»); 3) лингвокультурный аспект («Язык» — «Пространство» — «Культура»). Такое расделение тематики обуславливается спецификой изучаемого материала: координата «правое» — «левое» является одной из базовых основ связи пространства и тела в большинстве культурных традиций. «Надфизиологическая культура (в данном случае представления о внешнем мире, Вселенной и специально о пространстве) в своих истоках оказывается мотивированной физиологическим аспектом человеческой жизни, конкретно — телом как „малым миром“» [2, с. 245].

В настоящей статье предпринимается попытка комплексного подхода к изучению данных проблем на ограниченном и компактном материале словоупотреблений «правый», «левый» в древнеанглийских письменных памятниках. Несмотря на то, что семантика слов «правый», «левый» изучена достаточно подробно на материале различных языков и культур, исследования отдельно взятой конкретной традиции, относящейся к одному этносу и одному синхронному срезу, нацеленные на объяснение не универсальных, а уникальных особенностей, в этом смысле крайне необходимы [3].

В предпринимаемом историко-семасиологическом разыскании основная роль отводится филологическому принципу, заключающемуся в контекстуальном анализе письменных, «социально-принятых» текстов, в данном случае всех англосаксонских памятников древнеанглийского периода (VI—XII вв.) вне зависимости от их диалектных и функционально-стилистических особенностей. Как справедливо отмечают А. Рей и С. Далесаль, «истинная филология, стремящаяся воссоздать духовную культуру и знания языкового коллектива по текстам, бытующим в разных сферах общественной жизни, не исключает из своего рассмотрения никакие из этих текстов, или, говоря точнее, принимает во внимание все, что она может использовать для своих целей» [4, с. 267—268]. При этом контекст тракт-

туется достаточно широко, как непосредственное окружение слова и как его реально существующие связи в пределах более крупных единиц. По существу, через контекстуальный анализ можно прийти к синтезу основных направлений рассматриваемой проблематики в рамках социальной семиотики текстов. «Филологический» анализ позволяет уточнить Этимологию, способствует выбору правильной стратегии в семантической реконструкции, является ключевым моментом в рассмотрении дейксиса и лингвокультурной традиции. Кроме того, данный подход отвечает современным достижениям исторической семасиологии, характеризующейся переходом от изучения понятий (Begriffsgeschichte) к истории форм общественного сознания (Bewußtseinsgeschichte) [5, 6].

Сказанное предполагает рассмотрение лексической семантики в диахронии как отражение исторически обусловленного коллективного опыта коммуникантов. Выбор корпуса текстов в данной парадигме рассматривается как интерпретативный акт, который из (фиктивного) множества всего материала извлекает отдельные тексты, а из них отдельные высказывания и, в конце концов, приводит к установлению собственного, нового дискурса [6]. При этом выделяется следующая последовательность уровней анализа: 1) анализ отдельно взятого коммуникативного акта, 2) анализ отдельного текста, 3) анализ глубинных тематических структур, лежащих в основе отдельных актов и текстов, 4) анализ культурной парадигмы эпохи, включая логические принципы, категории пространства и времени и т. д. Контекстуальный анализ, последовательно проведенный на всех уровнях, позволяет описать коллективный тезаурус (смысловую систему) англосаксонской культурной общности людей в определенную историческую эпоху (средневековье).

Среди сопоставительных исследований лексем «правый» и «левый» особое значение имеют работы, связанные с проблемой реконструкции праформ [7–9]. Их анализ показал существенные расхождения между имеющимися лингвистическими данными, с одной стороны, и полученными результатами, представленными в различных глоссариях, с другой. Так, в третьей части четвертого издания «Сравнительного словаря индогерманских языков» А. Фика (1909), опубликованного под названием «Словарь протогерманского языкового единства» (составители А. Торп, Х. Фальк), приводятся две возможные протогерманские формы со значением «левая»: **hleiduma*, **venistra*, но при этом там отсутствует упоминание о средствах выражения понятия «правый» [7]. «Семантический словарь общеиндоевропейского языка» Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, напротив, описывая лексико-семантическую систему индоевропейского праязыка в целом, отмечает невозможность реконструкции общеиндоевропейской праформы в значении «левый» ввиду ее частого табуирования в отдельных диалектах. В то же самое время констатируется почти полное единообразие лексем в значении «правый» [10]. Таким образом, помимо собственно реконструкции протогерманских форм с соответствующими значениями существует проблема увязки и согласования семантической информации, получаемой из разных источников. Некоторые ученые справедливо считают, что словарь А. Фика отражает уровень знаний о протогерманском и его лексиконе, имевшийся в период написания этого словаря, и сейчас большая часть приводимых там без комментария этимологии не является допустимой в современных этимологических разьяснениях, которые требуют большей грамматической и семантической информации. Особое значение необходимо уделять филологическому анализу текстов для сбора полной документации.

В основе наименования правой и левой руки (стороны) в древнегерманских языках находятся признаки, определяющие физиологическое, функциональное, пространственное различие, существующее между ними. Так, самым распространенным словом в значении «правый» на протяжении всего древнеанглийского периода было прилагательное *swidra* (букв, «сильнее»), образованное от формы сравнительной степени прилагательного *swid* «сильный». Этот словообразовательный процесс обусловил аномальный характер данной лексемы, формально утратившей способность к образованию независимых форм сравнительной и превосходной степени. Формальная мотивированность, заключающаяся в выборе специфической грамматической формы для выражения понятия «правый», относится к типологически общей черте древнегерманских языков.

Содержательная мотивированность наименования правой руки как превосходящей левую сводится, естественно, к различению рук человека, которые в норме характеризуются физиологическим различием способностей. Правая рука воспринимается как наиболее активная, функционально основная, с которой естественным образом связывается понятие «положительного» и «благоприятного» в противоположность более пассивной левой руке, уступающей правой во всех основных функциях [10]. Известно, что во многих индоевропейских лингвокультурных традициях, в том числе и в древнегерманской, правая и левая рука именуется также с точки зрения того, какими предметами они манипулируют. Например, у Гомера Ахиллес называет правую руку *fiooir.a.kxo-* «метающая копье», галльское имя *cledd*, помимо левой руки, обозначало меч, обычно подвешивавшийся слева на поясе. Дialeктные норвежские слова *orhand*, *aarhand*, *aarekjeiva* «левая рука», при др.-исл. *orvendr* «левша», этимологически соотносятся с норвежским *og/* «коса» (которой косят) [1, 8, 9, 11]. Корнелий Тацит, описывая тактику германской конницы, отмечает: «Их (коней.— П. С.) гонят либо прямо вперед, либо с уклоном вправо». Данный маневр связывался в военном искусстве с тем, что левый бок всадника был прикрыт щитом, когда в правой руке держалось копье» [12, с. 356] [ср. наименования мужского пола в древнеанглийском: *waepned-hand* (букв, «вооруженная рука») или *spere-healf* (букв, «копье-сторона»)] [13].

Издавна в большинстве культурных традиций правая рука выступает в качестве мужского символа по сравнению с левой — женской [14—16]. В древнеанглийском языке данная ассоциация иллюстрируется не только семантической мотивировкой *swidra*, но и контекстами памятников [17], где правая рука часто описывается как агрессивная, держащая меч¹: *Swaperf sige mece mid faere swi[r]an hand* (Cri. 1531)² «Взмахнул победоносным мечом в правой руке». В ранних памятниках древнеанглийской ли-

¹ Меч был относительно редким оружием, как правило, находившимся на вооружении наиболее знатных германцев [13]. В англосаксонских поэмах упоминается о присвоении мечам собственных имен. Ср. в «Беовульфе»: «Бальмульф», «Хрунтпнг» и т. д. В «Словаре символов» Ж. Шевалье, А. Геербранта меч наряду со стрелой, лучом, колонной, дождем перечисляется в качестве наиболее распространенных символов правой руки [18].

² В статье приняты следующие сокращения древнеанглийских языковых памятников: B — Beowulf; Ch. — Anglo-Saxon Charms; Cri — Christ; Gen. — The Anglo-Saxon version of Genesis; Leech. — Leechdoms, Wortcunning and Starcraft of early England; L. Eth. — Laws of King Aethelbirt of Kent; L. S. — Lives of Saints; N — An Anglo-Saxon version of the Gospel of Nicodemus; Ors. — King Alfreds Anglo-Saxon version of the compendious history of the world by Orosius; Past. — The Anglo-Saxon version of Gregory's Pastoral Care; P. N. — Pater Noster; Ps. — An Early English Psalter; R. — The Anglo-Saxon Riddles; Sal. Sat. — Salomon and Saturn.

тературы существительное *swidra* «правая рука» и прилагательное *swidra* «правый» встречаются относительно редко по сравнению с более поздними христианскими сочинениями (например, в эпосе «Беовульф» — 1 раз). Описывая свое одиночество с Гренделем, герой англосаксов Беовульф рассказывает: *He onweg losade, lytle hwile lifwuxna breac hwaepre him sio swidra swade weardade, hand on Hiorte.* (В. 2096—2098) «Он на дороге скрылся (потерялся), некоторое время еще жизнью наслаждаясь, когда его правая лапа (сильная конечность) след защищала, лапа на Хеороте». В данном эпизоде особенно подчеркнута потеря Гренделем правой конечности, наиболее важной в рукопашной схватке [17]. В этой связи интересно упомянуть об обычае многих народов, по которому у убитого врага после его низвержения отрубают правую руку, как бы символизируя тем самым его полное обезвреживание [10]. О существовании такого обычая у англосаксов повествует Эльфрик в «Житиях», описывая смерть христианского короля Освальда от рук язычников под предводительством короля Мерсии Пенды: *pa het se haepena cyning his heafod of slean, and his swidran earm and settan hi to myrcelse* (L. S. 3, 163) «Тогда приказал языческий король его голову и правую руку отрубить и установить их как трофей».

О том, как меняется с принятием христианства осмысление правой руки, можно судить из описания последующих событий. Отрубленной рукой не поддается гниению, пребывая в естественном состоянии. Одержав победу над Пендой, брат Освальда переносит останки в христианскую церковь, где они выступают уже в новом качестве «святых мощей». Языческий символ правой руки как агрессивной, угрожающей в бою замещается христианским представлением о правом как «праведном» и «божественном». В Библии правая сторона рассматривается как сторона защищающая, это то место, которое будет местом избранных во время Страшного Суда, проклятые попадут на левую; левая — это направление ада; правая — рай [18]: *Fealled pe on pa wynstran wegrra pusend and eac geteledra tyn pusendo on pine pa swidran* (Ps. 90. 7). «Падут после тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя». По меткому замечанию С. С. Аверинцева, «христианское сознание ощущает себя над пропастью небытия, над которой его удерживает рука бога» (десница) [19]: ср. *me pin seo swidra onfeng sysnble aet pearfe* (Ps. 62) «Меня твоя десница в нужде всегда поддерживает». С распространением письменности в англосаксонском обществе правая рука начинает ассоциироваться с новыми предметами труда, например, с тонкой тростниковой палочкой для письма. Об этом свидетельствует прочтение одной из «Древнеанглийских загадок», в которой, по мнению К. Вильямсона, речь идет как раз об этом предмете: *paet is wundres dael on sefan scarolic pain pe swylc ne conn hu mec seaxes ord and seo swidre hand eorlesingeponc and ordsomod pingum gepydan* (R. 61) «Это — удивительный кусок, в сердцевине сухой, для тех, кто не умеет [писать]. Как мне острие кинжала и правую руку, мысль человека и лезвие вещь означить (соединить)?».

Интересно, что в конце древнеанглийского периода намечается семантический переход «правильный», «праведный» (др.-англ. *ryht*) > правая рука (сторона). (Ср. значения германских форм: др.-англ. *riht*, *ryht* «истинный», «правильный», «прямой», др.-в.-нем. *reht* «прямой», «правильный».) Уже в англосаксонской версии апокрифики Никодима встречается композит *ryht-hand*, означавший праведную, богоугодную руку: *Se Haelend be daere ryththanda me genam* (N. 21) «Спаситель взял меня за правую (праведную) руку». А. Я. Шайкевич справедливо отмечает некорректность

возведения пространственного значения «правый» к чисто физическому понятию «прямой», несмотря на наличие в некоторых индоевропейских языках противопоставления «правый», «прямой» — «левый», «кривой» [9]. Таковым является славянское *regaъ* — исконно «прямой», «справедливый», «добрый», «хороший», а затем «правый», *кгъ* — исконно «кривой», «плохой» (ср. *кривда*), затем «левый» [3, с. 179]. Из приведенного выше контекста явствует, что в древнеанглийском языке переход происходит на основе переносного значения «правильный», «истинный», «праведный», которое в большинстве индоевропейских языков часто совмещается со значением «прямой»³. По определению Л. В. Шербы, «прямой мы называем в быту линию, которая не уклоняется ни вправо, ни влево (а также ни вверх, ни вниз)» [20, с. 100]. Таким образом, естественное представление о прямой связывается с ее правильностью, верностью, т. е. соответствием направлению нашего взгляда. В данном аспекте вполне можно говорить о пучке значений, имеющем психологическое основание. Вследствие этого также неправомерно рассматривать развитие значения «прямой» — «правый» как результат романского влияния [1]. Скорее можно полагать, что в данном случае постепенно реализуется тенденция, «восходящая к начальному периоду диалектального дробления общеиндоевропейского языка» [9, с. 62].

В одной из своих последних работ М. М. Маковский предложил оригинальную этимологическую связь древнеанглийского *riht* «правый» с др.-англ. *rinc*, др.-сакс. *rink*, др.-исл. *rekkr* «человек; мужчина» [21]. В основе данной попытки объяснения происхождения *riht* лежит универсальный мифологический признак связи мужского начала с правой рукой (стороной).

Для выражения семантемы «правый» в памятниках древнеанглийского периода, кроме того, регистрируются так называемые гапаксы. Лексема *heahre*, встречающаяся в законах короля Этельберта, вызвала немало споров по поводу ее перевода в прошлом веке: *Gif heahre handa dyntes onfehþ* «Если он получит синяк от правой (?) руки» (L. Eth, 58). Ряд исследователей передает значение *heahre* как «поднятая (для удара рука)» [22, с. 507]. Однако отрицание суффикса сравнительной степени, а также причастный характер перевода находятся в противоречии с функцией слова в контексте. Как справедливо отмечает Б. Торп, более уместен перевод «правая», что подтверждается этимологически существованием древнеисландской аналогии *h.Ögri* с тем же значением. Экстралингвистическим доказательством использования «северной формы» в раннем древнеанглийском памятнике, написанном на кентском диалекте, является то, «что большую часть населения в Кенте составляли потомки ютов» [23, с. 18]. Другой гапакс, *teso* [1, с. 684], представляет особый интерес в связи с тем, что его основа входит в ряд индоевропейских корней со значением «правый», на основании которого Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов реконструируют праиндоевропейскую форму *f ekW-s- [10, с. 783].

Семантическая реконструкция протогерманской формы становится возможной как итог многих подобных частных исследований, посвященных каждому слову в каждом из древнегерманских языков. В настоящее время накоплен достаточный материал по проблеме, который уже неоднократно привлекался для семантической реконструкции [1, 7–9]. Рас-

³ Сосуществование значений «прямой — правильный» в др.-англ. *riht* и др. наблюдается в возводимых к тому же корню (и.-е. *reg) авест. *rasta*, греч. *ορι/τα*, лат. *rectus*. Семантический переход «прямой — правильный» имеет многочисленные параллели, например, в литов. *tiesus*, тох. *karme*, алб. *dreite*.

слоение древнегерманских форм со значением «правый» является зеркальным отображением ситуации в большинстве индоевропейских ареалов, где, как правило, наблюдается их относительная однородность [10] (ср. др.-англ. *swidra*, *teso*, *heahre*, др.-сакс. *suithora*, *forthora*, др.-фриз. *ferre*, др.-исл. *h0gri*, гот. *taihswa*, др.-в.-нем. *zeso*, *ceso*). Все приведенные слова условно можно разделить на две подгруппы: 1) рефлексы праиндоевропейской формы (гот., др.-в.-нем., др.-англ.); 2) формы, содержащие суффикс сравнительной степени (др.-исл., др.-фриз., др.-англ.). Остановимся очень кратко на некоторых моментах, связанных с историей двух направлений семантической реконструкции протогерманской формы **sunp*, которые наметились в германистике. Условно назовем эти линии исследования по именам ученых, стоявших у истоков проблемы, — Лудвига [9] и Гримма [1].

Согласно первой точке зрения, поддержанной и развитой в известной работе А. Я. Шайкевича [9], протогерманская форма **sunp* со значением «южный; правый» реконструируется на основе др.-англ. *swidra*, др.-сакс. *suithora*, исходя из широко распространенной, универсальной связи правой стороны и юга, которая прослеживается во многих языках. Ср. др.-инд. *daksina* «правый; южный» и др. По мнению А. Я. Шайкевича, «можно легко объяснить происхождение германских слов со значением „южный“: др.-исл. *sunnr*, *sudr*, др.-англ. *sud* и т. д. из общегерманского **sunp*, которое, в свою очередь, восходит к тому же корню, что и др.-англ. *ge-sund* (совр. *sound*), др.-в.-нем. *gisunt* (совр. *gesund*) „здоровый; крепкий“» [9]. Вполне возможно, что германские дублеты **sunp* «правый» и **sund* «здоровый; крепкий» восходят к индоевропейскому корню **suent* «крепкий; сильный», откуда и гот. *swinps*. Значение «правый» у германских слов со слабой ступенью корня восстанавливается в данном случае как «семантическая интерполяция», подкрепляемая, однако, аналогичным развитием слов с сильной ступенью основы. Вероятно, семантическое развитие «правый» — «южный» сопровождалось формальной дифференциацией: значение «правый» связывалось с сильной ступенью корня, значение же «южный» со слабой ступенью [9, с. 70]. Предлагаемый «сценарий» развития значений не является совершенным в силу следующих причин: во-первых, в нем не отражено присутствие в древнегерманских языках общеиндоевропейских форм, во-вторых, недостаточен обоснован выбор исходной формы реконструкции и, в-третьих, не объяснено ее своеобразие (сравнительная степень).

Другая точка зрения на реконструкцию праформы «правый» намечается в вышеупомянутой работе Я. Гримма [1]. Хотя автор преследовал в ней совсем иные цели, но ему удалось показать тенденцию расслоения древнегерманских форм. Среди важных выводов Гримма необходимо упомянуть констатацию преобладания общеиндоевропейских форм, представленных готской, древневерхненемецкой и древнеанглийской лексемами (*taihswa*, *zeswe*, *teso*). Кроме того, исследователем выделяются те германские диалекты, где данные формы не прослеживаются (др.-сакс, др.-фриз., др.-исл.) [Ц. Из этих наблюдений прямо вытекает (самим Я. Гриммом не сформулированное) утверждение о близости праиндоевропейской и протогерманской форм. В результате упрощается объяснение многих процессов, имевших место в период общегерманского единства. Например, древнегерманская дихотомия «общеиндоевропейские рефлексы»/ «формы с суффиксом сравнительной степени» изначально не существовала. Лексемы, образованные от форм сравнительной степени, интерпретируются как эвфемизмы, которые заменили реконструируемую протогерманскую форму **teso* уже

в период самостоятельного существования германских языков. ^Табуирование протогерманской формы «правый» вполне могло быть вызвано характерным для древнегерманской культуры представлением об этой руке (стороне) как «агрессивной» и «угрожающей» (см. приведенные примеры из древнеанглийских памятников).

Семантическая мотивировка древнеанглийского наименования левой руки *winestra* отчасти проясняется на синхронном уровне, благодаря родству с древнеанглийским существительным *wine* «защитник, друг, покровитель» (ср. типичное обращение к лицу, оказывающему помощь: *min wine* «мой защитник»). Левая рука, держащая щит, соответственно осмыслена как «защищающая». *Winestra* также сближается с двумя латинскими формами: с одной стороны, *venus* «грация; любовь», а с другой — *sinester* «левая». Семантическая связь «левая» — «женская» — «прекрасная» — «защищающая» является доминирующей во многих культурных традициях, начиная с верхнего палеолита (ср. авест. *vama* «левая; прекрасная»). Известны запреты использовать левую руку для обычных действий, связанные с направленным воспитанием праворукости во всех обществах (в частности, обязательное предписание держать оружие в правой руке), что имело своим следствием выделение левой руки как священной [14, с. 44]. Отсюда становятся понятными истоки древнегерманского мифопоэтического мотива происхождения людей под левой рукой мифологического человека Мира [24]. Родство между прилагательными — др.-англ. *winester* и лат. *sinester*, — впервые отмеченное Гриммом как «соприкосновение форм путем замены *w* на *s*», проявляется через присутствие суффикса сравнительной степени **tero*, которому в данных лексемах предшествует также суффикс сравнительной степени **tes*. Индоевропейский суф. **tero*, как показал А. Мейе, «первоначально указывал лишь на противопоставление двух понятий, а лишь впоследствии приобрел значение суффикса сравнительной степени [25, с. 282] (ср. греч. *Ss&Toc*; от *Ss&Toc*). Поэтому в перечисленных индоевропейских словах наличии суф. **tero* прямо обусловлено семантическими процессами развития значений «правый» и «левый». Не случайно и то, что перечисленные слова со значением «левый» содержат суф. *-*tes*. Поскольку эти слова были эфемизмами, постольку их положительная окраска должна была быть по возможности усилена. Суф. **tero* присоединяется не к положительной, а к сравнительной степени прилагательного (не просто «хорошая рука», но «лучшая рука»). Совершенно прозрачен этот семантико-морфологический процесс в греч. *ip&Tspa* «левая», производном от *ario-*? «лучший», которое используется как превосходная степень *ay* «хороший» [У, с. 66—67]. В общем приводимое здесь семантическое представление довольно традиционно, оно отвечает взглядам, изложенным в работах Я. Гримма, Ф. Хоупса, А. Я. Шайкевича.

Подчиненность левой руки правой в новой системе ценностей неоднократно подчеркивается в разных христианских сочинениях [19]: поэмах «Христос», «Елена», «Гудлак», в переводе Альфредом «Обязанностей пастыря» папы Григория: *Eft be daem ilcan cwaed se psalm sceop: «Gehaele me din sio swidre. We cwaedm ne non]l m sio winestre hond»* (Past. 388) «Снова о том же говорит псаломщик: „Пусть правая рука спасет меня“. Он не говорит „левая рука“». В поэме «Соломон и Сатурн» для обозначения левой стороны встречается эпитет *wyrсан* с прозрачной внутренней формой «худшая»: *Oddaet he gewindend on da wyrсан hand* (Sal. Sat. 328, 498) «До тех пор как он не повернулся в худшую сторону». Такая ассоциация значения левого с «неблагоприятным», «дурным», «отрицательным» может счи-

таться некоторой семантической универсалией, характерной для семантической системы языка вообще [10, 11, с. 785]. Неслучайно в начале среднеанглийского периода происходит семантический переход «слабый» (ср. др.-англ. *lyft*) — «левый»⁴. В целом в древнегерманских языках наблюдается почти полное единообразие в лексических средствах выражения данного понятия (ср. др.-англ. *winestra*, др.-сакс. *winistro*, др.-фриз. *wlnstera*, др.-в.-нем. *winstera*, др.-исл. *vinstri*, но гот. *hleiduma*). Причина такой однородности, возможно, заключалась в положительной мотивировке этих лексем, которая гарантировала их устойчивость. Кроме того, сравнение, например, древнеанглийских форм *swidra* и *winestra* свидетельствует о принадлежности их семантических мотивировок к разным хронологическим слоям. Если первая эксплицитно относится к древнеанглийскому периоду, на что указывает очевидная словообразовательная связь, то вторую можно отнести к индоевропейскому временному пласту, тем самым обосновывая вероятную принадлежность слова к общегерманскому периоду, где «индоевропейские мотивировки составляли резерв для формирования значений древнегерманских лексем» [26]. Все это позволяет убедиться в возможности реконструкции протогерманской формы **winistero*, которая, по всей видимости, была основным лексическим средством для выражения понятия «левый»⁵.

Резюмируя сказанное, необходимо упомянуть о целесообразности обращения к таким ключевым моментам в развитии культуры, когда сталкиваются две системы идей (или даже двух противоположных мировоззрений), пользующиеся, однако, одним и тем же языком» [27, с. 184]. Функционирование лексем *swidra* и *winestra* в контекстах англосаксонских христианских поэм кардинально расходится с семантическими мотивировками данных слов, что не является препятствием к их употреблению на протяжении всего древнеанглийского периода. Однако впоследствии происходит замена данных слов на новые, мотивированные в рамках закрепившегося христианского мировоззрения.

Традиционно лексемы «правый» и «левый» рассматриваются в исследованиях по локальному дейксису — проблеме, непосредственно восходящей к вопросу пространственной ориентации. По этому поводу Дж. Лайонз пишет: «Человек мобилен, и он может свободно вращаться на горизонтальной плоскости. Но он является асимметричным в одном из двух горизонтальных измерений и симметричным в другом: у него есть „перед“ и „спина“ и две симметричные стороны (правое и левое.— П. С.) ... С лингвистической точки зрения симметричному измерению „правое“ — „левое“ следует отвести третью позицию, т.к. эта координата является „менее выдающейся“ по сравнению с измерениями „верх“ — „низ“, „перед“ — „спина“» [28, с. 690—693]. Тем не менее во все времена люди рассуждали противоположным образом, полагая, что знание стороны не только способствует правильной ориентации, но и открывает путь к сакральной сущности, предсказанию. Оценка Лайонза не учитывает отношения к различию сторон самого говорящего субъекта, имеющего особую физиологическую природу, а ведь сам «язык создан по мерке человека, и этот масштаб запечатлен в самой организации языка, в соответствии с ним язык и должен изучаться» [29, с. 15]. В этой связи приведем высказывания двух ученых — Канта и Вернадского — сделанные по этому поводу, с промежутком в два столетия: «Так как для суждения

⁴ Требуется дополнительной проверки возможная связь англ. *left* «левый» с женским началом (др.-англ. *hlaefdige* «женщина») [21].

⁵ Гот. *hleiduma* является кельтским заимствованием (др.-ирл. *cle* «левый»).

• о направлениях в высшей степени необходимо различным образом чувствовать правую и левую сторону, то природа связала это чувство с механизмом человеческого тела, посредством которого одна, а именно правая, сторона несомненно превосходит левую в ловкости, а может быть даже и в силе» [30, с. 371]. «Законы симметрии, выведенные на основании изучения кристаллов, резко нарушаются в живых естественных телах... Резкое проявление левизны в материальном субстрате живого вещества и правизны в его функции указывает, что пространство, занятое живым веществом, может не отвечать евклидовой геометрии» [31, с. 62—63].

Как известно, значение базовых пространственных терминов «правый» и «левый» не может быть описано в виде стандартной словарной статьи, в которой оно было бы разложено на элементы, поскольку определить эти слова в более элементарных терминах невозможно [32, с. 254].— Ср. в древнерусском *правый* и *десный* «противоположный левому» и прилагательные *лвый* и *шуи* «противоположный правому» [33]. Однако тот факт, что они неопределяемы, не означает, что они элементарны [32]. Принципиальную роль в различении правого и левого играет выбор так называемого дейктического центра, т. к. в полной мере их значения раскрываются только в конкретной ситуации. Например, из контекста *paeg stent cwen pe on pa swidran hand* «по правую руку стояла королева» ясно, что королева находится справа от субъекта, служащего точкой отсчета в определении ее местонахождения. Исходный центр может закрепляться за королем, другим участником ситуации. Но иногда возникает противоречие в выборе соответствующего ориентира. Так, например, предложение *Гроби к правому берегу* может быть понято двояко, если лодка движется вверх по течению [9]. Двойственность в интерпретации данной знаковой ситуации возникает ввиду того, что такие понятия, как «слева» vs. «справа», могут соотноситься как с «относительной», так и с «абсолютной» точками отсчета. В некоторых случаях, для повышения точности ориентации семантемы «правый» и «левый» выражаются при помощи лексем, связанных с конкретным дейктическим центром. Ср. во французской театральной терминологии название правой и левой кулис *cote cour* (букв. «сторона, где двор») и *cole jardin* (букв. «сторона, где сад»).

В древнеанглийском языке для описания местоположения «справа» и «слева» использовались локативные конструкции *on pa swidran hand* (*healf*) «на правую сторону», *on pa winestran hand* (*healj*) «на левую сторону». При этом в качестве точки отсчета, как правило, бралась телесная сущность: человек, животное, растение. В этой связи допустимо говорить о своеобразном явлении, которое, во всяком случае, отражено в памятниках.— • антропоморфном дейксисе, т. е. ситуации, когда указание местоположения зависит от природы объекта, выступающего в качестве дейктического центра. Если им служит существо, наделенное телесной организацией, то используются вышеприведенные конструкции. Если нет, то употребляются иные лексические единицы⁶. Это, естественно, обусловило множественность форм локального дейксиса. Так, существовало две группы лексем для выражения отношений «справа» и «слева» в зависимости от передвижения по суше или морю. Любопытно, что подобная двойственность, но в семантическом плане была присуща и объективному дейксису применительно к морской и сухопутной ориентации. Исследование родовых саг показало, что одна система была связана с описанием плаваний в открытом море и основана на достаточно точных наблюдениях звезд-

Ср.: *onhealf*... *on oder* «с одной стороны ... с другой».

ного неба, вторая служила для характеристики движения по суше [34]. В первой системе направления реальные и обозначаемые терминами *nordr, sudr, vestr, austr* («север, юг, запад, восток») совпадают. Во второй центром ориентации является административный центр каждой из четвертей (Исландия делилась на административные четверти) и направления движения определяются относительно него, а не сторон света, т. е. при движении из Западной четверти в Северную направление обозначалось как северное, хотя реальным было северо-восточное или восточное [35, с. 33]. Видимо, сходные принципы ориентации отражаются и в древнеанглийских эпических сочинениях. Во всяком случае некоторые кон-тексты, рассматривавшиеся как ошибочно воспроизведенные переписчиком, находят вполне адекватное объяснение, исходя из вышеприведенных условий. Например, следующий отрывок из «Беовульфа» указывает на необязательность обозначения места восхода солнца как востока. Вследствие особенностей сухопутной ориентации оно могло означаться как южное: *Sippan morgenleoht, sunne sweglwæard sup an seined* (В. 604—606) «С рассвета солнце на небе с юга сияет».

Напрашивается интересная параллель со скандинавскими географическими трактатами, где, например, центром ориентации «является южная часть Скандинавского полуострова, и все земли, как бы они реально ни располагались по отношению к Скандинавии, считаются лежащими к востоку, если путь к ним идет через Восточную Прибалтику и Русь (например, Византия, Палестина), или находящимися на севере, если путь проходит через северную часть Скандинавского полуострова» [35, с. 33].

Выбор лексических средств для выражения местоположения «справа» и «слева» связывается с двумя типами локального дейксиса: субъективным и опосредованным. В сухопутной ориентации, как правило, используются указания, соотносящиеся с субъектом *Gif þu færst to paere winestrán healf, ic healde þa swíðran healf* (Gen. 13, 9) «Если ты пойдешь налево, я буду держаться правой стороны».

В описании перемещения по морю мера точности увеличивается, т. к. дейктический центр закрепляется за кораблем, а не за субъектом, что выражается на лексическом уровне использованием названий правого и левого борта. Номинация правой стороны как *steorbord* (букв. «управляющий борт») была связана с конструктивной особенностью средневекового корабля, т. к. там обычно размещался рулевой с веслом управления. Противоположный левый борт находился за стеной рулевого, что и отразилось в его названии *baeþbord* (букв. «задний борт») [36]. Локативные конструкции *on þe steorbord* «справа», *on þe baeþbord* «слева» относятся уже к опосредованному дейксису, т. к. точкой отсчета является ориентир, не совпадающий с субъектом. При таком указании оценка местоположения не зависит от говорящего, что сделало данные выражения исторически наиболее удобными для морской ориентации. Хотя в древнеанглийских памятниках данные словосочетания встречаются преимущественно в переводном географическом трактате Орозия, но, как полагает большинство исследователей, те места, в которых они приводятся, принадлежат к оригинальным вставкам, приписываемым королю Альфреду. Как пишет К. Малоун, перевод «Орозия» отличается большой смелостью в интерпретации текста. Альфред мог не только опускать части текста, но и вставлял дополнительные описания. Таким образом, географическая глава в «Орозии» показала ему недостаточно полной, когда речь шла о Германии и Скандинавии. И он сделал знаменитую вставку о путешествиях Охтхере и Вульфстана [37, с. 98]. Ср.: *He let him ealne weg þæt weste land on þæt*

steorbord (Ors. 1. 1.) «На всем пути у него справа была пустыня»; *Vug-genda land waes on baecbord* (Ors. 1.1.) «Бургундская земля была налево».

Итак, в древнеанглийском языке лексические средства выражения понятий «правый», «левый» варьируются не только вследствие диалектных различий, но и специфики их применения.

Исследования роли понятий «правый», «левый» в лингвокультурных традициях, как правило, опираются на их связь с иными бинарными противопоставлениями и их лексико-семантическими и мифологическими сущностями типа «мужской — женский», «старший — младший», «верхний — нижний» и т. д. [16, 3]. К настоящему времени данная система основных признаков апробирована на обширном материале. Однако необходимо подчеркнуть и выявившуюся в настоящее время узость бинарного подхода. Несмотря на то, что черты универсальности определены достаточно четко, «в каждой традиции имеются ситуации, в которых отдельные бинарные оппозиции наполняются особым содержанием» [3, с. 179]. При исследовании отдельной, единичной системы бинарных оппозиций, в данном случае англосаксонской, следует отметить тот факт, что связь парных противопоставлений внутри системы определяется косвенным путем через анализ контекстов древнеанглийских памятников.

1) «Правый — левый : почетный — непочетный». У англосаксов роль «правой руки» и соответственно «правой стороны» под воздействием христианских представлений начинает определяться как более значительная и почетная по сравнению с левой. В древнеанглийских (оригинальных и переводных) поэмах, где христианские теологические воззрения трансформируются в представление о так называемой «Троице Новозаветной», Христос описывается как располагающийся справа от Отца: *Paet du on heahsetle heafena rices sitest sigehraemig on da swidran hand dinum godfaeder* (P. N. 233/39—42) «Ты на троне небесного царства сидишь триумфально по правую сторону от твоего отца». Разумеется, прилагательное *swidra* приобретает в данном контексте метафорический оттенок, являясь уже некоей нравственно-этической категорией, а не пространственным термином.

2) «Правый — левый : небесный — земной». Символика левого — земного, тленного противопоставляется правому — вечному, божественному: *On his swidran handa waere lang lif, and on his winestrans waere wela and wyrdmyht* (Past. 389) «По правую руку была вечная жизнь, по левую — богатство и честь».

3) «Правый — левый : позитивный — негативный». Ассоциация правого с благоприятным исходом находит отражение в древнеанглийском заклинании пчелиного улья, где в инструкции по поводу отроившихся пчел возле дома указывается на обрядовые действия, выполняемые правой рукой и ногой: *Nim eoþran oferweorp mid pinre swidran handa under pinum swidran fet* (Ch. 319) «Возьми землю правой рукой, брось под правую ногу». Связь левого с «неблагоприятными» явлениями: неудачным исходом гадания, лжесвидетельством, кражей прослеживается во многих традициях. В заговоре против кражи на древнеанглийском языке также рекомендуется «обратиться» к левой стороне: *Ponne pe man hwaet forstele awrit pis swigende and do on pinne winstrans sco under pinnen ho þonne geac-faxt pu hit sona* (Ch. 396) «Когда кто-то украдет что-то, напиши это в тишине и положи это в твой левый башмак под каблук, тогда ты вскоре услышишь об этом».

4) «Правый — левый : здоровый — больной». Для излечения от недуга дается совет дотронуться до носка правой ноги: *Nim þonne swydranf...*

/ *pus cwaed: on naman paer lifigenden goder ic pe nime to laecedome* (Leech., 329) «Возьми тогда носок правой ноги и так скажи: от имени живущего бога я прикасаюсь к тебе для излечения». В другой рекомендации по избавлению от жара требуется воздействие на неблагоприятную сторону, что мотивируется, вероятно, ее особым влиянием на состояние организма: *Gif haeto oppe meht ne pyrne laet him blod on dam winestrans earmre of paere uperran aedre* (Leech., 254—255) «Если жар, и нет сил его выносить, выпусти кровь из верхней вены левой руки». В то же время связь мотива излечения левой рукой восходит к более древнему представлению о ее особом воздействии, т. к. последняя обычно не использовалась так часто, как правая, в производственной деятельности. Отсюда все, что совершалось ею, приобретало специфическую значимость. Заметим, что бинарный подход несколько затемняет специфику левого как «благоприятного», но в особое, критическое, сакральное время, связанное с негативными явлениями. Так, например, в магических предписаниях, приводимых в англосаксонском лечебнике, рекомендуется вырывать корень и срезать листья левой рукой [38, с. 223]. Однако при этом возникает связь с еще одним ранее упомянутым мотивом-похищением. Так как собирательство рассматривалось как воровство у Земли, то ассоциация левой руки с преступлением здесь закономерна.

Иногда последовательность сакрального действия слева направо связывается не с особым осмыслением той или другой стороны, а с подражанием движению солнца по горизонту [18]. Ср. мотив обновления, который отражается в русском представлении: «Он заглянул в левое ухо, выглянул в правое — стал молодец молодцом». Аналогично в древнеанглийском заговоре рекомендуется избавиться от опухоли: *Man sceal singan aeres on paet wynstre eare, paenne on paet swidre eare* (Ch., 326) «Пропеть следует сначала в левое ухо, потом в правое». Ограниченность перечня рассмотренных оппозиций четырьмя связями определяется фрагментарным характером анализируемого материала [39], а также филологическим принципом его анализа. Если бы привлекались данные этимологии и социокультурных исследований, то число бинарных оппозиций, регистрируемых в англосаксонской традиции, существенно бы возросло (ср. «мужской — женский», «прямой — кривой», «хороший — плохой» и т. д.).

Функционирование семиотических бинарных оппозиций ограничивается контекстами преимущественно сакральной тематики: заговорами, молитвами, лечебными рецептами. Совсем не представлены указанные оппозиции в эпосе, географических трактатах, исторических хрониках, что свидетельствует об определенной «лимитированности и устойчивости границ функционирования рассмотренных представлений» [3, с. 182].

Комплексный анализ семантики «правый», «левый» в древнеанглийском языке и англосаксонской культуре, проведенный при помощи филологического метода, позволяет наряду с описанием истории слов вскрывать причины изменения в их значении, вызванные сменой форм общественного сознания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Grimm J.* Geschichte der deutschen Sprache. Bd 1—2. Leipzig, 1848.
2. *Тоноров В. Я.* Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983.
3. *Толстой Н. И.* О природе бинарных противопоставлений типа правый — левый, мужской — женский // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987.
4. *Рей А., Далесаль С.* Проблемы и анимации лексикографии // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV. М., 1983.
5. *Busse P.* Historische Semantik. Analyse eines Programme. Stuttgart, 1987.

6. *Феоктистова Н. В.* Формирование семантической структуры отвлеченного имени (на материале древнеанглийского языка). Л., 1984.
7. *Fick A.* Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. III. Göttingen, 1909.
8. *Hoops F.* «Right» and «left» in Germanic languages//Etudes germaniques. 1950. № 3.
9. *Шайкевич А. Я.* Слова со значением «правый» и «левый» (опыт сопоставительного анализа) // Уч. зап. I Моск. гос. пед. ин-та иностр. яз. 1960. Т. XXIII.
10. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. II. Тбилиси, 1984.
11. *Cuillandre J.* La droite et la gauche dans les poemes homeriques en concordance avec la doctrine pythagoricienne et avec la tradition celtique. Paris; Rennes, 1944.
12. *Таум К.* Соч. Т. I. Л., 1969.
13. *Killer M. L.* The Anglo-Saxon weapon names treated archeologically and etymologically. Heidelberg, 1906.
14. Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982. С. 43—44.
15. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Славянские языковые моделирующие системы: Древний период. М., 1965.
16. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
17. *Hoops J.* Kommentar zum Beowulf. Heidelberg, 1932.
18. *Chevalier J., Gheerbrant A.* Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. P., 1982. P. 369—371.
19. *Аверинцев С. С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
20. *Шерба Л. В.* Опыт общей теории лексикографии // ИАН ОЛЯ. 1940. № 3.
21. *Маковский М. М.* Удивительный мир слов и значений. М., 1989.
22. *Bosworth J., Toller T.* An Anglo-Saxon dictionary. L., 1898.
23. Ancient laws and institutes of England. V. 1. L., 1831.
24. *Grimm J.* Deutsche Mythologie. Bd I. Göttingen, 1844.
25. *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938.
26. *Топорова Т. В.* Семантическая мотивировка концептуально-значимой лексики в древнеисландском языке: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. М., 1986.
27. *Топоров В. Н.* Об одном архаичном индоевропейском элементе в древнерусской духовной культуре // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987.
28. *Lyons J.* Semantics. V. 2. Cambridge, 1977.
29. *Степанов Ю. С.* Эмиль Бенвенист и лингвистика на пути преобразований // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
30. *Кант И.* О первом основании различия сторон в пространстве // Кант И. Соч. Т. 2. М., 1964.
31. *Вернадский В. И.* О состояниях физического пространства // Размышления натуралиста. Пространство и время в живой и неживой природе. М., 1975.
32. *Джонсон-Лэрд Ф.* Процедура семантика и психология значения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXII. М., 1988.
33. *Михайловская Н. Г.* Прилагательные *правый*—*десный*—*львыи*—*шуи* в русском языке XI—XVII вв. // Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964.
34. *Науген Е.* The semantics of Icelandic orientation // Word. 1957. V. 13. № 3.
35. *Мельникова Е. А.* Древнескандинавские географические сочинения: Тексты, перевод, комментарий. М., 1986.
36. *Whittaker O.* O such language! South California, 1969. P. 60.
37. *Malone K.* The Middle Ages (to 1500) // A literary history of England. V. 1. N. Y., 1948.
38. *Bonsler W.* The medical background of Anglo-Saxon England. L., 1948.
39. *Ярцева В. Н.* История английского литературного языка. IX—XV вв. М., 1985.

© 1990 г.

САННИКОВ В. 3.

**КОНЪЮНКЦИЯ И ДИЗЪЮНКЦИЯ В ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ)**

Общезвестно, что научная картина мира резко отличается от наивной картины мира, отраженной в языке. Есть, однако, группа слов, где по общему мнению, эти различия сглаживаются и где языковые значения тождественны (или очень близки) научным, логическим. Это так называемые «логические слова», к числу которых относятся и основные сочинительные союзы — *и*, *или*. Уже сам термин («логические слова») подчеркивает их особую природу, их «надязыковую» сущность. Между тем предостережения против слепого следования рецептам логиков, которые высказывались неоднократно и лингвистами, и самими логиками (см., например [1—7]), справедливы и по отношению к «логическим словам». Г. П. Грайс указывал: «...имеет право на существование неупрощенная, и потому более или менее несистематическая, логика естественных языковых аналогов формальных символов; упрощенная формальная логика может подкреплять и направлять эту логику, но ни в коем случае не вытеснять и не подменять ее. На самом деле эти две логики не просто отличаются друг от друга — они могут и противоречить друг другу» [8].

В статье рассматриваются существенные различия между значениями логических связок (или логических союзов) «конъюнкция» и «дизъюнкция» и значениями соответствующих союзов — конъюнктивных (соединительных) и дизъюнктивных (разделительных) — в естественном (русском) языке¹.

Отличие конъюнктивных (соединительных) и дизъюнктивных (разделительных) языковых высказываний от соответствующих логических высказываний прослеживается по многим линиям: 1) число элементов высказывания; 2) неравноценность элементов высказывания; его смысловое богатство; 3) понятие истинности высказывания; 4) размытость границ между конъюнкцией и дизъюнкцией; 5) размытость границ между конъюнктивными и дизъюнктивными высказываниями и некоторыми другими языковыми высказываниями.

Эти важные отличия будут рассмотрены соответственно в пунктах 1—5 первого раздела данной работы. Следует подчеркнуть, что многие из перечисленных особенностей являются следствием одного (самого важного) различия между конъюнктивными и дизъюнктивными связями в логике и конъюнктивными и дизъюнктивными отношениями в языке: само значение конъюнкции и дизъюнкции в логике и в естественном языке существенно различно. Мы попытаемся показать это во втором разделе статьи.

¹ О некоторых других способах выражения конъюнкции и дизъюнкции в языке, см., например [9—10].

1. Число элементов высказывания. В каждом из логических высказываний А&В (конъюнкция) и А V В (дизъюнкция) мы имеем дело с двумя элементами (А, В) — и только с ними. Между тем языковые высказывания (и конъюнктивные, и дизъюнктивные) могут кроме эксплицитно перечисленных элементов содержать указание и на другие элементы. II это индуцируется самим сочинительным союзом. Сюда можно отнести, в первую очередь, «иллюстративное» употребление союзов *и* и *ли* ... *ли* (*ли* ... *или*), где из длинного ряда элементов говорящий указывает лишь несколько, ср.: *В Москве живут русские и белорусы, армяне и латыши, татары и греки; Современный ... спорт — лыжи ли, коньки, фигурное катанье — требует и соответствующего оснащения* (Моск. правда, 1985. 5 февр.) [говорящий произвольно выбирает несколько видов спорта из множества имеющихся]. Еще пример:

*Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижусь ли меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам*

(А. Пушкин. Брожу ли я вдоль улиц шумных)

[Пушкин перечисляет условия, менее всего располагающие к мечтательности, из чего читатель понимает, что в других условиях (например, наедине с собой) лирический герой уж тем более предается своим мечтам].

Сходную картину мы находим в бессоюзных конструкциях типа *Ко мне пришли Миша, Петя, Коля, Катя*. Они отличаются от конструкций с союзом *и* (типа: *Ко мне пришли Миша, Петя, Коля и Катя*) тем, что в конструкции с *и* указаны все участники ситуации, а в бессоюзной конструкции — участники, первыми вспомнившиеся говорящему, возможно, не все. В случае союзной конструкции участники как бы находятся в центре кадра, не занимая его целиком; в случае бессоюзной — занимают весь кадр, заставляя нас подозревать, что часть участников не «уместилась» и находится за кадром.

Это подтверждается употреблением бессоюзных соединительных конструкций в случае заведомой неполноты перечисления. Ср.: *А что там в лесу, неясно себе представлял,— ягоды, волки* (Ю. Тынянов. Пушкин. Детство); *В Москве живут русские, украинцы, грузины, узбеки, латыши, молдаване*. (Постановка сочинительного союза — *В Москве живут русские, украинцы, грузины, узбеки, латыши и молдаване* — привела бы к искажению смысла: из этого можно было бы заключить, что в Москве не живут представители других национальностей.)

Представление о каком-то третьем, эксплицитно не указываемом элементе, входит также в значение разделительных союзов *не то ... не то; то ли ... то ли; может ... (а) может*. Сравним два примера:

(1) *Это произошло в XV или в XVI веке;*

(2) *Это произошло не то в XV, не то в XVI веке.*

Высказывание (2) с союзом *не то ... не то* характеризуется большей неопределенностью, чем высказывание (1); оно допускает возможность того, что описываемое событие произошло и не в XV, и не в XVI в., а в какое-то другое время.

2. Неравноценность элементов высказывания; его смысловое богатство. Конъюнктивные и дизъюнктивные высказывания русского языка поражают смысловым богатством. Многие союзы включают (в отличие от

«основных» союзов — *и*, *или*) добавочные семантические компоненты, такие, как «компенсация» (*В раю климат, зато в аду — общество; Мясо дают редко, -зато по 2 кг на человека*); «усугубление», «анти-компенсация» (*Мясо дают ред-ко, и то по 2 кг на человека*); «неожиданность второго элемента» (*Взял он письмо, да и вскрыл его*); «ненормальный ход событий» (*День был дождливый, но Коля не взял зонт*); «ненормальное положение дел» (*День был дождливый, а Коля не взял зонт*); «неравноценность событий или признаков по их удельному весу» (*Он не столько умный, сколько хитрый* [= хитрости — много, ума — значительно меньше]); «неравноценность мнений по их достоверности» (*Это скорее и, чем иц*); «частое чередование во времени» (*Ветер шевелил сучья дерев, то открывая, то закрывая звезды*. Л. Толстой. Хаджи-Мурат) и мп. другие (см. [11]).

Кроме того, все союзы (в том числе и «основные!») имеют еще добавочный смысл особого вида, который касается уже не самой описываемой ситуации, а говорящего (Г) и слушающего (С), их отношения к сообщаемому и друг к другу. Такой смысл принято относить к прагматике языкового знака. Так, высказывания с *или* типа *Стекло разбил Коля или Петя; Приеду в пятницу или в субботу* содержат кроме основного дизъюнктивного значения богатую прагматическую часть значения (которой нет в соответствующих примерах с союзом *и*: *Стекло разбили Коля и Петя; Приеду в пятницу и в субботу*):

«Говорящий (Г) не может сказать полной правды, поскольку:
либо он недостаточно осведомлен,
либо он описывает гипотетическое будущее;

Сознавая коммуникативную неполноценность своего сообщения, Г считает его полезным для слушающего (С), поскольку он считает, что:

либо более точная информация не обязательна,
либо сообщение облегчает поиск более точной информации;

Г предполагает, что:

С знает о ситуации еще меньше, чем Г;

либо в условиях общения нет источника более точной информации,
либо такого источника нет вообще».

Обычной для сочинительных конструкций является *неравноценность* элементов. В логике высказывания $A \& B$ и $A \vee B$ тождественны высказываниям $B \& A$ и $B \vee A$. В естественном (русском) языке есть, кажется, только одна группа сочинительных союзов, где компоненты равноценны (причем эта равноценность подчеркивается) и обратимы. Это дизъюнктивные союзы *ли ... ли (ли ... или); что ... что; хоть ... хоть; будь то ... или*. Ср.: *Спит — хоть голоден, хоть сыт, Хоть один, хоть в куче* (А. Твардовский. Василий Теркин); *Что о печь головой, что головой о печь; По мне, хоть Сидора, хоть Карпа* (В. Даль).

Как правило, члены конъюнктивных и дизъюнктивных высказываний *неравноценны* и вследствие этого *необратимы*. Так, компоненты высказываний с союзом *но* указывают на ненормальный ход событий и не допускают перестановки (ср.: *Шел дождь, но он не взял зонт*). Ср. также два следующих высказывания, где изменение порядка дизъюнктивных членов резко меняет смысл высказывания: *Он вернется в пятницу, а то и в четверг* [= «вернется скоро»]. *Он вернется в четверг, а то и в пятницу* [= «вернется нескоро»].

Даже те конструкции, где союз не указывает на неравноценность членов и которые признаются «обратимыми», «симметричными», оказываются в действительности «асимметричными»: изменение порядка членов и здесь приводит к существенному изменению смысла.

Чаще всего порядок компонентов отражает в этих случаях: 1) реальную последовательность описываемых событий [ср.: *Он сказал и сел vs. Он сел и сказал; И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет* (М. Зошенко. Аристократка); *Он шел по квартире: передняя, кабинет, гостиная, спальня*]; 2) пространственную упорядоченность объектов действительности (в качестве точки отсчета берется обычно местонахождение говорящего), ср.: *За деревней была река, за рекой поле, а дальше синели бескрайние леса*; 3) упорядоченность предметов или событий по убыванию престижности, социальной значимости (см. [12—14]). Ср.: *мужчины и женщины; взрослые и дети; люди и машины; коммунисты и беспартийные*.

Говорящие отчетливо ощущают неравноценность позиций в сочинительной конструкции, исходя из представления, что первое место в сочинительной конструкции более «престижно», чем последующие. Ср.: *В горах Принс-Чарльз есть хребты Атоса, Портоса и Арамиса. Бедный Арамис! Всегда он «и» ...* (В. Конецкий. Третий лишний).

3. «Истина» в логике и «правда» в языке. В логике высказывания «могут принимать лишь два „истинностных значения“: „истину“ и „ложь“» [15]. При этом в случае ложности одного из двух членов конъюнкция резко отличается от дизъюнкции: если ложен один из членов конъюнктивного высказывания $A \& B$, то высказывание ложно; напротив, если ложен один из членов дизъюнктивного высказывания $A \vee B$, то высказывание истинно (см. [15—16]). В языке конъюнктивные и дизъюнктивные высказывания с одним ложным членом в истинностном отношении не отличаются резко друг от друга: Ср. конъюнктивное высказывание (3) и дизъюнктивное высказывание (4):

(3) *В Каспийское море впадают Волга и Днепр.*

(4) *В Каспийское море впадает Волга или Днепр.*

С точки зрения логики высказывание (3) ложно, а высказывание (4) истинно (поскольку истинен один из дизъюнктивных членов). Однако как квалифицировать эти высказывания с точки зрения языковой интуиции — правда это или неправда? Видимо, здесь можно говорить о неполном соответствии правде, о «полуправде». Понятие правды, бесспорно, занимает важное место в сознании говорящих и в духовной жизни народа, оно отражается в языке не только в самом слове *правда*, но и в некоторых других единицах, например, представление о правде есть, видимо, в значении глагола *знать* [18]. Не только конъюнктивные высказывания с ложным членом типа (3), но и высказывания с разделительными союзами типа (4) не соответствуют (или, во всяком случае, не вполне соответствуют) тому представлению о правде, вечной и неизменной, которое находит отражение в языке. Ведь они по самой своей природе допускают уточнения или даже требуют их. Утверждение (5а) может перейти после соответствующих уточнений в (5б):

(5а) *Стекло разбил Коля или Петя* =ф (5б) *Стекло разбил Поля.*

Если (5б) — правда, то что же такое (5а), описывающее ту же самую ситуацию? Его, видимо, можно квалифицировать как «полуправду» или «неполную правду».

Показательно в этом отношении сравнение утверждений с разделительными союзами и так называемых альтернативных вопросов:

⁴ В приводимых высказываниях союзы соединяют не предложения, а члены предложения, но это не имеет существенного значения, поскольку каждое из предложений (3)—(4) — результат естественного сокращения двух предложений («сочинительное сокращение»; см., например [17]).

(6) *Стекло разбил Коля || или Леля?*

(7) *Стекло разбил Коля или Петя.*

В случае (6), как и в случае любого другого вопроса, говорящий не знает правды, не знает ответа (ср. [7, с. 25]). Но ведь говорящий (7) знает ровно столько же и к правде он не ближе, чем говорящий (6)! Разным в (6) и (7) является не объем знаний о внешнем мире и не соответствие действительности, а представление говорящего о знаниях собеседника: если говорящий подозревает, что его собеседник знает о ситуации больше, чем он сам, — он спрашивает; если же он подозревает, что собеседник знает еще меньше, — он делает утверждение.

Таким образом, если в логике высказывание может быть либо истинным, либо ложным, то в языке мы скорее, имеем дело со шкалой, где правда и неправда — крайние точки, между которыми находится множество промежуточных, таких, как точка, обозначаемая словом «полуправда». К числу промежуточных относятся, видимо, и те точки, которые обозначаются разделительными конструкциями, а также соединительными (конъюнктивными) конструкциями с одним ложным членом.

4. Размытость границ между конъюнктивными и дизъюнктивными конструкциями проявляется, во-первых, в том, что конъюнктивные союзы могут иногда выступать в функции дизъюнктивных (ср.: *Он возвращается в 2 и в 3 часа ночи*), а дизъюнктивный союз *или* — в функции конъюнктивного союза, ср.: *Выемка угля в шахтах производится ручным или машинным способом* (пример из работы [19]); *Новый дом был печален, он напминал тюрьму или больницу* (А. Герцен. Былое и думы); *Конечно, Ч. не был инженером или там техником. Он специального образования не имел* (М. Зошенко. Поучительная история) [Компоненты соединены союзом *или*, хотя описываемый дом похож и на тюрьму, и на больницу; Ч. не был ни инженером, ни техником. П т. д.].

Еще более интересны конструкции, занимающие по смыслу промежуточное положение между соединительными и разделительными.

Сюда следует отнести, в первую очередь, конструкции с союзом *то ... то*, ср.: *Во время болезни меня навещали то Миша, то Коля*. В каждый отдельно взятый момент говорящего навещал кто-то один — либо Миша, либо Коля (дизъюнкция), однако в целом за весь описываемый период говорящего навестили оба — и Миша, и Коля (конъюнкция). Тем самым, конструкция с *то ... то* могла бы быть определена как «соединительно-разделительная» (или «конъюнктивно-дизъюнктивная»).

Другой интересный «гибрид» соединительных и разделительных конструкций — конструкции с союзами *а то и; а может (быть) и*. Ср.: *Они прогуляются до реки, а то и выкупаются*. Здесь первый компонент (прогулка) действительно будет иметь место (как в случае конъюнктивных отношений), а второй (купание) — возможен (как в случае дизъюнктивных отношений).

5. Размытость границ между конъюнктивными и дизъюнктивными конструкциями и между другими конструкциями языка. Следствием является то, что некоторые конструкции, конъюнктивные или дизъюнктивные по форме, видимо, не являются таковыми по смыслу. Рассмотрим некоторые из них.

1) Конструкции с тождественными словоформами, типа: *Девочка, девочка упала* [ф «две девочки»]; *Мужик здоровый. Ну, медведь и медведь* [ф «два медведя»]; *Сашку Ермолаева обидели. Ну, обидели и обидели — случается* (В. Шукшин. Обида) [ф «дважды обидели»].

2) Конструкции типа: *Давление падает: 100, 85, (0 атм; И два, и три раза я предлагал ему помощь [ф «пять раз»]; Мертвец спокоен, он может ждать еще две недели и три. Он подождет* (Ю. Тынянов. Кюхля).

3) Вряд ли можно отнести к конъюнктивным или дизъюнктивным также конструкции с союзом *а не* (*не ... а*), ср.:

(8) *Коля не спит, а читает книгу.*

В приведенном высказывании речь идет не о двух действиях, а об одном; смысл этого высказывания можно определить следующим образом: «Коля совершает некое действие; неверно, что это действие — сон; это действие — чтение». Справедливость такого понимания становится очевидной, если сравнить (8) с близким по смыслу высказыванием *Коля не спит и читает книгу*, где, действительно, имеет место конъюнкция двух действий: «Коля совершает следующие действия: 1) не спит; 2) читает книгу».

II

В этой (основной) части статьи мы отвлечемся от сложных промежуточных случаев, от рассмотрения многочисленных «неосновных конъюнктивных и дизъюнктивных союзов, а также и от рассмотрения «периферийных» значений союзов *и* и *или*. Рассмотрим теперь только эти «основные» языковые союзы (*и, или*) и только в их основных значениях — «чистая конъюнкция» и «чистая дизъюнкция» — и попытаемся показать, что и здесь союзы языка отличаются по значению от соответствующих логических связок (союзов) — «конъюнкция» и «дизъюнкция».

1. В меньшей степени сказанное относится к союзу *и*, который по значению близок к конъюнкции в логике. Правда, словари и грамматики русского языка отмечают, что значение конъюнкции осложнено множеством добавочных значений — «последовательности» (*Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи*. И. Бабель. Конармия), «противительности» (*Я все ищу добра — и нахожу лишь зло*. А. Фет) и т. д., однако они, по нашему мнению, индуцированы контекстом и не входят в значение союза *и*. П все-таки есть одно исключение — п р и ч и н н о с л е д с т в е н н а я з а в и с и м о с т ь. Сравним три примера:

(9) *Коля вернулся, а Петя остался в школе.*

(10) *Коля вернулся, Петя остался а школе.*

(11) *Коля вернулся, и Петя остался в школе.*

В (9) и (10) события (возвращение Коли и пребывание Пети в школе) описываются как независимые (Петя мог вообще не знать о возвращении Коли); напротив, в (11) действия зависимы: Петя наверняка знал о возвращении Коли, и пребывание Пети в школе связано с возвращением Коли, является н о р м а л ь н о й р е а к ц и е й на это возвращение. П приписать это значение нормального следствия можно лишь союзу *и* — поскольку все остальные компоненты во фразах (9) — (11) совпадают.

Тем самым, мы должны признать указание на нормальное следствие компонентом значения союза *и*, причем компонентом с л а б ы м, ф а к у л ь т а т и в н ы м³ — поскольку во многих других случаях (ср.: *Коля вернулся, и Петя не остался в школе; Пришли Миша и Петя*) он отсутствует и тут мы действительно имеем дело с «чистой конъюнкцией».

Специфическим в естественноречевых конъюнктивных высказываниях является и распределение элементов внутри некоего множества. Рассмо-

³ О разделении семантических компонентов, фиксируемых в толковании слова, на постоянные, характеризующие его в любом случае употребления, и переменные — вероятные, но не обязательные см. [20, 21].

трим следующий пример: *На столе стояли пять коробок с карандашами и ручками.* Во фразах такого типа распределение компонентов внутри множества (т. е. распределение карандашей и ручек по коробкам) никак не задается. Поэтому данная фраза может описывать множество ситуаций действительности (в каждой коробке — и карандаши, и ручки; в одной коробке — карандаши, в четырех — ручки; в двух — карандаши, в двух — ручки, в одной — и то и другое; и т. д. и т. п.).

В доказательстве тезиса об отсутствии указания на распределение компонентов в конструкциях с *и* приведем еще один пример:

(12) *В работе много нового и интересного.*

Смысл высказывания, казалось бы, ясен: «В работе много нового и много интересного; работа хорошая». В действительности, однако, распределение признаков «новое» и «интересное» здесь никак не задано⁴. Поэтому (12) допускает самые разные продолжения: ... *многое новое очень интересно* (пересечение признаков); ... *буквально все новое интересно* (полное наложение); и т. д. И, наконец, (12) допускает продолжение: *К сожалению, то, что ново — неинтересно, а что интересно — не ново* (полное несовпадение признаков).

Правда, последнее из приведенных продолжений более неожиданно, чем два первых, но это не значит, что такое распределение признаков не «заложено» в исходном высказывании (12). Эта неожиданность вызвана значением самих прилагательных «новый», «интересный», каждое из которых имеет универсально положительную оценку и которые, тем самым, индуцируют первоначальную положительную оценку описываемого. С продолжением высказывания оценка меняется на противоположную, эта дискредитация описываемого («срывание маски») и производит комический эффект.

2. *Или* и логическая связка \vee Известно, что в математической логике различаются два вида дизъюнкции: 1) разделительная (строгая, исключающая), где высказывание $A \vee B$ означает: «либо А, либо В» и 2) неразделительная (нестрогая, неисключающая), где высказывание $A \vee B$ означает: «либо А, либо В, либо то и другое вместе».

Какое же значение имеет союз *или* в естественном (русском) языке? Этим вопросом много занимались и лингвисты, и логики. Существующие точки зрения, казалось бы, резко различны, а иногда даже диаметрально противоположны, однако все они строятся на одной принципиальной основе — на признании того, что значение *или* близко к значению логической связки «дизъюнкция». Считается общепризнанным, что в значение конструкции *X или Y* входят компоненты: «либо X», «либо Y». Разница в понимании касается третьего, («объединительного») компонента: «либо X и Y вместе». Есть он, этот компонент, или нет? Иными словами, имеем ли мы дело в языке с разделительной (строгой) дизъюнкцией, со «взаимоисключением» (термин классической русистики) или же с неразделительной (нестрогой) дизъюнкцией? Как сторонники первой точки зрения, имеющей в русистике давнюю традицию, так и сторонники второй, противоположной той точки зрения не могли не испытывать некоторое неудобство, ощущая, что выбранная для языка одежда «не вполне ему по фигуре»: одна (разделительная дизъюнкция, «взаимоисключение») — узковата, другая (неразделительная дизъюнкция) — слишком широка. Проиллюстрируем это

⁴ Предположение, что признаки «новое» и «интересное» независимы, вообще говоря, не бесспорно. Но для нашего изложения это несущественно: в обсуждаемых примерах они понимаются говорящими как независимые.

двумя примерами с союзом *или*, уже обсуждавшимися в литературе (см. 14, 19]):

(13) *В 10 часов вечера я буду уже в Москве или в Ленинграде.*

(14) *Если завтра у меня заболит горло или повысится температура, то я не поеду кататься на лыжах.*

Первая точка зрения, согласно которой *или* указывает на «взаимоисключение» (разделительная дизъюнкция), пригодна для толкования фразы (13), но фраза (14) получает неестественную интерпретацию: «Если завтра у меня либо заболит горло, либо повысится температура, но не то и другое вместе,— я не поеду кататься на лыжах».

Вторая точка зрения, согласно которой *X или Y* = «либо X, либо Y, либо и то и другое вместе», наоборот, удовлетворительна в случае фразы (14), но приводит к неестественной интерпретации фразы (13): «В 10 часов вечера я буду либо в Москве, либо в Ленинграде, либо и в Москве, и в Ленинграде (одновременно)».

Попытки обойти эти затруднения шли по двум направлениям.

А. В. Гладкий, придерживающийся второй точки зрения (*X или Y* = «либо X, либо Y, либо и то и другое вместе»), отводит противоречащие примеры ссылкой на несовместимость фактов, выражаемых компонентами. По его мнению, в предложениях типа (13) оба компонента «не могут быть истинны одновременно, но не потому, что в этих случаях *или* употреблено в ином значении, а потому, что в этих случаях несовместимы факты, выражаемые компонентами — что не имеет отношения к языку» [4, с. 199]. Автор отмечает, что можно вообразить ситуацию (пусть иногда фантастическую), когда компоненты предложения перестанут быть несовместимыми: например, существо, обладающее способностью быть в двух местах сразу.

Предполагается, тем самым, что предложения типа (13), как и любые другие предложения с *или*, воспринимаются слушающим как включающие три альтернативы: «В 10 часов вечера я либо *буду* уже в Москве, либо *буду* уже в Ленинграде, либо *буду* уже в Москве и Ленинграде (одновременно)». Предполагается далее, что слушающий уточняет затем значение утверждения — приблизительно так: «либо речь идет о какой-то фантастической ситуации, либо факты, выражаемые компонентами, несовместимы (человек не может находиться в двух местах одновременно), и, следовательно, последняя альтернатива должна быть исключена и утверждение (13) сводится к двум альтернативам: „В 10 часов вечера я либо *буду* уже в Москве, либо *буду* уже в Ленинграде“».

Нам кажется, что такое понимание антиинтуитивно: вероятно, ни говорящий, ни слушающий даже и не думают в данном случае о третьей альтернативе, т. е. о совмещении / несовмещении фактов, выражаемых компонентами. Более того. Даже во фразах типа (14) — *У меня заболит горло или повысится температура* — говорящий не думает о совмещении фактов, о третьей альтернативе (либо то и другое вместе). Естественно, что эта фраза допускает продолжение: ... *е обоих случаях я не поеду кататься на лыжах* [не: ...*во всех трех случаях я не поеду кататься на лыжах*].

Другой способ справиться с возникающими трудностями — признать, что в конструкциях с *или* объединительный компонент в одних случаях есть (и тогда можно говорить о неразделительной дизъюнкции) — ср. пример (14), а в других случаях его нет (разделительная дизъюнкция) — ср. пример (13). Этого мнения придерживаются логики и многие лингвисты, как советские, так и зарубежные (см., например [16, 19, 22, 23]).

Данная точка зрения не приводит к столь резкому противоречию с языковыми фактами, как точки зрения, рассмотренные выше. Однако достигается это дорогой ценой. Мы вынуждены признать два разных значения союза *или* (разделительное и неразделительное), что явно противоречит интуиции: ведь союз *или*, по справедливому замечанию Е. В. Падучевой, «во всех случаях его употребления воспринимается носителями русского языка как одно и то же слово» [19, с. 145—146]. К тому же мы сталкиваемся при таком подходе со сложными правилами распределения двух выделяемых значений союза *или*.

По и ото еще не все. Целый комплекс сложных проблем возникает в связи с конструкциями с *или*, которые допускают два противоположных продолжения⁵:

(15) *У Коли есть свитер или джемпер.*

(15а) *У Ноли есть свитер или джемпер или к то, и другое (вместе).*

(15б) *У Коли есть свитер или джемпер, но не то и другое. (вместе).*

Ни одна из трех рассмотренных выше точек зрения не позволяет дать непротиворечивую интерпретацию фраз (15а)—(15б):

— если видеть в (15) разделительную дизъюнкцию («взаимоисключение»), то в (15а) мы сталкиваемся с противоречием («У Коли есть либо свитер, либо джемпер, но не то и другое вместе, либо то и другое вместе»), а в (15б) — с тавтологией («У Коли есть либо свитер, либо джемпер, либо то и другое вместе, либо то и другое вместе»);

— если видеть в (15) неразделительную дизъюнкцию, то интерпретация (15а) приводит к тавтологии («У Коли есть либо свитер, либо джемпер, либо то и другое, либо то и другое»), — а (15б) получает следующий смысл: «У Коли есть либо свитер, либо джемпер, либо то и другое, по не то и другое». Снова смысловое противоречие!

И это не случайно. Это естественное следствие того, что все три описанные точки зрения на значение союза *или* — результат распространения на язык научных, логических понятий («разделительная дизъюнкция» и «неразделительная дизъюнкция») и не отражают то наивное представление, которое существует в языке. Ни одна из них не находится в полном соответствии с языковой интуицией.

Несмотря на все различия, существующие точки зрения на значение союза *или* в языке строятся на одной принципиальной основе — на эксплицитном указании точного места объединения компонента («либо X и Y вместе»). Как и в логике, этот компонент либо запрещается («взаимоисключение», разделительная дизъюнкция), либо признается третьим, «равноправным» компонентом значения («объединительное значение», неразделительная дизъюнкция). Между тем разгадка, видимо, в том, что в наивной картине мира, которая отражена в языке, совмещение компонентов X и Y вообще не учтено: оно не разрешено и не запрещено, говорящий вообще о нем не думает. Говоря или слушая фразу *У Коли есть велосипед или мотоцикл*, говорящий и слушающий имеют в виду две возможности (наличие велосипеда; наличие мотоцикла) и не задумываются об их совмещении (наличие того и другого вместе).

Возможно ли отразить это обстоятельство в самом толковании союза *или*? Нам кажется, это возможно, если эксплицитно отметить в толковании тот факт, что в предложениях с *или* каждый из компонентов в о з м о

* На это обстоятельство на материале английского языка обратил внимание Дж. Хэрфорд [23].

жен, но не обязателен⁶. Этот важный факт, много объясняющий в значении и функционировании конструкций с *или*, достаточно очевиден и отмечался исследователями — и логиками, и лингвистами (см., например 125, 261: он, по нашему мнению, должен быть эксплицитно отражен в основной, ассертивной части толкования союза *или*:

X или Y = «в качестве описываемого:
возможен X,
возможен Y»⁷.

Следует обратить внимание на одно важное обстоятельство: «объединительный компонент» («либо X и Y вместе») не включается в наше толкование, однако этот компонент и не запрещен.

Поэтому союз *или* пригоден для описания как тех ситуаций, где совмещение компонентов возможно, так и тех, где такое совмещение практически невозможно.

Предложения (13) и (14), детально обсуждавшиеся выше, получают, таким образом, следующее толкование:

(13) = «В 10 часов вечера я буду уже в некоем городе; в качестве этого города возможна Москва, возможен Ленинград».

(14) = «Если завтра со мной произойдет некое событие, я не поеду кататься на лыжах; в качестве этого события возможно заболевание горла, возможно повышение температуры».

В отличие от большинства исследователей союза *или*, полагающих, что носители языка всегда думают о совмещении или несомещении альтернатив, мы считаем, что носители языка (кроме, может быть, людей, «испорченных» знакомством с математической логикой), вообще не задумываются о подобном совмещении. А если это все-таки происходит, говорящий использует не конструкцию с *или*, а более сложные конструкции, включающие специальные дополнительные средства, эксплицитно указывающие на возможность или невозможность совмещения компонентов X и Y. Первое передается сочетанием *или то и другое (вместе)*, второе — сочетанием *но не то и другое (вместе)*. Эти «каверзные фразы», объяснение которых — камень преткновения для любой из существующих точек зрения, получают теперь удовлетворительную интерпретацию: *У Коли есть свитер или джемпер, или и то и другое вместе* = «У Коли есть (теплая) одежда; в качестве этой одежды возможен свитер, возможен джемпер, возможно и то и другое»; *У Коли есть свитер или джемпер, но не то и другое вместе* = «У Коли есть (теплая) одежда; в качестве этой одежды возможен свитер, возможен джемпер, но не то и другое вместе».

Слушающий также иногда (но именно иногда!) может задуматься о возможности совмещения компонентов в утверждениях с *или*. При этом он решит, видимо, что в высказываниях типа (14) компоненты совместимы, а в (13) — нет, но это решение основано исключительно на знаниях о мире. Что же касается самих высказываний, то ни в (13), ни в (14), ни в каком-либо ином естественноразговорном высказывании с *или* ничего не сказано

⁶ Несколько изменив формулировку Ч. С. Пирса [24], определяем возможность как гипотезу, относительно истинности которой в момент речи нельзя судить с достоверностью.

⁷ Под описываемым понимается: либо описываемая ситуация (Мм *пойдем к Пете или он придет к нам*); либо участник ситуации (например, адресат в предложении *Он подарит книгу Маше или Кате*); либо признак ситуации (например, время в предложении *Он придет в пятницу или в субботу*).

о возможности совмещения компонентов. Именно поэтому они допускают противоположные продолжения — *1) или то и другое (вместе), 2) но не та и другое (вместе)*.

Математическая логика, естественно, не могла без уточнения использоваться в качестве связки то значение *или*, какое этот союз имеет в языке. Это уточнение могло пойти (и действительно пошло) по двум противоположным направлениям: 1) усилить объединительный компонент, «слабо мерцающий» в предложениях с *или*, до полноценной третьей альтернативы — неразделительная дизъюнкция; 2) «стереть» слабый объединительный компонент, оставив две альтернативы, — разделительная дизъюнкция. Что же касается значения союза *или* в естественном языке, то оно не сводимо ни к разделительной, ни к неразделительной дизъюнкции. Естественный язык указывает на две возможности, «отвлекаясь» от их совмещения.

В особом рассмотрении нуждаются союзы *или ... или, либо ... либо*. Некоторые ученые (см., например [19] и [27]) видят здесь разделительную, или строгую дизъюнкцию («либо X, либо Y, но не то и другое вместе»). Нам кажется, однако, что и в этом случае союзы естественного языка отличаются по значению от соответствующей связки математической логики. В известном примере из Повести Л. Соловьева Насреддин обещает эмиру за двадцать лет научить ишака читать Коран, рассуждая при этом так: «за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет — или я, или эмир, или этот ишак» (Л. Соловьев. Повесть о Ходже Насреддине). Вряд ли Насреддин хочет сказать, что умрет только один, и исключает возможность того, что могут умереть и два участника ситуации, и даже все три. «Взаимоисключения», строгой дизъюнкции здесь, видимо, нет, как нет его и во многих других случаях. Ср.: *Вот они где у меня сидят, эти интуристы!.. Приедет... и или нашипонит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы вымотает* (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Смысловое отличие союза *или ... или* от союза *или* мы видим не в указании на взаимоисключение компонентов X и Y и не в исключении какого-то третьего компонента, отличного от X и Y, а в указании на обязательность хотя бы одного из компонентов X и Y.

Бесспорно, есть случаи, где взаимоисключение элементов налицо, но индуцировано оно другими языковыми средствами — чаще всего ограничительными словами (например, отрицанием) при одном из элементов — *Эти графа или не надо, или А. Ченьер* (А. Пушкин. Письмо Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу 15 марта 1825 г.); *Что-нибудь одно: или они сумасшедшие, или я сумасшедший* (И. Бунин. Освобождение Толстого).

Нигде, пожалуй, учет логического языка при исследовании языка естественного не признается столь оправданным, как при изучении значения сочинительных союзов (ведь такие союзы, как *и, или*, связаны по значению со связками математической логики), и нигде, пожалуй, это сближение не привело к столь существенным искажениям в описании значения языковых единиц. Сочинительные конструкции естественного (русского) языка характеризуются смысловым богатством и большой неопределенностью. Применяя термины «конъюнкция», «дизъюнкция» по отношению к естественному языку, не следует забывать, что они здесь имеют иной смысл, отличный от того, который закреплен за ними в математической логике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии//Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 280—281.
2. Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. М., 1948.
3. Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973. С. 6.
4. Гладкий А. В. О значении союза *или* // Семиотика и информатика. Вып. 13. М., 1979.
5. МакКоли Дж. Д. Логика и словарь// Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV. М., 1983. С. 178-179.
6. Пельц Е. Семиотика и логика. Семиотика. М., 1983.
7. Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (Референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.
8. Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1985. С. 219.
9. Брутян Л. Г. Лингвистический анализ языковых выражений конъюнкции. Ереван, 1983.
10. Санников В. З. Прагматика неопределенных утверждений//НТИ. Сер. 2. 1987. № 9.
11. Санников В. З. Русские сочинительные конструкции (Семантика. Прагматика. Синтаксис). М., 1989.
12. Cooper W., Ross J. World Order // Papers from parasession on functionalism. Chicago, 1975.
13. Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика. М., 1983.
14. Бергельсон М. Б., Кибрик А. Е. Прагматический «принцип Приоритета» и его отражение в грамматике языка//И АН СЛЯ. 1981. № 4.
15. БСЭ. 3-е изд. М., 1973. Т. 14. Стлб. 605.
16. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М., 1971.
17. Падучева Е. В. О семантике синтаксиса (Материалы к трансформационной грамматике русского языка). М., 1974.
18. Wierzbicka A. Dociekania scmantyczne. Wroclaw; Warszawa; Krakcw, 1969.
19. Падучева Е. В. Опыт логического анализа значения союза *или* // Философские науки. 1964. № 6.
20. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974. С. 124—125, 148.
21. Апресян Ю. Д. Английские синонимы и синонимический словарь//Англо-русский синонимический словарь. М., 1979.
22. Перетрухин В. Н. Проблемы синтаксиса однородных членов предложения в современном русском языке. Воронеж, 1979.
23. Hurford J. R. Exclusive or inclusive disjunction // Foundations of language. 1974. V. 11. № 3.
24. Пирс Ч. С Из работы «Элементы логики. Grammatica speculativa» // Семиотика. М., 1983. С. 173.
25. Хезай В. М. Разделительные отношения и средства их выражения в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1981.
26. Гуревич В. В. О семантике неопределенности // ФН, 1983. № 1.
27. Мушанов Ю. А. Зависимость выбора слова от предварительных знаний о предмете (на материале союзов и частиц) // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 8. М., 1964.

© 1990 г.

БЕЛОНОВ Г. Г., КУЗНЕЦОВ Б. А., НОВОСЕЛОВ А. П.,
ПАЩЕНКО Н. А.

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Последние два десятилетия характеризуются широким внедрением электронной вычислительной техники в различные области человеческой деятельности: науку, технику, экономику, военное дело и др. При этом ЭВМ стали использоваться не только и не столько для автоматизации вычислений, а прежде всего для решения информационных задач. Это привело к созданию автоматизированных информационных систем.

Автоматизированные информационные системы (АИС) предназначены для автоматизации процессов накопления, поиска и обработки информации. При их создании возникает широкий круг проблем, среди которых важное место занимают проблемы технического, программного, информационного и лингвистического обеспечения, тесно связанные между собой. Так, информационное и лингвистическое обеспечение АИС создается с учетом возможностей технических средств. То же самое можно сказать и о программном обеспечении. С другой стороны, вновь создаваемые технические средства должны быть ориентированы на перспективные методы автоматической обработки информации.

Наиболее трудными для решения являются обозначенные ниже проблемы, связанные с содержательной, смысловой стороной информационной технологии.

1. Проблема адекватного представления знаний и вытекающая из нее — разработки эффективных формализованных информационных языков. Сюда же относится и проблема формализованного представления смысла текстов, вводимых в ЭВМ на естественных языках.
2. Проблема автоматизации преобразования информации из одной формы представления в другую, например, ее перевода с естественного языка на формализованный информационный язык, с одного естественного языка на другой или с одного формализованного языка на другой.
3. Проблема автоматического распознавания смыслового тождества высказываний, представленных в различной языковой форме.
4. Проблема автоматизированного получения данных на основе информации, хранящейся в АИС.
5. Проблема общения человека с АИС.

Большинство перечисленных проблем требует для своего решения привлечения наряду с другими методами также и лингвистических методов. Тем не менее на первых этапах развития АИС лингвистические вопросы, связанные с их созданием, разрабатывались не только и не столько лингвистами, сколько специалистами другого профиля (математиками, инженерами). Постепенно сформировалась область деятельности, которая в конце 60-х годов получила название «лингвистическое обеспечение».

В настоящее время под лингвистическим обеспечением АИС обычно понимают комплекс мероприятий, связанных с разработкой, ведением, и применением лингвистических средств, а также сами эти средства. Лингвистические средства АИС включают собственно языковые средства и процедуры (программы) обработки текстовой информации. Языковыми средствами АИС являются естественный язык и его производные — ограниченный естественный язык и формализованные языки. Процедурными — средства манипулирования смысловыми единицами различных уровней (морфемами, словами, словосочетаниями, фразами, сверхфразовыми единицами), и в частности средства их семантико-синтаксического анализа и синтеза.

В современных АИС формализованное представление информации базируется на концепциях математической логики, и прежде всего того ее раздела, который носит название «исчисление предикатов». Это и не удивительно, так как ЭВМ ориентированы на манипулирование предикатно-актантными структурами данных. К такому выводу легко прийти, изучая структуру машинных операций и структуру алгоритмических языков высокого уровня (таких, как Алгол, Кобол, Фортран, PL/I, Лисп и др.).

Предикатно-актантная структура данных строится на основе многоместных предикатов, которые имеют вид

$$F(, , \dots) \cdot \quad (1)$$

Здесь F — имя предиката (многоместного отношения), а пустые места предназначены для актантов (значений предметных переменных). Конкретные высказывания формируются путем подстановки на пустые места значений предметных переменных, соответствующих описываемым ситуациям, процессам или объектам. Так, высказывание о ситуации, в которой выделено n элементов, будет иметь вид:

$$F(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad (2)$$

Здесь F , как и ранее, — имя понятия, обозначающего предикат, X_1, X_2, \dots, X_n — имена понятий, обозначающих элементы, входящие в состав ситуации. От структуры (2) можно легко перейти к структуре в виде конкатенации (связки, сочетания) двусоставных признаков, состоящих из их наименований и значений. Значения признаков будут представлены именами элементов в высказывании.

В АИС отображаются явления внешнего «мира» (внешнего по отношению к АИС), и в качестве элементов этого «мира» выступают его объекты (материальные или абстрактные). Членение внешнего «мира» на объекты может быть разным и зависит от целевой установки. Объекты могут быть простыми и сложными. Простой объект воспринимается как носитель совокупности характеризующих его свойств. Внутренняя структура простого объекта не раскрывается. Сложный объект состоит из простых объектов (как минимум двух), связанных между собой. Он также воспринимается как нечто целое и характеризуется определенными свойствами. Но в отличие от простого объекта в нем различается внутренняя структура — его расчлененность на простые объекты. Деление объектов на простые и сложные относительно: один и тот же объект внешнего мира может при решении одних задач рассматриваться как простой, а при решении других — как сложный.

Свойствам объектов в информационном отображении соответствуют их признаки, но в АИС отображаются не все свойства объектов, а лишь наиболее существенные, причем оценка существенности тех или иных свойств

зависит от характера решаемых задач. Простому объекту внешнего мира в информационном отображении соответствует конкатенация характеризующих его признаков, а сложному — сетевая структура. В узлах этой структуры помещаются простые объекты, а узлы соединяются дугами, которые отражают связи (бинарные отношения) между объектами.

Понятия «бинарное отношение» и «признак» во многом сходны друг с другом. И то, и другое характеризует определенное свойство объекта: первое — «находиться в определенном отношении к другому объекту», второе — «соотноситься с определенной качественной или количественной категорией». Более того, бинарное отношение можно считать частным случаем признака, характеризующим связь объекта с некоторым другим объектом. Частным случаем признака можно считать и математическое понятие переменной: наименование переменной может быть интерпретировано как наименование признака, а значение переменной — как значение признака.

При описании объектов на формализованных информационных языках в качестве минимальной самостоятельной единицы смысла выступает элементарное высказывание, в котором утверждается принадлежность объекту одного из его признаков. Признак может выражаться одним понятием, но обычно он расчленяется на две части: на наименование признака и его значение. Таким образом, элементарное высказывание может быть представлено в виде триады, состоящей из идентификатора объекта, наименования признака и его значения. Все элементы этой триады присутствуют во всех формализованных языках, но кодируются они по-разному: часть элементов кодируется позиционными средствами, другая — комбинациями символов алфавита. В соответствии с этим в АИС применяются три основных формата высказываний — позиционный, анкетный и триадный, которые могут использоваться самостоятельно и в различных сочетаниях. В позиционном формате для каждого признака отводится определенное поле памяти, на котором записываются значения этого признака (наименования признаков представляются позициями соответствующих им значений и в явном виде не записываются). Связь между признаками обозначается контактным расположением полей, предназначенных для описания одного объекта. В анкетном формате наименования и значения признаков обозначаются в явном виде — комбинациями символов алфавита, а связь между признаками — их контактным расположением. Порядок следования признаков в пределах одного высказывания не имеет значения. В триадном формате все компоненты элементарных высказываний — идентификаторы объектов, наименования признаков и их значения — выражаются комбинациями символов алфавита.

Популярной формой представления формализованной информации в позиционном формате являются двумерные таблицы. В таких таблицах в качестве наименований граф используются обобщенные наименования объектов и наименования признаков объектов. В графах записываются наименования конкретных объектов и соответствующие этим объектам значения признаков (числовые или текстовые).

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что наиболее общим видом формализованного описания сложных объектов является сетевая структура, в узлах которой помещены описания простых объектов, а узлы соединены друг с другом дугами, обозначающими отношения между простыми объектами. Такая структура может быть изображена в виде линейной последовательности описаний всех ее узлов, где каждый узел в свою очередь представляется в виде конкатенации собственных признаков обоб-

начаемого им объекта и признаков связи этого объекта с другими объектами. Конкатенация признаков может быть оформлена в виде позиционной, анкетной или триадной структуры или в виде сочетания таких структур. Частным случаем сетевой структуры является иерархическая структура (например, дерево зависимостей, отображающее синтаксическую структуру предложения).

Выше мы говорили о том, что в основе формализованного представления информации в памяти ЭВМ лежит предикатно-актантная структура. Эта структура используется также при описании единиц и структур естественных языков. Различные ее вариации применяются для представления семантических множителей, семантических падежей, семантических сетей, концептуальных сетей, фреймов и т. д.

АИС принято делить на документальные и фактографические. В документальных системах хранятся и обрабатываются обобщенные сведения о научно-технических документах (библиографические описания, рефераты) или тексты документов, в фактографических системах — сведения о признаках объектов любой другой природы (о свойствах веществ и материалов, о характеристиках промышленных изделий, о производственных показателях, о запасах сырья, о состоянии окружающей среды и т. п.).

Основными средствами лингвистического обеспечения документальных систем являются: 1) рубрикаторы и классификаторы информации (рубрикатор Государственной автоматизированной системы научно-технической информации, Международная классификация изобретений, Универсальная десятичная классификация, отраслевые рубрикаторы и классификаторы); 2) тезаурусы и другие нормативные словари (в настоящее время различными организациями СССР создано более 120 тезаурусов); 3) унифицированные коммуникативные форматы представления информации на машиночитаемых носителях; 4) программные средства перевода информации из одного ее представления в другое — конверторы; 5) базовые процедуры для автоматической обработки текстов на естественном языке (процедуры морфологического и семантико-синтаксического анализа и синтеза); 6) машинные словари слов и терминологических словосочетаний, а также грамматические таблицы для автоматической обработки текстов; 7) процедуры автоматического составления и лингвистической обработки машинных словарей; 8) процедуры автоматизированного обнаружения и исправления ошибок в текстах документов при их вводе в ЭВМ; 9) процедуры автоматического индексирования документов и запросов (их перевода с естественного языка на формализованный информационный язык); 10) процедуры автоматической классификации документов; 11) нормативно-техническая документация по лингвистическому обеспечению документальных АИС (Положение о лингвистическом обеспечении Государственной автоматизированной системы научно-технической информации. Государственные стандарты по лингвистическому обеспечению, инструкции и др.).

Поиск научно-технических документов в документальных АИС обычно производится по их формализованным описаниям или по текстам рефератов. В последнее время стали также создаваться системы, в которых хранятся полные тексты документов, и поиск ведется по этим текстам. В процессе поиска допускается неполная выдача документов, удовлетворяющих условиям запросов («потери»), и выдача лишних документов («шумы»). В фактографических системах это исключено. Поиск без потерь и шумов здесь обеспечивается за счет формализации информации и строгого контроля за использованием языковых средств. Формализация и контроль

осуществляются на основе применения табличных или анкетных форм ввода информации в ЭВМ.

Каждая форма ввода информации создается для описания одного класса однородных объектов и определяется регламентированным перечнем наименований признаков, а для каждого признака указывается перечень допустимых значений. Для числовых характеристик указываются единицы измерения. Вместо перечней допустимых значений нечисловых характеристик может даваться ссылка на рекомендуемые для использования классификаторы.

Для облегчения процессов формализации информации средства лингвистического обеспечения (перечни форм документов и допустимых значений признаков) могут храниться в памяти ЭВМ, а манипулирование ими при вводе информации и при формулировке поисковых предписаний может производиться в диалоговом режиме (в режиме «меню», или подсказки). В развитых АИС наряду с процедурными средствами ввода, обновления, поиска и редактирования информации должна быть библиотека прикладных программ для решения расчетных задач. Если в такого рода системах имеются интерфейсы для перехода от базового представления информации к ее представлению, необходимому на входе прикладных программ, и от представления на выходе прикладных программ снова к базовому представлению, то тогда сравнительно легко могут быть реализованы сложные комплексы расчетных задач.

Важной разновидностью фактографических АИС являются экспертные системы. В [1] экспертные системы определяются как интеллектуальные программы, использующие формализованные знания и процедуры логического вывода для решения проблем, которые достаточно трудны и требуют большого опыта. Знания, закладываемые в экспертные системы, представляют собой совокупность фактов и эвристик. Эвристики — это правила рассуждений, которыми руководствуется квалифицированный специалист при принятии решений в той или иной предметной области. В общем случае экспертная система должна включать базу знаний, процедуры логического вывода и интерфейс, позволяющий неискусенному пользователю общаться с этой системой на естественном языке. В [1] отмечается, что в настоящее время наиболее развитой частью экспертных систем является естественноречевой интерфейс.

Экспертные системы находят широкое применение в различных областях человеческой деятельности — медицинская диагностика, анализ и интерпретация экспериментальных данных, проектирование, планирование, обучение, распознавание образов и др. В них используются разные способы представления знаний. Наиболее популярным из них является система правил — система правил типа «ситуация — действие». База знаний экспертной системы может включать сотни и даже тысячи таких правил. В [1] отмечается, что система продукций как способ представления знаний не всегда оказывается надежной. Автор статьи полагает, что в будущем экспертные системы должны базироваться на способах представления знаний, позволяющих более адекватно отражать структуры объектов и причинно-следственные отношения (на семантических сетях, фреймах и др.).

Естественноречевой интерфейс в общем случае должен базироваться на процедурах семантико-синтаксического анализа и синтеза текстов и необходимых для этой цели системах словарей и грамматических таблиц. Можно, например, представить себе процесс анализа текстов (сообщений или запросов) на входе АИС, состоящий из процедур морфологического, синтаксического и концептуального анализа.

В процессе морфологического анализа производится членение слов на морфемы или сочетания морфем, отождествление их с соответствующими элементами словаря и определение грамматических характеристик слов (части речи, род, число, падеж, лицо, модели управления и др.), необходимых на последующих этапах анализа. Грамматические характеристики определяются с той степенью точности, которая возможна на основе анализа буквенного состава словоформ без учета их контекстного окружения.

В процессе синтаксического анализа строится формализованная модель текста (в общем случае сетевая), в узлах которой находятся слова, а дуги отражают синтагматические отношения между словами (чаще всего отношения непосредственной доминанции типа «определяющее — определяемое» или «управляющее — управляемое»). Формализованная модель текста может строиться в виде последовательности формализованных моделей составляющих его предложений или (что лучше) — учитывать и межфазовые связи.

В процессе концептуального анализа происходит распознавание наименований понятий и отношений между ними на основе сопоставления формализованной модели текста и наименований понятий, представленных в АИС. При этом могут устанавливаться не только отношения между понятиями, имена которых содержатся непосредственно в тексте (синтагматические отношения), но и отношения понятий из текста с другими понятиями (парадигматические отношения).

Системы словарей и грамматических таблиц, необходимые для семантико-синтаксического анализа текстов, могут быть различными в зависимости от принятой концепции такого анализа. Например, при морфологическом анализе — словарь основ слов, словарь окончаний, словарь суффиксов (сочетаний суффиксов) и грамматические таблицы, характеризующие системы словоизменения и словообразования. При синтаксическом анализе — словари синтагм, представленные сочетаниями символов классов слов. При концептуальном анализе — словари наименований понятий (словосочетаний и слов) и словари парадигматических отношений между понятиями (тезаурусы, концептуальные сети).

Словари и грамматические таблицы, применяемые при семантико-синтаксическом анализе текстов, используются, как правило, и при их семантико-синтаксическом синтезе. На первом этапе синтеза (назовем его этапом концептуального синтеза) числовые коды понятий в сообщениях, выдаваемых из АИС, заменяются с помощью соответствующего словаря на наименования понятий (словосочетания или слова). Далее (на этапе синтаксического синтеза) вырабатывается грамматическая информация, необходимая для оформления предложений на естественном языке (информация о синтаксической структуре предложений и о формах входящих в них слов). Наконец (на этапе морфологического синтеза), словам текста придается форма, обусловленная их ролью в составе предложений.

Следует заметить, что в системах автоматической обработки информации «смысл» текста нельзя распознать, опираясь только на текст. Как известно, не все в нем выражается в явном виде, многое подразумевается. Осложняют анализ текстов и такие явления, как полисемия лексических единиц, эллипсис, наличие анафорических связей между предложениями, метафория и др. Поэтому для распознавания «смысла» сообщений, вводимых в АИС, необходимо наряду с текстами этих сообщений, словарями и грамматическими таблицами привлекать также «экстралингвистическую» базу знаний (базу знаний АИС), и процедуры, моделирующие процессы мышления (например, процедуры логического вывода). Корректность

распознавания «смысла» сообщений зависит не только от качества используемых лингвистических моделей анализа текстов, но и от качества баз знаний, хранящихся в АИС, а также от качества применяемых моделей человеческого мышления.

За последние 15—20 лет в СССР и за рубежом сделано немало для теоретического осмысления процессов автоматического анализа и синтеза текстов и их практической реализации. Этой проблеме посвящены десятки международных и национальных научных конференций, сотни монографий и тысячи статей [2—6]. Однако следует признать, что для ее решения необходим широкий фронт исследований, базирующийся на применении методов различных наук, и прежде всего на сочетании традиционных лингвистических методов и методов, используемых при создании АИС (в том числе методов компьютерной лингвистики и методов моделирования процессов мышления, разрабатываемых специалистами по «искусственному интеллекту»).

В последнее время возникли большие надежды на образование такого фронта в рамках программы Машинного фонда русского языка [7, 8], инициаторами создания которого были А. И. Ершов и Ю. Н. Караулов. Идея была поддержана рядом других ученых.

Наиболее актуальной практической задачей лингвистического обеспечения АИС является создание машинных словарей (словарей слов, словарей словосочетаний, тезаурусов и др.) и базовых процедур автоматической обработки текстов (например, процедур морфологического и синтаксического анализа и синтеза). На основе этих словарей и процедур могут создаваться различные комплексные процедуры — процедура обнаружения и исправления ошибок в текстах при их вводе в ЭВМ, процедура перевода текстов с естественного языка на формализованный информационный язык, процедура перевода текстов с одного естественного языка на другой и т. п.

Практические задачи лингвистического обеспечения АИС решаются во многих организациях Советского Союза, в том числе (и не в последнюю очередь) в центрах научно-технической информации (таких, как ВИНТИ, ВНИЦентр, ИНИОН, ВНИИКИ, Информэлектро и др.). Характер работ, проводимых в этих центрах, мы проиллюстрируем на примере ВИНТИ.

В ВИНТИ АН СССР работы по лингвистическому обеспечению АИС ведутся как в направлении создания словарных, так и процедурных средств. И словарные, и процедурные средства разрабатываются с целью повышения качества документальных баз данных на машиночитаемых носителях и качества поиска в них. Научно-технические документы (статьи из журналов, книги, доклады на конференциях, патенты и др.) представляются в базах данных в виде библиографических описаний, сопровождаемых поисковыми образами этих документов, а в значительной части — не менее 30% — и текстами рефератов. Ежегодно на машиночитаемые носители переносится более одного миллиона описаний документов-публикуемых в нашей стране и за рубежом. Не учитываются лишь публикации по сельскому хозяйству, медицине, строительству и архитектуре (они обрабатываются в других центрах научно-технической информации).

Базы данных на машиночитаемых носителях являются хорошим исходным материалом для составления словарей, и эта возможность широко используется в ВИНТИ. В настоящее время там составлен политематический машинный словарь словоизменительных основ слов объемом более 180 тыс. лексических единиц. Каждая словоизменительная основа сопро-

вождается информацией о ее длине, о длине входящей в ее состав словообразовательной основы, о принадлежности к части речи, о типе словоизменения, о модели управления. Словарь составлялся по текстам протяженностью более 70 млн. слов. При этом обрабатывались тексты по машиностроению, электротехнике, энергетике, автоматике, радиоэлектронике, информатике, вычислительной технике, механике, транспорту, геологии, горному делу, металлургии, физике, охране окружающей среды и др. Словарь покрывает тексты любой тематики по естественным и техническим наукам на 98—09%. В этот словарь был влит машинный словарь основ слов по химико-биологической тематике, который имел первоначальный объем более 100 тыс. основ слов и обеспечивал лексическое покрытие текстов по биологии и химии на 97—98%.

В ВИНТИ проводится также работа по составлению частотных словарей терминологических словосочетаний. Исходным материалом для словарей служат поисковые образы документов на машиночитаемых носителях, в которых указаны перечни слов и словосочетаний, характеризующие тематическое содержание документов. В течение 1985—1989 гг. было составлено 15 частотных словарей, охватывающих все тематические области, представленные в базах данных ВИНТИ. При этом были обработаны поисковые образы документов общей протяженностью более 17 млн. слов. Суммарный объем словарей составил более 300 тыс. терминов, встретившихся в поисковых образах документов два и более раз.

При составлении машинных словарей основ по текстам наиболее трудоемкой операцией является лингвистическая обработка словоформ (выделение у них словоизменяемых и словообразовательных основ, определение принадлежности к части речи, типа словоизменения и т. п.). Выполнение этой операции может быть в значительной мере автоматизировано. Возможность автоматизации определяется имеющей место связью между буквенным составом слов, с одной стороны, и их морфологической структурой и грамматическими признаками, с другой. Например, словоформы с одинаковыми буквенными кодами своих концов обладают, как правило, и одинаковым морфемным составом этих концов (состав суффиксов и окончаний), а также совпадающими грамматическими признаками. Это имеет место и в тех случаях, когда словоизменяемые и словообразовательные основы у словоформ различны.

Лингвистическая обработка словоформ текста может осуществляться с помощью эталонного обратного словаря словоформ, в котором вручную заранее были выделены словоизменяемые и словообразовательные основы и указаны грамматические признаки. В процессе обработки для каждой словоформы ищется максимальное покрытие справа одной из словоформ эталонного словаря, и у нее вычлняются окончание и словообразовательные суффиксы, совпадающие с окончанием и словообразовательными суффиксами словарной словоформы. Таким образом выделяются словоизменяемая и словообразовательная основы. Затем грамматические признаки словарной словоформы переносятся на анализируемую словоформу.

Алгоритм лингвистической обработки словарей реализован на ЭВМ ЕС-1055 и работает при объеме эталонного словаря около 45 тыс. лексических единиц со скоростью более 200 слов в секунду¹. При этом словоизменяемые основы у «новых» слов выделяются правильно с вероят-

¹ В настоящее время программы лингвистической обработки словарей, морфологического анализа текста и нормализации слов переведены на персональные ЭВМ типа IBM PC XT/AT.

ностью 0,99, словообразовательные основы — с вероятностью 0,98, тип словоизменения определяется правильно с вероятностью 0,90, а части речи — с вероятностью 0,98. Результаты работы алгоритма выдаются на печать в удобном для восприятия виде, проверяются человеком и при необходимости корректируются. Корректирующая информация вводится в ЭВМ и с помощью специальной программы вносится в обрабатываемый машинный словарь. Такой порядок работы позволяет в значительной мере (в десятки раз) сократить затраты труда на создание машинных словарей, т. к. все признаки «новых» слов генерируются автоматически, а корректирующая информация составляет лишь небольшую долю общего объема этих словарей.

Машинные словари основ слов (политематический и химико-биологический) используются в программе морфологического анализа [91]. Эта программа на ЭВМ ЕС-1055 может обрабатывать тексты со скоростью более 300 слов в секунду. Такая высокая скорость достигается за счет применения специальной организации машинного словаря (так называемой ассоциативно-адресной структуры) и методов хеширования, позволяющих вычислять адреса хранения основ слов в словаре по их буквенным кодам.

В процессе морфологического анализа для словоформ текста определяются длина словоизменяющей и словообразовательной основ, часть речи, номер флективного класса (номер списка окончаний, совместимых со словоизменяющей основой), модель управления, а также наборы таких характеристик, как род, число, падеж и лицо. Перечисленные признаки определяются не только для тех словоформ, основы которых включены в машинный словарь, но и для любых других словоформ. Это оказалось возможным благодаря применению принципа грамматической аналогии, о котором речь шла выше при рассмотрении процедуры автоматизации лингвистической обработки словарей.

Программа морфологического анализа используется в ряде процедур автоматической обработки текстов и словарей. Одной из таких процедур является процедура автоматической нормализации (лемматизации) слов. Процедура нормализации позволяет преобразовывать текстовые формы слов в некоторые приоритетные формы, принятые за канонические. Например, существительные, за исключением *pluralia tantum*, приводятся к форме им. падежа ед. числа (*pluralia tantum* — к форме им. падежа мн. числа): прилагательные — к форме им. падежа ед. числа муж. рода; глаголы, полные и краткие причастия и деепричастия — к форме инфинитива. Форма наречий, союзов, предлогов и частиц оставляется без изменений.

В основу построения процедуры автоматической нормализации слов также положен принцип аналогии, который применительно к рассматриваемой задаче можно сформулировать следующим образом: если у каких-либо слов совпадает буквенный состав их концов, то они, как правило, имеют и одинаковые модели словоизменения и словообразования (при этом совпадающие концы слов не обязательно должны состоять только из суффиксов и окончаний).

Правила перехода от текстовых форм слов к каноническим строятся по формуле «ситуация — действие». В качестве идентификаторов ситуаций здесь используются флективные классы слов и конечные буквосочетания их основ (иногда также признак «глагольности»), а выполняемые действия заключаются в отделении от основ слов заданного числа букв и добавления к ним заданных нормализующих буквосочетаний. Например, продукция, позволяющая преобразовать словоформу *накрашеного*

в каноническую форму *накрасить*, будет иметь в качестве идентификатора ситуации флективный класс 103 (класс прилагательных, склоняющихся как слово *главный*) и конечное буквосочетание основы *-ашенн-*; действие по нормализации будет заключаться в отделении от конца основы *-накрашени-* четырех букв и присоединении к ней буквосочетания *-сить*. Аналогично переход от словоформы *зубца* к канонической форме *зубец* позволит сделать продукция, у которой идентификатором ситуации является флективный класс 001 (класс слов, склоняющихся как слово *стол*) и буквосочетание *бц*, а действие по нормализации будет состоять в отделении от основы слова одной буквы и добавлении к ней нормализующего буквосочетания *-ец*. Таким же способом могут быть выполнены и преобразования типа *колец — кольцо, огня — огонь, введенный — ввести, ведя — вести, могут — мочь, ищут — искать, прошел — пройти*.

Список продукций для автоматической нормализации слов, составленный на основе анализа обратного политематического словаря основ, включает более 700 правил. Некоторые из этих правил могут быть применены только к одному слову, но большинство — к целым классам слов. Нормализация слов, отсутствующих в машинном словаре, ничем не отличается от нормализации слов, содержащихся в нем, т. к. необходимые для этого исходные данные (номер флективного класса, длина словоизменятельной основы и др.) получаются в процессе морфологического анализа. Скорость нормализации на ЭВМ типа ЕС-1055 составляет более 200 слов в секунду, а если не учитывать время, необходимое для морфологического анализа, то около 1000 слов в секунду.

Процедуры морфологического анализа и нормализации слов позволили решить ряд других прикладных задач лингвистического обеспечения АНС, например, задачу автоматического орфографического контроля текстов при их вводе в ЭВМ, задачу автоматического индексирования документов для их последующего поиска, задачу автоматического составления словарей словосочетаний по неформализованным текстам и др.

Орфографический контроль текстов строится как процесс их морфологического анализа и выдачи неопознанных (отсутствующих в машинном словаре) слов для опознания человеком. Не опознанные в процессе морфологического анализа слова могут выдаваться на экран дисплея или на печатающее устройство. Они сопровождаются микроконтекстом. Человек, опираясь на микроконтекст, отмечает искаженные слова и исправляет их. На ЭВМ ЕС-1033 просмотр текстов с целью их орфографического контроля ведется со скоростью более 400 слов в секунду (около 300 авторских листов в час).

Процедура автоматического индексирования документов реализована в ВИНТИ в двух вариантах — в виде системы пословной нормализации текстов (промышленный вариант) и в виде системы автоматического составления поисковых образов документов (экспериментальный вариант). В первом случае обеспечивается повышение качества и комфортность поиска документов (человек при формулировке запросов оперирует не многообразием форм слов русского языка, а нормализованными формами). Во втором — исключается трудоемкая ручная операция по составлению поисковых образов документов и появляется возможность автоматического составления указателей к реферативным журналам.

Процедура автоматического составления словарей словосочетаний по неформализованным текстам (например, по заголовкам документов и текстам их рефератов) применяется как дополнительное средство выявления терминологической лексики (наряду с обработкой поисковых образов до-

кументов). Эта процедура выполняется за четыре этапа: 1) морфологический анализ текстов; 2) выделение именных словосочетаний из текстов; 3) составление частотного словаря словосочетаний; 4) нормализация составленного словаря.

Первый этап нами уже описан. Второй представляет собой по сути процедуру синтаксического анализа текста. Он был реализован в двух вариантах — в виде процедуры, базирующейся на построении дерева зависимостей, и в виде процедуры локального синтаксического анализа. Второй вариант оказался более удачным. Именные словосочетания здесь выделялись как грамматически согласованные непрерывные последовательности существительных и прилагательных. Знаки препинания и все части речи, кроме существительных и прилагательных, рассматривались как границы именных словосочетаний.

На третьем этапе составления частотного словаря по выделенным словосочетаниям строились их поисковые образы — последовательности основ слов, в которых слева стояли словоизменительные основы опорных слов словосочетаний, а за ними в алфавитном порядке располагались словообразовательные основы их определителей. Далее массив выделенных словосочетаний сортировался по алфавиту поисковых образов и из каждой группы словосочетаний с одинаковыми поисковыми образами в частотный словарь включалась только одна форма словосочетания, которая сопровождалась частотой встречаемости ее поискового образа. После этого из словаря исключались малочастотные словосочетания.

На четвертом этапе составления словаря проводилась нормализация включенных в него текстовых форм именных словосочетаний. При этом опорному слову каждого словосочетания (первому слева существительному) придавалась форма им. падежа ед. или мн. числа, а определяющие его прилагательные согласовывались с ним в роде, числе и падеже. В заключение проводилось редактирование составленного словаря (из него исключались неинформативные словосочетания). Опыт составления словарей подтвердил эффективность описанной процедуры: словарь, составленный по текстам рефератов по информатике и вычислительной технике объемом в один миллион триста тысяч слов, оказался вполне удовлетворительным, а в процессе редактирования из него пришлось исключить не более 15% неинформативных словосочетаний.

Возможность составления словарей словосочетаний по поисковым образам документов и по текстам их рефератов создает предпосылки для автоматизированного составления тезаурусов по различным областям науки и техники. В ВИНТИ проводятся довольно успешные эксперименты в этом направлении. В экспериментах парадигматические связи между словосочетаниями устанавливаются на основе информации о парадигматических связях между входящими в их состав словами. Далее результаты машинных решений корректируются человеком.

В заключение следует сказать, что несмотря на несомненные успехи в деле лингвистического обеспечения автоматизированных информационных систем главные трудности здесь еще впереди. Они будут связаны прежде всего с разработкой адекватных процедур семантико-синтаксического анализа и синтеза текстов и с созданием мощных машинных словарей, содержащих достаточно богатую информацию о синтагматических и парадигматических признаках входящих в их состав единиц языка и речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Gevarter W. B.* Expert systems : artificial intelligence applied // *Telematics and informatics*. 1984. V. 1. № 3.
2. *Виноград Т.* Программа, понимающая естественный язык. М., 1976.
3. *Шенк Р.* Обработка концептуальной информации. М., 1980.
4. *Караулов Ю.Н.* Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981.
5. *Кулагина О. С.* Исследования по машинному переводу. М., 1979.
6. *Попов Э. В.* Общение с ЭВМ на естественном языке. М., 1982.
7. *Ершов А. П.* К методологии диалоговых систем. Феномен деловой прозы // *Вопросы кибернетики. Общение с ЭВМ на естественном языке* / Под ред. Розенцвнга В. Ю. М., 1982.
8. *Андрющенко В. М.* Машинный фонд русского языка: идеи и суждения // *Вопросы кибернетики. Прикладные аспекты лингвистической теории* / Под ред. Ершова А. П. М., 1987.
9. *Белоногов Г. Г., Зеленков Ю. Г.* Алгоритм морфологического анализа русских слов // *Вопросы информационной теории и практики. Автоматизированная словарная служба. Автоматическое индексирование документов* / Под ред. Белоногова Г. Г., М., 1985.

© 1990 г.

ПАНФИЛОВ В.С.

КЛАССЫ СЛОВ (ЧАСТИ РЕЧИ) ВО ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ

I. Грамматический класс. Омонимия лексическая и грамматическая¹

Грамматический класс — центральное понятие теории частей речи — представляет собой некоторое множество слов, обладающих общими грамматическими признаками. Для языков с развитой морфологией такими признаками могут быть морфологические показатели, в частности те, которыми маркируется изменение синтаксических функций слова, однако применительно к языкам, лишенным морфологического словоизменения, данный критерий, естественно, использован быть не может, и выделение грамматических классов слов должно производиться на каких-то синтаксических основаниях. К тому же и в языках с развитой морфологией морфологическая маркировка синтаксических различий не выдерживается последовательно до конца. Рассматривая этот вопрос на материале русского языка, А. А. Шахматов писал, что морфологические признаки «не составляют сами по себе основания для разграничения частей речи»: существительное, к примеру, не может быть определено как слово склоняемое, поскольку в русском языке имеется немало несклоняемых существительных [1]. Нельзя в связи с этим не согласиться с мнением, что в общелингвистическом плане синтаксические признаки частей речи важнее морфологических [2, с. 73]. В конечном счете, грамматические (категориальные) признаки слова формируются его синтаксическим функционированием и могут изменяться с изменением последнего: существительное, употребляемое исключительно в функции определения к глаголу, становится наречием, как, например, старые формы твор. падежа «верхом», «кругом» [3]. Таким образом, выделение частей речи при отсутствии морфологических признаков, проигрывая в формальной простоте, вместе с тем сводится к своей единственно реальной первооснове — синтаксису.

Грамматическим фактором, определяющим принадлежность слова к тому или иному классу, является тип функционирования слова, набор его синтаксических признаков (в широком понимании, включая и квази-синтаксические связи, см. ниже). Иначе говоря, речь идет о выявлении синтаксической парадигмы слова, ибо признаком категориальной отнесенности слова служит система его функций, а не то, в какой из них слово употреблено в данном конкретном примере, так же, как морфологическим признаком является система форм, а не одна какая-то форма [2, с. 73—74].

Коль скоро грамматический класс слов (часть речи) выделяется на основании функциональных признаков, он не может жестко детерминироваться ни материальной субстанцией слова, ни его индивидуальным лек-

¹ В статье принята следующая нумерация вьетнамских тонов: 1 — верхний (ˊ); 2 — верхний нисходящий (ˋ); 3 — нисходяще-восходящий прерывистый (ˊˋ); 4 — вопросительный (?); 5 — восходящий напряженный (ˊˊ); 6 — тяжелый (ˊˊˊ).

сическим значением. Поясним это аналогией из социальной сферы. Если материально одно и то же лицо, некто Иванов, работает на заводе и учится в институте, то под углом зрения общественных функциональных признаков происходит как бы «раздвоение личности», своего рода социальная омонимия: на заводе числится рабочий Иванов, в институте — студент Иванов, и их материальное совпадение, как и полное тождество личностных характеристик, оказываются несущественными для функциональной классификации. Эти соображения подводят нас к вопросу об омонимии применительно к теории частей речи.

Омонимию в самом общем виде определяют как «звуковое совпадение двух или более разных языковых единиц» [4]. Если несмотря на звуковое совпадение, единицы являются все-таки разными, значит имеется какой-то существенный признак, обеспечивающий это различие. Очевидно также, что существенный признак единицы должен быть заложен в ее определении. Например, при определении лексической единицы как всякого образования, по характеру своего значения требующего фиксации в словаре, существенным признаком выступает индивидуальное значение, которым и обеспечивается отличие одной единицы от другой в случае их звукового совпадения: *nam*¹ «год/пять». Поскольку грамматический класс конституируется набором функциональных характеристик, материальное тождество и лексическое значение слова становятся несущественными признаками классификации. Слова, совпадающие по значению, могут относиться к различным грамматическим классам: *chu*⁴ *nghia*? *xa*? *hoi*⁵ «социализм» / *xa*³ *hoi*⁶ *cnu** *nghia*³ «социалистический». Слова, различные по значению, могут быть идентичны по своей категориальной (частеречной) принадлежности: *riu*² «топор»/*Bia*⁵ «молоток». Наконец, одна и та же материальная оболочка может скрывать различные наборы функциональных признаков, противопоставление которых релевантно для данной грамматической системы: *cu*⁴*a*¹ «пила/пилить», *Wlang*⁵ «беспокоиться/беспокойство».

Относительно примеров типа *lo*¹ *lang*⁵ «беспокоиться / беспокойство» в «Грамматике вьетнамского языка» говорится, что «одни и те же слова с различными значениями принадлежат к разным грамматическим классам» [5, с. 83]. Ссылка на значение здесь некорректна, во-первых, потому, что «беспокоиться» и «беспокойство» обозначают фактически одно и то же, во-вторых, потому, что при установлении категориальной омонимии существенно не само по себе различие значений, но обеспечивается ли этим различием релевантное для данного языка грамматическое противопоставление. Последний вопрос решается только с учетом соответствующего грамматического фона: поскольку во вьетнамском языке существительные и глаголы грамматически четко противопоставлены, признанию омонимии «существительное / глагол» в рамках материально одной и той же единицы не может помешать ни выводимость значений, как в случае *cu*⁴*a*¹ «пила / пилить», ни их полное совпадение, как в случае *lo*¹ *lang** «беспокоиться / беспокойство».

Вскоре после выхода в свет «Грамматики вьетнамского языка» двое из ее авторов подвергли критике идею грамматической омонимии, начиная с примеров типа *cu*⁴*a*¹ «пила/пилить», но не ограничиваясь ими. Рассмотрим антиомонимическую аргументацию подробно.

Первый антиомонимический аргумент — близость соответствующих лексических значений — есть результат смешения лексикологии с теорией частей речи. И. С. Быстров и Н. В. Станкевич пишут, что именные и глагольные значения в словах *cu*⁴*a*¹ «пила, пилить»

baos *caos* «докладывать/доклад» ближе друг к другу, чем значения русского «стол» в сочетаниях «письменный стол», «военный стол», «диетический стол». Между тем в этих русских примерах степень расхождения значений не считается достаточной для признания омонимии [6, с. 92]. Речь здесь идет о лексической омонимии, и сколь бы ни были справедливы приведенные соображения с лексикологических позиций, они не имеют отношения к грамматической теории классов.

Второй антономимический аргумент, основанный на смешении грамматической теории слова и грамматической теории классов слов, состоит в том, что признание омонимии в примерах типа *си а'* «пила / пилить» рассматривается как «европеизированный» подход: в европейских языках изменение грамматической принадлежности слова «обычно связано со словообразованием, т. е. автоматически приводит к новому слову», поэтому и в тех случаях, когда внешний облик слова остается неизменным, вопрос решают в пользу омонимии, как в англ. *sleep* «сон / спать» [6, с. 93]. Если классификация, действительно ориентирующаяся на морфологические, в частности, словообразовательные признаки, тем не менее не считает отсутствие таковых непреодолимым препятствием для выделения классификационного разряда, то это означает либо логическую непоследовательность, либо, что бы ни говорили при этом сами исследователи, ориентированность классификации на какие-то иные признаки, оказывающиеся фактически более весомыми, чем морфологическая маркировка грамматических различий. Эти реально действующие (синтаксические) признаки дают основания и для установления грамматической омонимии типа «предлог / наречие» (*after*) или «предлог / союз» (*for*), когда словообразовательный фон вообще отсутствует. Ссылка на словообразование уводит поэтому в сторону от сути дела, подменяя функциональный подход теории частей речи другим подходом, заимствуемым из грамматической теории слова. Центральным понятием последней является грамматическое слово, нарушение тождества которого, т. е. образование другого слова, действительно самым непосредственным образом связано с изменением материальной субстанции, однако к а т е г о р и а л ь н а я омонимия в примерах типа *sleep* «сон / спать» устанавливается вовсе не потому, что подобные слова рассматриваются на фоне пар, члены которых связаны отношением словообразовательной производности, но потому, что *sleep* «сон» и *sleep* «спать» обладают разными наборами синтаксических признаков или, иными словами, входят в разные синтаксические парадигмы, противопоставленность которых обеспечивается четким разграничением английских существительных и глаголов в синтаксическом плане. В этом смысле «европеизированный» выглядит подход, не различающий синтаксической первоосновы за пестротой морфологического маскарада, игнорируя давно выясненное положение, что если формальные признаки не ограничиваются морфологическими, то материально одно и то же слово может фигурировать в разных категориях [7].

Не ограничиваясь сферой знаменательных слов, сторонники антиомонимического подхода специально подчеркивают недопустимость омонимии типа «знаменательное слово / его служебный омоним». Первый довод в пользу такого подхода состоит в том, что «многие слова, традиционно относимые к служебным, способны употребляться и самостоятельно», например, *ve'* «относительно / возвращаться» [6, с. 98]. Довод этот, честно говоря, не совсем понятен: ведь предлог *ve''* «относительно» самостоятельно не употребляется, а глагол *ve'* «возвращаться» никакая традиция к служебным словам никогда не причисляла. Впрочем, через несколько лет

после цитируемой статьи ее авторы сами обнаружат, что применительно к ge^2 «относительно» и ve^2 «возвращаться» «можно говорить об омонимических парах» [8]. Второй довод гласит, что у ряда слов, традиционно относимых к служебным, «стертое» лексическое значение влияет на их сочетаемость со знаменательными словами [6, с. 98]. Этот довод меньше всего принимают всерьез сами его авторы, тут же заявляя, что пространственно-временные слова (локативы), с одной стороны, выделяются в самостоятельный грамматический класс, но, с другой стороны, «могут функционировать как предлоги, переходя при этом в другую группировку- слов» [6, с. 103] — и это при том, что значение локативов отнюдь не «стертое» и явно влияет на их сочетаемость со знаменательными словами!

Представленная в цитируемой статье итоговая классификация частей речи вьетнамского языка насчитывает восемнадцать грамматических разрядов, один из которых составляют несомненные предикативы, другой — столь же несомненные существительные [6, с. 106—107]. Трудные же случаи типа $cu'a^1$ «пила / пилить», которым было уделено много внимания в теоретической части работы, здесь отсутствуют, поскольку в общей схеме «промежуточные группы на стыках частей речи» можно игнорировать [6, с. 97]. Читателю, который пожелал бы самостоятельно воплотить в жизнь теоретические взгляды авторов, в качестве первого шага пришлось бы решить, какова грамматическая природа «промежуточных» групп, располагающихся «на стыках частей речи». В соответствии с прямым смыслом этой формулировки промежуточные группы должны включать слова, одновременно обладающие признаками различных частей речи, подобно русскому причастию, выделяемому «на стыке» прилагательного и глагола, однако вьетнамское $cu'a^1$ «пила / пилить» в каждом конкретном случае своего функционирования есть либо существительное, либо глагол, но не существительное-глагол одновременно.

Проще всего было бы поместить слово $cu'a^1$ «пила» в разряд существительных, а $cu'a^1$ «пилить» в разряд предикативов. В противном случае, выдерживая установку на псевдопромежуточные группы, пришлось бы продублировать уже известную грамматическую информацию, выделив наряду с классом существительных и классом предикативов еще один, девятнадцатый по счету класс, включающий слова типа $cu'a^1$ «пила / пилить». Такой подход находит некоторое отражение в рассматриваемой классификации: наряду с несомненными междометиями выделяются в особый разряд и так называемые междометные слова — «знаменательные слова, основное значение которых позволяет использовать их для выражения чувств говорящего» [6, с. 100]. Однако при строгом соблюдении антиомонимических установок междометные слова даже в рамках общей классификации, учитывая выделение в ней существительных и предикативов, распадаются на два разряда, а при более дробной классификации, предполагающей подразделение предикатива на глаголы и прилагательные, дают уже три разряда «на стыках частей речи»: глаголы / междометия ($\{che^1$ «умереть / Жуть!»), прилагательные / междометия ($kh'o^1$ «тяжкий / Скверно!»), существительные / междометия (tro^1 «небо / Боже!»).

Один из разрядов классификации представлен тремя отрицаниями: $khong^1$ «не», $chu'a^1$ «еще не», $Uu'ng^2$ «не следует» [6, с. 106], но при последовательной реализации своих теоретических установок авторы должны были бы ограничить данный разряд третьим отрицанием, а два первых выделить в очередной по счету класс «на стыке» частей речи: отрицания / конечные частицы.

Не менее плачевными будут последствия антиомонимического подхода,

если принять рекомендацию распространить его и на подклассы слов [6, с. 94]. Так, в работах, посвященных классификации вьетнамских глаголов, выделяется обычно около десятка глагольных подклассов, представляющих огромный материал в компактном и легко обозримом виде: глаголы переходные, давания, каузативные, модальные, модусные (чувства, мысли, речи), пассивные и некоторые другие (см. например [9]). С учетом антиномимических рекомендаций «на стыках подклассов» начнут расти как грибы все новые и новые группировки, повторяя уже известную информацию и уводя деление в практически необозримую бесконечность: глаголы давательно-каузативные (*toi' cho' anh' tien'* «Я даю тебе деньги»; *toi' cfio' anh' nghi** «Я даю тебе отдохнуть»), переходно-модально-модусные (*toi' bief' (lieu' do'* «Я знаю это»; *toi' bief' bo'i* «Я умею плавать»; *toi' bief' anh' hoc' tieng' Viet®* «Я знаю, что ты учишь вьетнамский язык»), переходно-модально-пассивно-модусные (*toi' duo'c* tier)* «Я получил деньги»; *toi' Iu'o'c' right** «Я получил возможность отдохнуть»; *toi' tfw'o'c¹⁵ khen'* «Меня похвалили»; *toi' du'o'c" anh' ta' mo" cu'a'* «Мне повезло, что он открыл дверь») и т. д.

При антиномимическом подходе, если, конечно, относиться к нему серьезно, очень затрудняется описание грамматикализации и особенно такого ее конечного результата, когда служебное слово сосуществует с породившим его знаменательным. Между тем П. С. Быстрое и Н. В. Станкевич неоднократно возвращаются к вопросу о превращении некоторых знаменательных слов в служебные: в статье, написанной до принятия антиномимических установок [10], и в работе, появившейся уже после их принятия, в которой как ни в чем не бывало констатируется омонимия *ve'* «относительно / возвращаться» [8]. При таком положении вещей рассмотренный выше антиномимический подход не воспринимается как вполне сознательный пересмотр прошлых своих теоретических установок, налагающий на авторов определенные обязательства, касающиеся будущих исследований.

II. Понятийный аппарат классификации

Классификация слов по функциональным признакам неизбежно предполагает определение понятия функции, что в свою очередь связано с выяснением ряда смежных вопросов. Этому комплексу проблем была специально посвящена наша статья «Исходные понятия вьетнамского синтаксиса» [11]. Кроме того, в работе «О вьетнамских классификаторах» [12] ряд синтаксических понятий уточнялся применительно к объекту ее исследования. Хотя дальнейшее изложение предполагает знакомство читателя с упомянутыми работами, тем не менее важнейшие из представленных в них положений есть смысл повторить и уточнить с учетом нового исследовательского контекста. Это диктуется не только интересами читателя, но и самим существом дела, ибо выработка основополагающих синтаксических понятий — не из тех задач, которые поддаются одно-разному и окончательному решению.

Функция в самом общем виде есть зависимость одного элемента от другого, выступающего в качестве аргумента данной функции. Функция слова есть, таким образом, некоторая зависимость данного слова от другого слова, словосочетания, предложения. Имея пока в виду только первый случай, т. е. соединение двух слов, заметим, что коль скоро функция может быть приписана данному слову лишь относительно какого-то другого слова, вопрос сводится к критериям разгра-

ничения господствующего и подчиненного элементов при грамматической связи двух слов, ибо равноправие элементов (сочинительная связь) не позволяет говорить о функции какого-либо из них.

Прежде чем анализировать характер зависимости одного слова от другого, следует убедиться в самом наличии грамматической связи между ними, что доказывается возможностью самостоятельного употребления данного сочетания, в частности — возможностью использовать его в качестве эллиптического варианта более сложной конструкции. Например, в последовательности *Si' vo'i⁵ anh'* «идти с тобой» имеется грамматическая связь между словом *di'* «идти» и остальной частью сочетания в целом; наличествует грамматическая связь и между элементами сочетания *Go'i⁵ anh'* «с тобой», тогда как последовательность слов *di' vo'i⁵* «идти с» как не способная к самостоятельному употреблению никакой грамматической связи не содержит [11, с. 66]. В последовательности *hai' con' meo'* «две кошки» (букв.: два-животное-кошка) имеется грамматическая связь между первым и вторым, а также между вторым и третьим элементами, тогда как между числительными *hai'* «два» и существительным *meo'* «кошка» она отсутствует [12, с. 60—61].

Грамматическая связь между словами может оцениваться по двум признакам: а) по внутренней организации сочетания, безотносительно к более сложному целому (внутренняя оценка); б) по отношению к более сложному целому (принцип репрезентации, или внешняя оценка). Каждая из оценок предполагает выявление направлений формальной и семантической зависимости между соединяемыми словами (о методике оценок см. [12, с. 61—62]).

Если при внутренней оценке сочетания направление формальной зависимости совпадает с направлением зависимости семантической, мы имеем дело с синтаксической связью. Например, в сочетании *doc⁶ sach'* «читать книгу» слово *sach'* «книга» выступает в некоторой синтаксической функции относительно слова *doc⁶* «читать», являющегося аргументом этой функции. При несовпадении направлений формальной и семантической связи (*nhu'ng³ ngu'o'i²** «люди»), а также если формальная связь не подтверждается семантической (*uo'ʈ anh'* «с тобой»), имеет место к в а з и с и н т а к с и ч е с к а я связь между словами (подробнее см. [12, с. 62]). Так, в сочетании *vo'i⁵ anh'* «с тобой» слово *anh'* «ты» выступает в некоторой квазисинтаксической функции относительно слова *vo'i⁵* «с», являющегося аргументом этой функции.

Направления формальной и семантической зависимости, выявленные при внутренней оценке синтаксических связей, могут при переходе к оценке внешней либо полностью сохраняться, либо меняться на противоположные, либо «ликвидироваться» с позиций синтаксиса предложения, если соответствующее сочетание выступает в предложении как единое, синтаксически неделимое целое (подробнее: [12, с. 63]), в связи с чем сопоставление внутренней и внешней оценок позволяет подразделить синтаксические связи на подтверждаемые (*doc⁶ sach'* «читать книгу»), опровергаемые (*con' meo'* «кошка») и аннулируемые (*hai' lit'* «два литра»). Нечто подобное происходит и при переходе от внутренней к внешней оценке квазисинтаксических связей, которые по сопоставлению этих двух оценок подразделяются на корректируемые (направление семантической связи остается неизменным, а направление формальной связи меняется на противоположное: *nhu'ng³ ngu'o'i²* «люди»), опровергаемые (чисто формальная связь меняет направление на противоположное: *sa' toi'* «даже я»), аннулируемые (чисто формальная связь «ликвидируется» с позиций

более сложного синтаксического целого: $go^{t5} an^{h1}$ «с тобой» (подробнее: [12, с. 63-64]).

Будем называть соединение двух слов, между которыми устанавливается синтаксическая связь, словосочетанием, а соединение с квазисинтаксической связью — аналитической формой слова. Для целей настоящей работы достаточно выделить словосочетания с предикативной ($toi^1 doc^6$ «я читаю»), комплетивной ($doc^6 sach^5$ «читать книгу») и атрибутивной ($sack^5 hay^1$ «интересная книга») связями. Подчиненные элементы этих связей именуются соответственно подлежащим, дополнением, определением, тогда как господствующие элементы в рамках словосочетания, без выхода за его пределы, не могут быть охарактеризованы синтаксически (подробнее см. [11, с. 69—71]).

Относительно предикативных словосочетаний мы уже имели случай заметить, что они не обладают особым грамматическим статусом среди других подчинительных словосочетаний и что господствующий элемент предикативной связи не может быть охарактеризован синтаксически без выхода за пределы словосочетания [11, с. 70]. Подчеркнем еще раз, что сама по себе предикативная связь еще не создает предложения, а наличие двух таких связей не всегда равнозначно наличию двух предложений. В примере $toi^1 nhu^c^5 dau^1$ «У меня болит голова» (букв.: я-болеть-голова) подлежащее toi^1 «я» имеет предикативную связь с сочетанием $nhu^c^5 ddu^1$ «болит голова» как единым целым, между компонентами которого также обнаруживается предикативная связь, однако семантически в рассматриваемом примере нет описания двух событий, формально — соположения двух предложений.

Переход от словосочетания к предложению - связан с добавлением к перечисленным синтаксическим понятиям еще одного — сказуемого, под которым понимается абсолютная вершина предложения, в грамматическом плане характеризующаяся категорией утверждения/отрицания и обозначающая признак в самом широком смысле слова. Сказуемое — это то, что утверждается и что может быть подвергнуто отрицанию в исходном варианте (модели) предложения [11, с. 72]. Развиваемый подход связан с некоторым терминологическим неудобством, ибо понятие сказуемого не подводится под рассмотренное выше определение функции, поэтому если по стилистическим соображениям ниже будет иногда употребляться привычное сочетание «функция сказуемого», следует сознавать, что слово «функция» в его составе так же лишено терминологического смысла, как и слово «обстоятельство» в выражениях типа «при таких-то обстоятельствах следует поступить так-то».

В принципе предложение может быть построено на базе любой из рассмотренных выше синтаксических связей: предикативной ($toi^1 doc^6$ «Я читаю»), комплетивной ($nhu^c^5 hay^1 roi^1$ «Дом построили»), атрибутивной ($dem^1 Miuya^1$ «Поздняя ночь»), так что господствующий элемент сочетания автоматически становится абсолютной вершиной предложения, его синтаксической доминантой. Правда, в примерах $toi^1 doc^6$ «Я читаю» и $dein^1 Ichuya^1$ «Поздняя ночь» вершины предложений интуитивно воспринимаются как обладающие, если можно так выразиться, разной степенью «сказуемости», однако этот вопрос, или, что то же самое, возможность расползти законченные высказывания³ по мере нарастания в них «предложенических» признаков, выходит за рамки настоящей работы.

² Определение предложения см. в [11, с. 71 —72].

³ Определение высказывания см. в [11, с. 72 —74].

Приступая к рассмотрению случаев зависимости слова от предложения, мы, очевидно, должны начать с того же, с чего начинали исследование присловных связей: с установления самого факта интересующей нас зависимости.

Зависимость слова от предложения в целом формально проявляется в том, что слово либо образует эллиптическое высказывание с любым членом предложения, либо не образует его ни с одним. Примером первого рода является слово *co⁵ le³* «возможно» в высказывании *co⁵ le³ nam¹ sau¹ toi¹ di¹ Viet⁶ Nam¹* «Возможно, в будущем году я поеду во Вьетнама: *co⁵ le³ nam¹ sau¹* «возможно, в будущем году», *co⁵ le³ toi¹* «возможно я», *co⁵ le³ di¹* «возможно, поеду», *co⁵ le³ Viet⁶ Nam¹* «возможно, во Вьетнам». Пример второго рода — слово *mu^a xuan¹* «весна» в высказывании: *ngua² xuan¹, long² ai¹ khong¹ hoi¹ hop⁶ tru^oc² earth* hoa¹ no^{mi}* «Весна — чье сердце не затрепещет при виде распускающихся цветов». Мы сейчас ограничимся только этими крайними случаями, достаточными для последующей классификации материала, оставляя в стороне специальное рассмотрение вопроса о распространителях предложения.

После того, как связь слова с предложением установлена, необходимо выяснить направления формальной и семантической зависимостей в рамках этой связи. Здесь прежде всего выделяются случаи, представленные последним из вышеприведенных примеров, где предложение допускает замену местопредикативом (*nhu⁴ the¹ nao[?]* «каким образом?») и семантически истолковывается как пояснение к связанному с ним слову. Иначе говоря, в таких случаях мы имеем дело с формально-семантической (синтаксической) зависимостью предложения от слова.

Для случаев, когда слово образует эллипсис с любым членом предложения, также возможна зависимость, правда, чисто формальная, предложения от слова. Это имеет место, когда предложение допускает замену местопредикативом при невозможности подтвердить эту формальную связь семантической, поскольку семантически зависимым оказывается исследуемое слово, которое, придавая предложению дополнительное значение условия, причины, цели и т. д., ставит его тем самым в зависимость от какого-то другого предложения. Так, чисто формальная (квази-синтаксическая) зависимость предложения от слова *neu¹* «если» представлена в примере *neu¹ toi¹ di¹ Viet⁶ Nam¹* «если я поеду во Вьетнам». Подобные образования представляют собой синтаксическую форму предложения, аналогичную синтаксеме, и употребляются как единое целое, ни одно из непосредственно составляющих которого, особенно в постпозиции к другому предложению, не может быть опущено.

За вычетом рассмотренного феномена случаи произвольного эллипсиса демонстрируют зависимость слова от предложения, в рамках которой выделяется несколько разновидностей:

1) Максимальная, синтаксически сильная зависимость. Исследуемое слово допускает замену вопросительным словом, семантически истолковывается как пояснение (в отношении времени, места и т. д.) остальной части высказывания и может быть опущено без ущерба для грамматической правильности предложения. Таково слово *Jiom¹ nay¹* «сегодня» в примере *horm¹ nay¹ (Bao¹ gio^{ne2}?) toi¹ di¹ den⁵ tru^ong²* «Сегодня (когда?) я иду в институт»;

2) Средняя, или синтаксически слабая зависимость. Замена вопросительным словом исключена, но два других признака сохраняются. Примером может служить слово *co⁵ le³* «возможно» в предложении *co⁵ le³ toi¹ di¹ Viet⁶ Nam¹* «Возможно, я поеду во Вьетнам»;

3) Минимальная, квазисинтаксическая зависимость. Исключены два первых признака, сохраняется только возможность опущения, как для слова *a*⁶, передающего вежливое отношение к собеседнику: *toi¹ rfi¹ Vie⁶ Nam¹ a⁶!* «Я поеду во Вьетнам!» Слова, обнаруживающие квазисинтаксическую зависимость от предложения, создают коммуникативную форму последнего, предназначенную для уточнения его контекстных связей и его отношения к тем или иным аспектам прагматической пресуппозиции.

III. Классификация

Любая логическая классификация предполагает неоднородность материала в каком-то отношении. При выделении частей речи наиболее отчетливая неоднородность, предопределяющая первый шаг классификации, состоит в разнохарактерности знаменательных и незнаменательных слов. Еще Л. В. Щерба писал, что такие понятия, как существительное, прилагательное, глагол, совершенно несоотносительны с такими понятиями, как союз и предлог [13]. Иногда специально подчеркивается, что собственно классификации слов по частям речи должно предшествовать их деление на знаменательные и служебные, поскольку служебные слова не могут считаться явлением того же порядка, что и знаменательные [2, с. 74—75]. Во вьетнамском языкознании, кажется, только И. С. Быстров и Н. В. Станкевич придерживаются мнения, что «вовсе не обязательно считать выделение служебных слов первоочередной задачей» [6, с. 98], однако данный тезис остается чисто теоретической декларацией, ибо классификацию материала эти авторы начинают с противопоставления слов, не входящих в группу, словам, входящим в группу [6, с. 99—104], что и является одним из возможных противопоставлений служебных и знаменательных слов, точнее — первым шагом такого противопоставления.

Не возражая в принципе против разграничения знаменательных и служебных слов, составляющего предпосылку дальнейшей классификации, отметим однако, что такое «двоичное» противопоставление, ориентированное на значительное огрубление материала, затрудняет квалификацию некоторых переходных явлений, не укладывающихся в жесткую дихотомию знаменательности/служебности, в связи с чем представляется целесообразным уже для первого шага классификации принять менее огрубленный «многоступенчатый» подход, как это сделано, например, в самой красивой из ныне существующих систем частей речи вьетнамского языка [14]. Для этой цели сгруппируем уже известные нам синтаксические функции в два набора: предикативный (сказуемое, определение) и именной (подлежащее, дополнение). Далее следует принять во внимание, что между любыми двумя функциями возможно одно из следующих отношений:

1) Соотносительность, когда слово может одинаково свободно, без привлечения каких-либо специальных средств, выступать в любой из двух функций. Например, подлежащее и дополнение — соотносительные функции для слов предметной семантики: *Minh² khong¹ trong¹ ro¹ no³, no³ khang¹ trng¹ ro¹ minh²* (*Nguyen³ Huy¹ Tưng¹*) «Мы (подл.) не можем разглядеть их (доп.), они (подл.) не могут разглядеть нас (доп.)»;

2. Несоотносительность, когда одна из функций ни при каких условиях не может быть переведена в другую. Например, некоторые слова признаковой семантики (*so^m sinh¹* «новорожденный», *toe¹ hanh²* «скорый», *Blén¹ pkong²* «пограничный»), свободно употребляющиеся в функции определения, не могут быть сказуемыми [15];

3) Транспозиция, или перевод слова из первичной функции во вторичную. Формальный признак транспозиции — наличие соответствующих показателей, некоторые из которых специализируются на маркировании вторичных функций. Слова с такой специализацией условимся называть показателями транспозиции или, как предлагают некоторые авторы, транспозиторами [16]. Примером может служить связка *la²* «быть», обеспечивающая словам предметной семантики возможность быть сказуемыми.

С учетом изложенного вьетнамские слова подразделяются на пять крупных классов: три синтаксических (полный, неполный, минимальный) и два квазисинтаксических (аргументный и функциональный). Рассмотрим подробно перечисленные блоки и их внутренний состав.

1. Полный синтаксический блок. В его состав входят слова, обладающие полным набором именных и предикативных функций. Условимся называть такие слова знаменательными. Знаменательные слова включают две крупные группировки — предикатив и имя. Для предикатива первичны предикативные функции, для имени — именные.

В составе предикатива выделяются два грамматических класса: глагол и прилагательное. Каждый из них характеризуется соотносительностью предикативных функций, хотя при прочих равных условиях реализация сказуемостных свойств прилагательного в большей мере связана с опорой на присловные актуализаторы: сочетания типа *nha² cao¹* «высокий дом», *nu¹ o³ trong¹* «прозрачная вода», *ku⁴ lud⁶ chaf⁶* «строгая дисциплина», *y² blen¹ hay¹* «интересная мысль» вне контекста воспринимаются только как атрибутивные; ср., однако: *Ky¹ luat⁶ chien¹ tru¹ o¹ ng² chaf⁶ lam⁵ (Van¹ Phan¹)* «Полевой устав очень строг»; *Nhu¹ vay⁶ la² tri⁵ nho⁶ cua¹ anh¹ kha⁵ toi⁶ (Hu¹ Mac²)* «Выходит, память у тебя довольно хорошая».

Перевод предикативов во вторичные для них именные функции осуществляется с помощью системы транспозиторов — абстрактных существительных разной степени грамматикализации. При минимальной грамматикализации (*sh¹** «факт», *gch⁶* «дело») присоединение существительного к предикативу в целях транспозиции последнего дает подтверждаемую синтаксическую связь, а соответствующее существительное в* принципе обладает полным набором именных функций. Средняя степень грамматикализации (*ca¹* «вещь», *suoc⁶* «процесс») означает ограничение именных функций функцией счетного слова и опровергаемую синтаксическую связь при сочетании с предикативом. Максимальная грамматикализация (*noi¹* этимологич. «состояние», *nien¹* этимологич. «чувство») связана с полной утратой именных функций и переходом слова в разряд служебных, образующих в сочетании с предикативом опровергаемую квазисинтаксическую связь.

Транспозитор *su⁶* «факт», наиболее абстрактный из всех, употребляется преимущественно с глаголами, реже — с прилагательными, осуществляя транспозицию в чистом виде, без каких-либо семантических осложнений значения действия или качества как такового (*pha¹ trien^{*}* «развиваться» — *s¹⁰ pha¹ trierfi¹* «развитие» как абстрактное понятие; *cao¹ quy⁵* «возвышенный» —> *su¹ cao¹ guy⁵* «возвышенное»). *Viec⁶* «дело» в качестве показателя транспозиции обслуживает исключительно глаголы, передавая при этом конкретно-событийное значение: *pha¹ trien^{*}* «развиваться» —> *viec⁶ pha¹ trien¹* «развитие» как некоторое событие или совокупность событий.

Показатель транспозиции *ca¹* «вещь», обслуживая различные разряды предикатов, выступает вместе с тем как основной транспозитор прилагательных, обычно осуществляя их транспозицию в чистом виде, хотя в ряде случаев и можно говорить о привнесении этим показателем некоторого

дополнительного значения, которое (особенно при наличии взаимозаменяемости *su⁶lai⁶*) поддается истолкованию как опредмечивание соответствующего признака: *dep⁶* «красивый» → *su⁶ dep⁶* «красота» как абстрактное понятие / *cai⁶ ɲep⁶* «то, что красиво». Слово *cudc⁶* «процесс» в качестве показателя транспозиции обслуживает только глаголы, передавая процессуальное значение: *ɯau⁶ tranh¹* «бороться» — * *cudc⁶ ɯau⁶ tranh¹* «борьба» как нечто протяженное во времени.

Некоторые показатели транспозиции обслуживают лишь определенные лексические разряды предикативов, как, например, служебное слово *niem²* (этимологич. «чувство»), распространяющееся преимущественно на глаголы, обозначающие положительные эмоции (*niem² vui¹* «радость», *niem² tin¹* «вера», *niem² hy¹ vong⁶* «надежда», *niem² phdn⁵ kho¹** «энтузиазм») и служебное слово *noi³* (этимологич. «состояние»), сочетающееся преимущественно с глаголами, передающими нейтральные или отрицательные душевные состояния (*noi³ nno⁶* «вспоминание», *noi³ lo¹* «беспокойство», *noi³ buon² tui⁶* «тоска», *noi³ e¹ ngai⁶* «страх»).

Имена в целом — это слова предметно-событийной семантики, характеризующиеся соотносительностью именных функций. Кроме того, взятые сами по себе, без сопровождения других слов, имена могут выступать как несоотносительные со сказуемым определения: *sach³ thu⁴ vien⁶* «библиотечная книга», *nha² go³* «деревянный дом». Соотносительность со сказуемым именные определения приобретают лишь в сочетании с теми или иными словами, например, предложениями, обеспечивающими именам признаковую (предикатную) семантику и тем самым возможность перевода в предикативные функции: *sach³ cua⁶* thu⁴ vien⁶* «библиотечная книга» → *sach³ nay² cita⁶ thu⁴ vien⁶* «эта книга — библиотечная»; *nha² bang² go³* «деревянный дом» → *nha² nay² bang² go³* «этот дом — деревянный». Если для предложений роль именных транспозиторов — одна из побочных, то связь *la²* «быть» специализируется на переводе имен в предикативные функции: *Toi¹ la² vo⁶ cau¹* (Nguyen³ Cong¹ Hoan¹) «Я — твоя жена»; *Nhieu¹ cau⁶ la² tan¹ binh¹ danh⁵ rat⁶ cu⁶* (Van¹ Phan¹) «Многие юноши-новобранцы сражались очень хорошо».

Имена подразделяются на два грамматических класса: существительные и (личные) местоимения. Если существительные в сопровождении связки все же могут выступать как полноценные сказуемые, то для местоимений этого условия оказывается недостаточно. Само по себе оформление связкой еще не создает предикатной семантики местоимения, которое и при таком оформлении сохраняет чисто идентифицирующее значение: *Ann¹ a², anh¹ thu⁶ ong¹ binh¹ do⁶ la² toi¹, chinh⁶ toi¹* (Nguyen³ Quang¹ Truc⁶) «Знаешь, тем раненым был я, именно я». Сказуемым местоимение может сделаться лишь тогда, когда подлежащее тоже выражено местоимением. Обоснование данного синтаксического анализа выходит за рамки настоящей работы, поэтому сейчас ограничимся замечанием, что четыре грамматических класса, образующие полный синтаксический блок, могут быть расположены по шкале с убывающими сказуемостными свойствами: глагол — прилагательное — существительное — местоимение.

П. Неполный синтаксический блок. В его состав входят слова, не обладающие полным набором именных и предикативных функций, но способные выступать в нескольких синтаксических функциях, причем для некоторых классов оказываются допустимы синтаксические функции, не представленные в именном и предикативном наборе. Будем называть слова неполного синтаксического блока пол у з н а м е н а т е л ь н ы м и. Они включают четыре грамматических класса,

не образующих каких-либо оолее крупных группировок в составе блока: числительные, локативы, темпоративы, детерминативы.

Числительные лишены именных функций и имеют в качестве первичной лишь одну функцию — определение — из предикативного набора: *hai¹ ngu'o'i²* «два человека», *phong² Ba¹* «комната (номер) три». Функция сказуемого для числительных вторична и реализуется только с опорой на показатель транспозиции, например, связку *la²* «быть»: *hai¹ lan¹ hai¹ la² B6n⁶* «Дважды два — четыре». Сочетания «числительное — имя» в грамматическом плане может соответствовать либо атрибутивному словосочетанию (подтверждаемая синтаксическая связь), либо синтаксически неделимой конструкции (аннулируемая синтаксическая связь). Ср.: *trong¹ phong² co⁶ B6n⁶ ngu'o'i²* «В комнате четыре человека» → *trong¹ phong² co⁶ ngu'o'i²** «В комнате люди», но: *to¹ hoc⁶ bon⁶ ngu'o'i²* «учебная группа из четырех человек». Положение с числительными прямо противоположно тому, которое наблюдается у локативов: числительные легко утрачивают способность быть определением, локативы — способность быть определяемым.

Локативы (*tren¹* «верх», *du'o'i⁶* «низ», *giu'a³* «середина» ...) имеют одну функцию (дополнение) из именного и одну функцию (определение) из предикативного набора, обладая к тому же еще и способностью выступать в функции обстоятельства места: *toi¹ len¹ tren¹* «Я поднимаюсь вверх»; *toi¹ o¹⁴ tang² tren¹* «Я живу на верхнем этаже»; *tren¹, ngu'o'i² ta¹ di¹ lai¹ tap⁵ nap⁶* «Наверху люди ходят с шумом туда-сюда». Сейчас мы не рассматриваем конструкции типа *tren¹ la² nui⁶* «Вверху — гора» — единственные, где у локатива можно предположить функцию подлежащего, однако даже если принять такую трактовку, тезис о несоотносительности функций дополнения и подлежащего остается для локативов в силе, ибо в глагольных предложениях дополнение-локатив в отличие от дополнения-существительного преобразования в подлежащее не допускает.

В сочетаниях «локатив -j- имя» могут реализовываться грамматические связи двух типов:

1) Подтверждаемая синтаксическая связь. Таковы атрибутивные словосочетания, в которых имя выступает как определение к локативу: *toi¹ vao² trong¹ (nha²)* «Я вхожу внутрь (дома)». В подобных примерах локативы полностью сохраняют свое пространственное значение, что проявляется в возможности заменить именное определение детерминативом [*toi¹ vao² trong¹ {nay¹}* букв.: «Я вхожу в (это) внутреннее пространство»] и в возможности преобразовать локатив в определение с пространственным значением: *trong¹ nha²* «внутри дома» —* *nha² trong¹* «внутренний дом», *tren¹ nui⁶* «на горе» → *nui⁶ tren¹* «верхняя гора», *du'o'i⁶ cay¹* «под деревом» — → *cay¹ du'o'i⁶* «нижнее дерево».

2) Аннулируемая квазисинтаксическая связь: *dii'o'i⁶ cbf rfo⁶ phong¹ Bl6n⁶ nong¹ dan¹ song⁵ kho⁵ so⁵** «При феодальном режиме крестьянам жилище тяжело». Подобные примеры, не допуская ни опущения существительного, ни других описанных в предыдущем пункте преобразований, иллюстрируют некоторый семантический сдвиг в исходном значении локативов и как следствие этого утрату локативом способности быть определяемым.

Темпоративы (*hom¹ nay¹* «сегодня», *ngay² nay¹* «в настоящее время», *gan² day¹* «недавно...») имеют одну функцию (определение) из предикативного и одну функцию (дополнение) из именного набора, обладая к тому же еще и способностью выступать в функции обстоятельства времени: *toi¹ khong¹ biet⁶ gi² den⁶ chuyen⁶ hom¹ qua¹* «Я ничего не знаю о вчерашнем

деле»; *cud^c hop^o keo^o dai² den⁵ khuya¹* «Собрание затянулось допоздна»; *ngay² nay¹ ai¹ cung¹ la¹ ngu^oi² chu¹ so^o phan^o cua¹ minh²* «В настоящее время каждый сам хозяин своей судьбы».

Детерминативы (*nay²* «этот», *ay^o* «тот», *kia¹* «тот» ...) все без исключения могут быть определениями к существительным: *sink¹ vien¹ nay²* «этот студент», *nha² kia¹* «тот дом». Некоторые детерминативы могут выступать в функции подлежащего связочных конструкций (*do¹ la² mof chuyen^o hay¹* «Это — интересный случай»), некоторые — в функции дополнения при глаголах движения (*no^o chay¹ den^o day^o* «Он подбежал туда»), но поскольку ни один из детерминативов не может быть подлежащим глагольного предложения, функция дополнения у детерминативов несоотносительна с функцией подлежащего.

III. Минимальный синтаксический блок. В его состав входят слова, для которых именные функции исключены, а из предикативных возможна лишь функция несоотносительного со сказуемым определения. Условимся называть такие слова полуслужебными. Они включают четыре грамматических класса: модальные слова, адъективно-адвербиальные слова, адъективы, наречия.

Для модальных слов (*co^o le¹* «может быть», *hin² nhu⁴* «вроде бы», *qua⁴ nhien¹* «естественно» ...) типична выходящая за рамки именного и предикативного наборов функция определения к предложению: *Co^o le¹ anh¹ da³ bi¹ chu¹ phat^o* (*Le¹ Minh¹*) «Может быть, он наказан хозяином?» Кроме того, некоторые модальные слова могут функционировать как определения к существительному или глаголу: *ket^o qua⁴ tat^o nhien¹* «закономерный (естественный) результат», *no^o tu¹ nhien¹* «говорить непринужденно (естественно)».

Адъективно-адвербиальные слова способны выступать только как определения к существительному или глаголу: *chu⁴ toe¹ ky¹* «стенографический знак» / *viet^o toc^o ky¹* «писать стенографически»; *hoc^o sink¹ ham² thu⁵* «ученик-заочник» / *hoc^o ham² thu⁵* «учиться заочно»; *chu⁴ nghia² hin² quan¹* «уравнительная доктрина» *chia¹ binh² quan¹* «разделить поровну» [15].

Адъективы — это слова, которые могут выступать только как определения к существительному: *nha² ho¹ sink¹* «родильный дом», *tau² toc^o hanh²* «скорый поезд». *B^o ao¹ Men¹ phong²* «пограничные войска».

Наречия — это слова, которые могут выступать только как определения к предикативу: *Think⁴ thoang^o toi¹ gap^o Van¹ (Tran² Bao⁴)* «Время от времени я встречался с Вэном». Некоторые односложные наречия обладают фиксированной позицией относительно предикатива (*rat^o dep^o* «очень красивый», *cao¹ lam^o* «слишком высокий») и обнаруживают тенденцию к грамматикализации. Таким образом, ограниченность синтаксических функций в ряде случаев может вести к утрате ими своего синтаксического статуса.

IV. Аргументный квазисинтаксический блок. В его состав входят слова, способные выступать как формально господствующие при внутренней оценке квазисинтаксических сочетаний. Условимся называть такие слова служебными. В корректируемых связях это категориальные (морфологические) служебные слова, в опровергаемых — коммуникативные, в аннулируемых — синтаксические. Роль всех этих служебных слов состоит в создании аналитической формы слова, причем категориальные, коммуникативные, синтаксические служебные слова как относящиеся к различным ипостасям знаменательного слова не исключают друг друга, но вполне могут обслуживать знаменатель-

ное слово одновременно: *chinhP voi² nhung³ nguoi² ay⁶* «именно с этими людьми».

Класс коммуникативных служебных слов (*ca¹* «даже», *ngay¹* «даже», *chinh⁶* «именно» ...) — самый малочисленный, включающий менее десятка единиц. Будучи формально связаны с тем или иным знаменательным словом, как правило, с именем, коммуникативные служебные слова фактически обслуживают высказывание в целом, уточняя его семантические связи с presupпозицией и контекстом. Ср.: *ca¹ toi¹ cung¹ khwng¹ hieu⁶* «даже я не понимаю» (т. е. другие тоже не понимают, но я должен был бы понять и тем не менее этого не произошло); *chink³ toi¹ cung³ khong¹ huu¹* «именно я не понимаю» (а не кто-нибудь другой).

Категориальные служебные слова (*nhu³* — показатель мн. ч. существительных, *se¹* — показатель буд. вр. предикатива...) более многочисленны и обслуживают два крупных объединения знаменательных слов — имя и предикатив — выражая их грамматические категории. Это обстоятельство в какой-то мере было использовано в известной работе Ле Ван Ли, где показатели категорий входят в число так называемых слов-свидетелей, сочетаемость с которыми служит основанием для разграничения имен и предикативов [17]. Более убедительно это представлено в классификациях, продолжающих традицию Ле Ван Ли, но упрощающих вместе с тем его очень громоздкие списки слов-свидетелей, ограничивая их показателями грамматических категорий и некоторыми разрядами полуслужебных слов [18, 19].

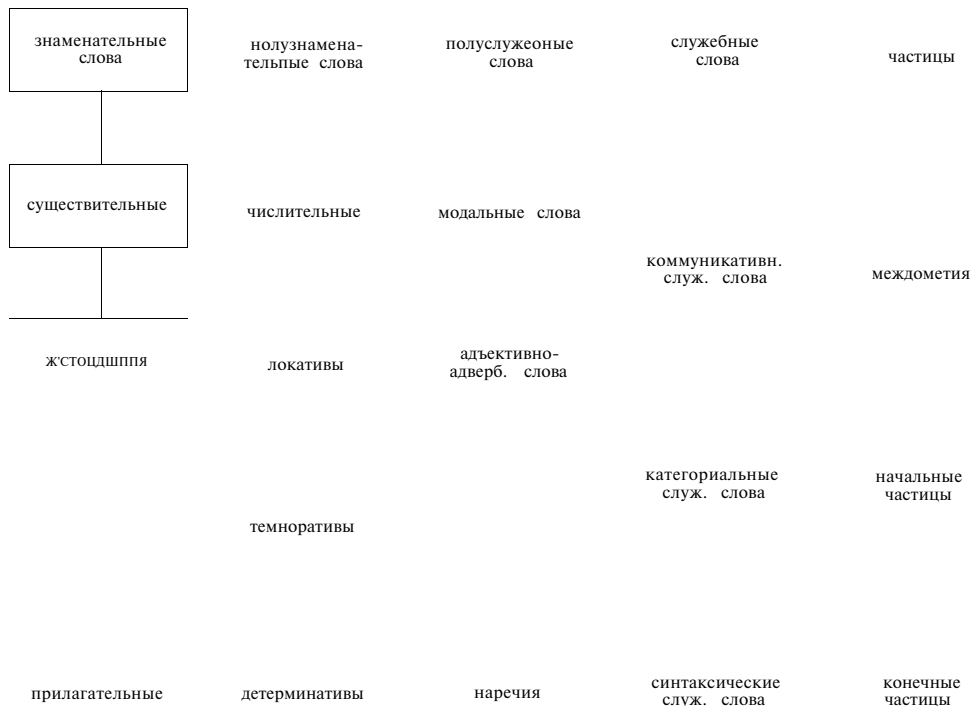
Синтаксические служебные слова (*voi⁶* «с», *vi²* «из-за», *va⁴* «к тому же»...) распространяются главным образом на имя и предикатив, создавая их синтаксические формы. Являясь самым многочисленным классом в аргументном блоке, синтаксические служебные слова образуют сложную систему подклассов, установление которой связано с дальнейшей конкретизацией понятия синтаксической связи (подробнее см. [20]).

В. Ф у н к ц и о н а л ь н ы й к в а з и с и н т а к с и ч е с к и й б л о к . В его состав входят слова, которые, вступая в связь с предложением в целом, обнаруживают при этом квазисинтаксическую зависимость от него. Условимся называть такие слова *ч а с т и ц а м и*. Они подразделяются на три грамматических класса: междометия, начальные частицы, конечные частицы.

Междометия, помимо связи с предложением в целом, могут образовывать самостоятельные высказывания, являющиеся либо звукоподражаниями (*Oang-*) «Бах!»), либо непосредственным выражением эмоций говорящего (*Ckao bi¹* «Увы!»).

Начальные частицы самостоятельных высказываний не образуют, однако могут отделяться от последующего предложения паузой, что на письме передается соответствующими орфографическими знаками. В семантическом плане эти частицы представляют собой своеобразные введения к последующему высказыванию, рассчитанные главным образом на привлечение внимания слушающего к тому или иному моменту, как правило, внешнему относительно содержания беседы как таковой: *Nay², ba¹ dau² di¹ chu⁶* (*Nguyen³ Cong¹ Hoan¹*) «Ну! Пора начинать, что ли?»; *A² a²\ Toi¹ ro¹ ra¹ roi²* «А! Все понятно».

Конечные частицы не образуют самостоятельных высказываний и не отделяются паузой от предшествующего предложения. Конечные частицы — это как бы комментарий к сделанному высказыванию, уточняющий семантические связи высказывания с контекстом и с предполагаемым знанием собеседника, а в ряде случаев выражающий еще и отношение



говорящего к собеседнику (подробнее см. [21]): *C ac⁵ phao⁵ thu⁴ deu² mac⁶ quan² ao³ dep⁶. Quay¹ phim¹ ma² (Ngo¹ Van¹ Plu¹)* «Весь оружейный расчет нарядно одет. Ведь фильм снимают!»; *Ba² dung² gian¹ n'lee⁶ (Nguyen² Cong¹ Hoan¹)* «Уж вы, пожалуйста, не сердитесь».

Рассмотренная выше система частей речи вьетнамского языка может быть представлена в виде схемы (с. 88).

Выделением частей речи исчерпываются возможности функционального подхода. Поскольку однако грамматические различия между словами не сводятся исключительно к функциональным, более подробный грамматический анализ не может удовлетвориться той сравнительно высокой степенью огрубления материала, которая принимается при выделении классов слов. Последние в свою очередь должны стать объектом дальнейшей классификации, приводящей к выделению грамматических подклассов на основании комбинаторных возможностей слова, поэтому такая классификация предполагает критический анализ сложившегося во вьетнамском языкознании комбинаторного подхода лежащего в его основе понятия группы, что выходит за рамки настоящей статьи и составляет предмет особого исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Л., 1941. С. 420.
2. Яхонтов С. Е. Понятие частей речи в общем и китайском языкознании // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. Л., 1968.
3. Курилович Е. Р. Заметки о значении слова /7 ВЯ. 1955. № 3. С. 74.
4. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. С. 287.
5. Быстрое И. С., Нгуен Тай Кан, Станкевич Н. В. Грамматика вьетнамского языка. Л., 1975.
6. Быстрое И. С., Станкевич Н. В. Опыт классификации слов вьетнамского языка // Вьетнамский лингвистический сборник. М., 1976.
7. Шерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 66.
8. Быстрое И. С., Станкевич Н. В. О глаголах-предлогах вьетнамского языка // Уч. зап. ЛГУ. Сер. востоковед, наук. 1980. № 7. Вып. 23. С. 9.
9. Быстрое И. С. Классификация глаголов во вьетнамском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1966. С. 8—17.
10. Быстрое И. С., Станкевич Н. В. К вопросу о грамматикализации некоторых вьетнамских глаголов // Пятая научная конференция по истории, языкам и культуре Юго-Восточной Азии: Тез. докл. Л., 1974. С. 26.
- И. Панфилов В. С. Исходные понятия вьетнамского синтаксиса // ВЯ. 1984. № 1.
12. Панфилов В. С. О вьетнамских классификаторах // ВЯ. 1988. № 4.
13. Шерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. I. Л., 1958, С. 24.
14. Нгуен Минь Тхюет. Подлежащее во вьетнамском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1981. С. 2—3.
15. Be³ Xuan¹ Thai⁶. Ve² sac⁵ dong⁴ tu¹² va² tinh³ tu¹² khong¹ tru⁶c⁶ tiep⁴ lam² vi⁶ ngu³ trong³ tieng³ Viet⁶ // Ngon¹ ngu¹³. 1982. No 1. Tr. 49.
16. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. М., 1979. С. 60.
17. B¹ Van¹ Ly. Le parler vietnamien. P. 1948. P. 164—165.
18. Martini F. L'opposition nom et verbe en vietnamien et en siamois // BSLP. 1950. T. XLVI. Fasc. 1. P. 186, 190.
19. Honev P. J. Word classes in Vietnamese // BSOAS. 1956. V. XVIII. Pt 3. P. 537—539.
20. Панфилов В. С. Синтаксические служебные слова во вьетнамском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1967. С. 8—12.
21. Фан Мань Хунг. Модальные частицы во вьетнамском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1982. С. 4—18.

© 1990 г.

ФРУМКИНА Р. М. ., МОСТОВАЯ А. Д.

ОВЛАДЕНИЕ НЕРОДНЫМ ЯЗЫКОМ КАК ОБУЧЕНИЕ ЗНАКОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ

Испокон веков считалось, что если помимо родного языка, которым человек овладел спонтанно, в отчем доме, он сможет выучить еще и язык иностранный, от этого будет только польза. Если и возникали споры на этот счет, то они касались либо того, какой язык полезнее (престижнее, нужнее и т. п.), либо того, каковы должны быть конкретные цели и методы обучения. Не будем утомлять читателя примерами — он может найти их как у авторов различных педагогических систем, так и в отечественной художественной литературе.

В русской традиции просвещенность всегда связывалась с открытостью другим культурам и языкам. Тем большим парадоксом представляется убежденность в ином, а именно: что обучение иностранному языку, а особенно в раннем возрасте, приносит или может принести явный вред. Среди возможных вредных последствий перечисляются следующие: «интеллектуальное развитие ребенка может замедлиться, мышление на родном языке и общее понятийное мышление — затормозиться, порой возникает опасность речевых расстройств и так далее» [1. с. 239].

В качестве последствия «плохого» обучения иностранному языку (Хинт называет это обучение «бесконтрольным внедрением двуязычия») рассматривается феномен, который Хинтом, вслед за другими авторами, назван «полуязычием» (ср. работы шведского лингвиста Хансегора и его коллег). Согласно Хинту, полуязычие — это такое положение вещей, «когда человек вроде бы владеющий обоими языками, фактически не владеет ни одним: столкнувшись с чуть более сложной мыслительной конструкцией, он не способен выразить ее достаточно точно ни на одном из тех языков, которыми „владеет“» [1. с. 239].

В цитированной нами статье неродной язык, обучение которому может принести вред и породить «полуязычие». — это русский. Чувства М. Хинта нам понятны. Тем более, что один из авторов настоящей статьи еще 30 лет назад участвовал в разработке методики преподавания русского языка эстонцам [2]. Однако с точки зрения психолингвистики и психологии развития несущественно, о каком конкретно «неродном», иностранном языке идет речь: если в распоряжении науки действительно есть то, что Хинт называет «неоспоримыми фактами», то свидетельствуют ли они против раннего обучения русскому, французскому или шведскому — все едино.

В дальнейшем обсуждении мы разделяя тревоги М. Хинта. В. Быкова и других коллег, связанные с судьбами национальных культур и традиций, намерены остаться в сфере своей профессиональной компетенции и не затрагивать сферы социальной политики, в частности — вопросы межнациональных отношений. Мы хотели бы по возможности не касаться

проблем сугубо методических, хотя некоторые из них нам все же придется затронуть. И еще одно необходимое замечание: термин «двуязычие» всегда был нечеток, а в данный момент его значение не только размылось, но еще и облеклось ореолом социальных страстей немалого накала. Поэтому мы сознательно даем его только в кавычках, как принадлежащий другим авторам. Мы говорим лишь о мере владения неродным языком. Перейдем теперь к сути дела.

1. Полуязычие и полукультура. Полуязычие — феномен, несомненно существующий в наши дни и заслуживающий научного анализа. Большинство «полуязычных» лиц, однако, вовсе не потому не умеют выразить мысль, что они в силу жизненных обстоятельств должны знать два языка, но не знают ни одного; обычно они прекрасно знают свой родной язык и никогда всерьез не изучали никакого другого. Тем не менее, их речевое поведение вполне согласуется с описанием, предложенным М. Хинтом. В чем здесь дело? Столетие развития культурной антропологии показывает: все языки адекватно обслуживают свою культуру. В культуре нет ничего, что не может быть выражено на языке этой культуры. Но если некая культурно-бытовая традиция почему-либо оказывается оборванной, то личность оказывается погруженной в «полукультуру» — соответственно, ее носители становятся «полуязычными» в смысле, который придают этому слову многие авторы, в том числе и М. Хинт.

Полуязычны герои Зошенко, полуязычен герой «Постороннего» А. Камю, полуязычны многие герои Шукшина. Только направление каузальности иное: от полукультуры к полуязычию, а не наоборот. Полукультура, как мы здесь ее понимаем, это не недостаток некоторой вообще-культуры, не отсутствие знаний. Это конфликтная ситуация, в которую попадает личность в результате слома культурно-бытовой традиции. Любой мигрант в этом смысле «полукультурен» — и тот, кто перемещен волею обстоятельств в мир урбанизма и тем самым оторван от устоявшегося крестьянского быта [3], и тот, кто по собственному выбору сменил мир древних традиций и ценностей на высокоцивилизованное, но вовсе не высококультурное окружение (в такое положение попадают иногда люди из развивающихся стран, приезжающие учиться в европейские и американские университеты). В благоприятном случае подобная полукультурность — временная, в неблагоприятном — она превращается в постоянно действующий фактор.

Слом культурно-бытовой традиции неизбежно порождает ценностный конфликт. Последний же ставит индивида в условия предельно сложного выбора — как социального, так и личного. Трагизм этого выбора в немалой степени окрашивает и цитированную выше статью М. Хинта. Науке, однако, необходимо оставаться беспристрастной. Поэтому вернемся еще раз к его идее о том, что «полуязычный» индивид не может в речи выразить сколько-нибудь сложную мыслительную конструкцию.

К сожалению, в наши дни даже не самые сложные мыслительные конструкции с завидным постоянством плохо выражают профессионалы пера и общественные деятели, а не только рядовые носители языка. Это общеизвестное утверждение мы, тем не менее, сопроводим примером, взятым из редакционного текста, опубликованного «Литературной газетой» (ЛГ, 1989, № 3): «Разумеется, вопросы, как и ответы, носят личностный, субъективный характер» (речь идет о публикуемых в газете вопросах читателей к писателю В. Быкову и его ответах на них.— *Ф. Р., М. А.*). Вопрос может быть личным, но не личностным: мнение, оценка может быть субъективной или личной, наконец, ответ может выражать личное мнение.

Но словосочетание «вопрос (ответ) носит субъективный (личный) характер» для русского языка не является нормативным.

То, что у нас вообще низка культура речи,— а речи официальной в особенности,— известно, да это и не наша тема. Но пример из ЛГ менее тривиален, чем это может показаться на первый взгляд. Читатель поймет это, прочитав фразу, непосредственно следующую за приведенной выше: «Но право иметь собственное мнение и право высказывать его — неотъемлемые черты демократического общества». Теперь контекст позволяет догадаться, какую «мыслительную конструкцию» хотели выразить авторы редакционного текста, предваряющего публикацию. Как можно думать, имелось в виду следующее. Вопросы, адресованные В. Быкову, отражают взгляды, интересы, сомнения и т. п. читателей, а ответы — личную позицию писателя В. Быкова, а не редакции. Мы склонны в данном случае за шероховатостью стиля видеть определенный ценностный конфликт, новый для нашего общества: с одной стороны, в условиях гласности комментарии, подобные цитированным выше, излишни. С другой — редакция привыкла печатать только то, с чем она согласна, в особенности же — если это касается масштабных социальных проблем. Социокультурная ситуация нова — стандартное языковое средство для ее отражения еще не сформировалось.

Итак, «полуязычие» — это реальный феномен нашего общества, и порождено оно «полукulturой»*. О том, что породило и продолжает порождать «полукulturу», написано достаточно. Стоит, однако, внимательно прочесть следующее высказывание Л. Я. Гинзбург, относящееся к двадцатым годам: «В 1921 году кто-то из профессоров сказал публично: у нас происходит ликвидация грамотности. Это справедливо в той же мере, в какой и несправедливо. На самом деле у нас относительно уменьшилось число безграмотных в прямом смысле и увеличилось число безграмотных — в переносном» [6, с. 139].

2. Раннее «двуязычие» и его влияние на развитие ребенка. Споры о том, как влияет раннее «двуязычие» на развитие ребенка, были достаточно остры уже в начале нашего века (см. ниже). Их напряженность пропорциональна остроте социокультурных конфликтов в сообществах, где в силу исторических причин при наличии многоязычного населения какому-либо языку отводилась роль культурно доминирующего (Бельгия, отчасти Швейцария, Канада, США). При этом в литературе постоянно присутствовали обе позиции: идея, что любое дополнительное знание, и в том числе — знание второго языка может быть только полезно, и мнение, что раннее «двуязычие» приносит вред.

Попытаемся понять: как возникло предположение о том, что «двуязычие», особенно раннее, может отрицательно влиять на развитие ребенка? Одним из первых (в 1915 г.) мнение о вреде «двуязычия» высказал представитель школы ассоциативной психологии И. Эпштейн [7]. Упрощая его рассуждения, суть их можно передать следующим образом. Мышление — это ассоциации между понятиями и словами. Если одному и тому же понятию *a* в одном языке соответствует слово *b*, а в другом языке — слово *c*, то установившаяся ассоциация *aB* мешает установиться другой ассоциации *ac*. Когда же все-таки образуются две ассоциации *aB* и *ac* (соответствующие «вербальным эквивалентам» понятия *a* в двух разных языках), то

¹ Любопытный синхронный срез «полуязычия» именно как социально-культурного феномена можно получить, если обобщить наблюдения нормативного словаря [4], основанные на этих данных (см. описание «семантической девальвации» в работе Ю. С. Степанова [5]).

создаются помехи к воспроизведению и слова *o*, и слова *c* в ассоциации с понятием *a*. Таким образом, возможна интерференция слов, принадлежащих разным языкам и соответствующих одному понятию. Отсюда вывод, что раннее «двуязычие» мешает передаче мыслей и даже их формированию, постольку поскольку в формировании мыслей участвует язык.

Предположение о положительном влиянии двуязычия на психику ребенка и перспективы его развития основаны, по-видимому, на самых общих представлениях о взаимосвязи языка и мышления. Если язык является средством концептуализации мира, то два или несколько разных языков, вероятно, увеличивают, расширяют возможности средств осмысления мира, в чем-то совпадающих, но в чем-то и различных, дополняющих друг друга. В этом духе с И. Эпштейном полемизировал известный исследователь детской речи У. Стерн: «различия между языками... представляют собой могучий стимул для отдельных актов мышления, для сравнений и разграничений, для реализации понятий в их установленных пределах, для уяснения тончайших нюансов значения» ([8]; цит. по [9]).

В 20-е годы начинаются интенсивные исследования, целью которых является выявить в эксперименте различия между одно- и двуязычными индивидами и как следствие решить вопрос о векторе влияния раннего «двуязычия». При этом изучалось влияние раннего «двуязычия» на такие характеристики индивида, как (а) способности к изучению языков; (б) уровень умственного развития в целом; (в) личностные особенности. Изложим кратко результаты, полученные в некоторых из этих исследований.

(а) Влияние двуязычия на способности к изучению языка. Мнение о положительном влиянии двуязычия на способности к изучению языков основано на естественном предположении о том, что двуязычному индивиду легче изучить третий язык потому, что он обладает большим, чем одноязычные индивиды, опытом изучения языков вообще. Существовало, однако, и противоположное мнение. Результаты, полученные в этой области, противоречивы. Сперл в 1944 г. сравнивая данные об успехах 69 двуязычных первокурсников колледжа с теми же данными одноязычных первокурсников контрольной группы, приходит к выводу о некотором превосходстве двуязычных лиц в способностях к усвоению английского языка [10]. С другой стороны, были получены результаты, интерпретированные как подтверждающие противоположную гипотезу: Туссен в 1935 г. обнаружил, что успехи в диктанте носителей фламандско-французского двуязычия в Бельгии были значительно хуже, чем успехи одноязычных [11]. Вайнрайх полагал, что объяснить несоответствие между этими результатами можно только с помощью дополнительных исследований [9]. Однако заранее ясно, на наш взгляд, что успехи в диктанте являются неудачно выбранной мерой способности к изучению языков: диктант позволяет выяснить скорее меру владения орфографией, чем языком, что в любом случае не одно и то же, в особенности же для тех лиц, которые принадлежат к «некнижной» культуре.

(б) Влияние двуязычия на уровень умственного развития. Одним из первых экспериментальных исследований в этой области была работа Д. Саэр [12], которая в 1923 г. тестировала 1400 детей в пяти сельских и двух городских местностях Уэльса. Тесты показали, во-первых, более высокие результаты у городских детей, как одно-, так и двуязычных; во-вторых, лучшие результаты были отмечены у одноязычных сельских детей (по сравнению с владевшими двумя языками). По Саэр, это объясняется тем, что городским детям приходится разрешать конфликт между валлийским и английским язы-

ками в раннем возрасте, еще до поступления в школу, а у сельских детей этот конфликт, трактуемый как конфликт между своим «позитивным самосознанием» и «инстинктом подчинения», созревает позже, когда они уже не могут его преодолеть.

Э. Джемисон и П. Сэндифорд в 1928 г. тестировали канадских индейцев и обнаружили, что в трех местностях из четырех одноязычные превосходили двуязычных по уровню умственного развития ([13], ср. [14]). Сперл считала [10], что ее двуязычные испытуемые (первокурсники колледжа) по уровню умственного развития не отличались от одноязычных, но превосходили их в профессиональной деятельности. С целью упорядочить противоречивые результаты различных экспериментальных исследований С. Арсеняном в 1937 г. было предпринято подытоживающее исследование [15]. Большие расхождения между результатами различных экспериментальных работ, по его мнению, объясняются несовершенством используемых методик. В собственном исследовании Арсенян использовал более тонкую методику, различающую разные степени двуязычия, и обследовал 1152 итальянских и 1196 рожденных в Америке еврейских детей в возрасте от девяти до четырнадцати лет. В результате не обнаружилось какого-либо значительного влияния двуязычия на уровень умственного развития как группы в целом, так и какой-либо ее части. Не обнаруживается корреляции также между двуязычием и способностью адаптации к условиям школы [16].

в) В л и я н и е д в у я з ы ч и я н а ф о р м и р о в а н и е л и ч н о с т и. Влияние «двуязычия» на формирование личности систематически изучалось начиная с 30-х годов. Как известно, «двуязычие» часто возникает там, где есть контакт двух или нескольких культур, в силу чего вся социокультурная обстановка оказывается сложной. Можно думать, что на формирование личности, живущей в этих условиях, в первую очередь влияет именно нетривиальность, сложность социальной среды в целом. «Двуязычие» же является лишь одним из компонентов этой сложности и одновременно — самым явным ее отражением. Однако вполне объяснимо и то, что специальные исследования часто посвящались не изучению влияния социокультурной ситуации в целом на формирование личности, но лишь влиянию «двуязычия», хотя последнее было бы более реально трактовать как сопутствующий фактор. Дело в том, что «двуязычие» — наблюдаемо, тогда как выделение главных факторов из всей совокупности того, что образует «среду», — несравненно более сложная задача.

На необходимость искать культурно-обусловленные причины личностных особенностей двуязычных индивидов, если они действительно имеются, указывал еще А. Вайс, утверждая, что психологическая цельность личности страдает не от столкновения лингвистически закрепленных понятийных систем, а от сложности и нестабильности внешних условий жизни [17]. Тем не менее высказывались точки зрения, почти дословно близкие к тем, что формулируются современными публицистами и писателями. Так, Зандер в 1934 г. писал, что «двуязычие» расшатывает структуру личности, вызывая конфликты внутри понятийной системы [18]. По его мнению, «двуязычие» не просто вызывает безвредные ошибки в речи, но идет значительно глубже, подвергая опасности закрытую и самосредоточенную цельность развивающейся структуры (особенно, как нам кажется, если насаждается СИЛОЙ в раннем детстве).

Современные оценки влияния раннего «двуязычия» на развитие ребенка в целом более умеренны и осторожны. Так, Н. Миллер [19] счн-

тает, что представление о трудностях овладения языком у двуязычных детей в значительной степени основано на некорректных способах оценки успешности речевой деятельности вообще, а детской в особенности. По его наблюдениям, в тех случаях, когда речевую деятельность оценивают эксперты—носители языка, они склонны любые отклонения от привычной нормы (даже такие, как наличие некоторого специфического акцента) рассматривать как недоразвитие языковой способности. В действительности такие «аномалии» могут, по-видимому, влиять на успешность коммуникации, но их никак нельзя рассматривать как недоразвитие языковой способности.

К. Гарднер рассматривает такие факторы, как мотивация и установки (attitudes), касающиеся изучения второго языка [20]. По его мнению, на успешность изучения и глубину усвоения второго языка индивидом огромное влияние оказывают представления о том, насколько необходимо изучить второй язык, а также о том, насколько легко или трудно это сделать.

В отечественной литературе наиболее интересные, на наш взгляд, наблюдения над ранним детским двуязычием содержатся в исследованиях Н. В. Имедадзе [21]. Существенными для нашего рассмотрения представляются следующие положения ее концепции. Наиболее благоприятной для развития раннего двуязычия Имедадзе считает ситуацию, когда соблюдается принцип «одно лицо — один язык». Например: с отцом ребенок говорит по-французски, а с матерью — по-немецки (ср. ранние данные Ронжа [22]); с няней и бабушкой — по-русски, а с матерью и отцом — по-грузински и т. п. Соблюдение принципа «одно лицо — один язык», т. е. строгой обусловленности выбора языка общения старшим участником коммуникации, способствует осознанию ребенком «цельности» системы каждого языка. В конечном счете этот принцип благоприятствует возникновению действительного двуязычия, предупреждая те ситуации, когда в одном и том же высказывании беспорядочно смешиваются два языка.

Однако и в тех случаях, когда в общении с ребенком всегда соблюдается принцип «одно лицо — один язык», в речевом развитии ребенка, по Имедадзе, четко выделяются две стадии (1) стадия смешения двух языков: в одном высказывании возможно употребление слов, принадлежащих разным языкам, или повторное употребление на двух языках эквивалентов одного и того же понятия; наблюдается также активная интерференция грамматических форм и конструкций; (2) стадия полной лексической и грамматической дифференциации двух языков. Между стадиями (1) и (2) пролегает процесс постепенного отдифференцирования языковых систем в речи ребенка. В результате к концу второго года жизни достигается такое размежевание систем, что необходимость высказывания на одном языке вызывает полное вытеснение второго.

Интересно, что при этом семантически эквивалентные грамматические категории двух языков не всегда осваиваются ребенком одновременно. Одним из факторов, влияющих на более раннее осознание некоторой грамматической категории в одном языке по сравнению с другими (имеется в виду грамматическая категория с той же семантикой), является «перцептивная отчетливость» грамматических показателей категории. Так, например, Микеш обратил внимание, наблюдая за сербскохорватско-венгерским двуязычием, что локативы — обозначения пространственных отношений — в речи ребенка на венгерском языке появляются намного раньше, чем локативы в речи того же ребенка на сербскохорватском.

В венгерском языке локативы выражаются в виде аффиксов, а в сербско-хорватском, как и в других славянских языках,— предлогом и падежным окончанием. Это различие Д. Слобин, анализировавший наблюдения Микеша, интерпретирует как влияние большей перцептивной отчетливости показателей локативов в венгерском языке, чем в сербско-хорватском [23]. При этом более раннее усвоение некоторой категории в одном языке может, по крайней мере, в принципе, ускорить усвоение эквивалента этой категории в другом языке. Такое взаимодействие можно уже считать влиянием двуязычия на когнитивное развитие ребенка, причем, видимо, положительным влиянием.

Из приведенных наблюдений вытекает более общий вопрос, который ставит Имедадзе: не способствует ли детское двуязычие более раннему осознанию знакового характера языка? Иначе говоря, не освобождает ли ребенка раннее двуязычие от представлений об обязательности связи между объектом и обозначающим его словом («номинального реализма» в терминологии Пиаже) (ср. также [24])?

Для проверки этой гипотезы Имедадзе был поставлен эксперимент с 18 двуязычными детьми 5–6-летнего возраста, практически владеющими русским и грузинским языками. В эксперименте детям задавали вопросы (на грузинском языке): «Что такое имя?», «Где у солнца имя?», «Знает солнце свое имя?», «Откуда мы знаем имя солнца?»: «Почему мы солнце называем солнцем?», «Можно луну назвать солнцем, а солнце — лунной?». Эксперимент показал, что двуязычные дети, как и одноязычные, не осознают произвольности связи между объектом и его именем. Так, отвечая на вопрос: «Где находится имя солнца?» (на наш взгляд, неудачно сформулированный), дети говорили: «Конечно, в небе»; отвечая на вопрос: «Почему мы солнце называем солнцем?», дети говорили: «Потому, что светит»; на вопрос: «Можно луну назвать солнцем, а солнце — лунной?», дети отвечали: «Если луну назовем солнцем, она станет горячей», «Нельзя, не будет давать света». Только один из 18 детей, отвечая на вопрос «Почему мы солнце называем солнцем?», сказал: «Имена дают люди». Эти результаты, считает Имедадзе, указывают на то, что «сам факт раннего двуязычия ничего не меняет в отношении объект — имя. Дети-билингвы дают такие же ответы, какие были зафиксированы Пиаже у монолингвов. Однако при некоторых условиях, по мнению Имедадзе, раннее двуязычие может способствовать осознанию знакового характера языка и развитию лингвистических способностей. Двуязычие может стать условием ускорения развития произвольности и осознанности речи, если ребенку приходится в коротком временном и пространственном отрезке выражать одну интенцию эквивалентными средствами двух языков, т. е. решать разными способами одну коммуникативную задачу. Трудности, возникающие в процессе этой специфической активности, могут обеспечить развитие способности, необходимой для осознанного, произвольного владения языком. Только в этом случае, по мнению Н. В. Имедадзе, можно будет говорить об общеобразовательном значении второго языка и, в частности, его роли для развития лингвистического мышления.

3. Раннее обучение неродному языку как проблема обучения операциям со знаками. Ниже мы будем говорить только о ситуации направленного обучения неродному языку, оставляя в стороне ситуацию формирования естественного билингвизма в условиях смешанных браков, общения со сверстниками п. т. п. Вначале резюмируем аргументы «за» и «против» в современной литературе. Их сопоставление с приведенным выше об-

зором¹ показывает отсутствие новизны как в позиции «за», так и в позиции «против». «За» — пластичность детской психики, способность ребенка выучить неродной язык как бы между прочим; «против» — предположение о «конкуренции» неродного языка с родным в сфере еще не полностью сформированных мыслительных автоматизмов и как следствие гипотеза о замедлении темпов общего умственного развития.

Рассмотрим более внимательно позицию «против». Чтобы ее аргументировать на практике, следовало бы тщательно сравнить темпы и качество развития мышления детей (как вербального, так и невербального), из которых одни изучали породной язык в раннем возрасте (например, начиная с 4 лет), а другие — не изучали его. Заметим, что такое сравнение провести чрезвычайно затруднительно. Причины этого многообразны, что не раз отмечалось исследователями.

Во-первых, сами тесты уровня умственного развития (их использовали авторы упомянутых выше трудов) ненадежны в силу своей ориентированности на евро-американскую культуру в ее урбанизированном варианте. Во-вторых, (и это хорошо известно тем педагогам, которые решают особенно трудные задачи, а именно, дефектологам), любой обучающий эксперимент ненадежен как таковой. Дети развиваются весьма индивидуально как физически, так и психически; мотивационные факторы тесно взаимодействуют с влиянием семьи, личностью педагога. В-третьих, хорошо известно, что, например, изучение англоязычными детьми французского языка порождает иные трудности, чем изучение русскоязычными детьми — немецкого, поэтому неясна степень общности результатов, полученных в разных странах. Если же добавить сюда факторное взаимодействие {метод обучения X личные качества педагога X личность ребенка}, то станет ясно, что любые выводы из результатов обучающего эксперимента могут иметь лишь качественный характер и должны оцениваться с особой осторожностью.

Нелишне, однако, задуматься о том, имеются ли в современной науке какие-либо априорные собственно психолингвистические², психологические или дидактические соображения о том, в чем может быть вред раннего обучения неродному языку. Что касается возможного вреда, то мы можем указать лишь одно априорное, но весьма общее соображение: безусловно ущербным является раннее обучение, не подкрепленное должной мотивацией. Это, впрочем, не специфично для обучения именно неродному языку: не менее ущербным может оказаться раннее обучение любым знаниям, если оно предполагает насилие над личностью ребенка. И, наоборот, в той мере, в какой ребенок способен освоить ситуацию обучения как привлекательную, он с радостью прибавляет к уже известным ему играм еще одну — игру-учебу.

Что касается общепсихологических и психолингвистических доводов в пользу раннего обучения, то нам кажется уместным начать с анализа

² В соответствии с задачами данной статьи вне рамок обзора сознательно оставлена вся литература по проблемам языковых контактов, языковой интерференции и т. п., в том числе и фундаментальные работы В. Ю. Розенцвейга, А. Д. Швейцера и других авторов.

¹ Упомянем обозначившиеся в литературе две точки зрения на то, что представляют собой врожденные способности человека к овладению речью: 1) мы рождаемся со способностями к овладению языком в о о б щ е, и это не зависит от генотипа наших предков; 2) мы рождаемся со способностями к овладению языком, которые коррелированы с генотипом наших предков, т. е. обладаем преимущественными способностями к овладению определенным языком (языками). Авторы разделяют первую точку зрения.

результатов раннего обучения ребенка некоторым вещам, на первый взгляд максимально далеким от обучения неродному языку. В дальнейшем изложении мы опираемся на неопубликованные данные А. К. Звонкина, беседы с которыми способствовали кристаллизации концепции первого из авторов [25—27].

В течение нескольких лет А. К. Звонкий занимался математикой с дошкольниками — детьми 4—6 лет. Содержанием этих занятий было изучение детьми некоторых весьма общих отношений между объектами реального мира, а также открытие — большей частью наглядное — некоторых общих закономерностей. Например, четырехлетний ребенок с немалым трудом постигает содержание отношения общее — частное, целое — часть, множество — подмножество. Разумеется, на занятиях такие слова не произносились. Но если ребенку показать картонные фигурки с четырьмя углами и выделить среди них такие, у которых все углы прямые, а из этих последних такие, у которых при этом стороны одинакового размера (в чем ребенок может убедиться сам), то через некоторое время ребенок не будет удивлен тому, что у квадрата — три имени: он «квадрат», потому что у него стороны одинаковые, «прямоугольник» — потому что у него углы прямые и «четырёхугольник» — потому что этих углов — четыре. Параллельно выясняется сходство такой задачи с вопросом о том, являются ли папы и дедушки — мужчинами, а мужчины — людьми.

В другой задаче дети должны были строить с помощью игры-мозаики последовательности определенного вида из разноцветных фишек (фишки вставляются в дырочки квадратного поля мозаики). Возник вопрос о том, как зафиксировать те последовательности, которые уже были построены, чтобы не повторяться, и из данного набора фишек разных цветов далее строить различные последовательности данной длины. Предположим, у ребенка есть фишки двух цветов — белые и красные. На первый взгляд, необходимо нарисовать белый и красный кружки. «Но у нас нет белого карандаша», — говорит преподаватель. Ребенок должен каким-то образом прийти к мысли о том, что можно обойтись не только без белого, но и без красного карандаша, — важно лишь иметь карандаши двух разных цветов. Иными словами — надо найти способ обозначить разницу в цвете между двумя фишками. Но, вообще говоря, это можно сделать и не с помощью разницы именно в цвете. Так ребенок подводится к идее означивания, знакового отображения предмета, и далее — к идее двусторонней сущности знака. А. К. Звонкий постепенно вводил в сознание детей семиотические идеи. Общее между двумя яблоками, двумя книгами, двумя фишками — это их количество. Всякий раз перед нами два предмета. Но книга и яблоко, книга и карандаш — это тоже два предмета. Если нам неважно, что это за предметы, а важно — сколько их (детям придется говорить нечто вроде — «Хватит ли на всех карандашей?» и т. п.), то для этого есть удобный способ обозначения — цифра 2. Или II (два «римское»). Или слово *два*. Материально эти знаки — различны, но значат они одно и то же. По аналогичной причине, если нам важно указать, что у нас есть разные фишки — красная и белая, — то не обязательно пользоваться именно красным и белым цветами, можно красную фишку обозначить квадратиком, а белую — кружочком. Можно использовать две буквы, но какие? И здесь дети догадываются, что вовсе не обязательно — к и б, т. е. буквы, с которых начинаются слова *красный* и *белый*.

В описанном нами подходе, обучая детей овладению знаковыми опе-

рациями, А. К. Звонкий одновременно показал детям: а) что знак — произволен («означающее» не связано с сутью «означаемого») и б) что имеется изоморфизм между разными системами обозначения. Дети привыкают к тому, что числа обозначаются цифрами, звуки речи — буквами, музыкальные звуки — нотами. Они постепенно понимают, что букву *A* или цифру *1* можно написать разным шрифтом или разным цветом, а также передать сигнальными флажками или с помощью азбуки Морзе. Отсюда уже совсем близко к пониманию знаковых систем любых типов — например, той, которая лежит в основе географической карты, и других.

Все сказанное выше об обучении математике обнаруживает сверхзадачу, поставленную А. К. Звонкиным, — познакомить детей с идеей семиотики как науки о знаках. Та же идея может очень естественно раскрываться при раннем обучении неродному языку.

То обстоятельство, что привычный предмет может носить не единственное имя, а в разных языках именоваться по-разному, систематически показывает ребенку разницу между именем и денотатом. Неважно, что он забудет завтра же часть новых слов, — важно, что он поймет, что такая ситуация — закономерна. Неважно, что ребенок будет, играя строить фантастическое множественное число в родном языке по аналогии, с только что услышанным способом образования множественного в неродном. Важно, что ребенок начинает понимать, что он может превратить один кубик во многие путем нехитрых операций со знаками, а не с объектами. Тот факт, что одинаковые звуки родного языка могут обозначаться совершенно разными буквами, для ребенка — огромное открытие (если он действительно это понял, а не сделал вид, чтобы не огорчать педагога). Но такого рода открытия обычно совершаются, когда ребенка начинают учить писать, т. е. в школе. Однако и в четыре года ребенок вполне может усвоить все эти «условности» как осмысленные, если он поймет, что буква — это знак, и что суть дела — не в затверживании фактов, а в принятии некоторых условных правил, подобных правилам игры.

По мнению опытных педагогов, главный дефект в обучении маленьких детей неродному языку — это ситуация, когда вместо того, чтобы учить ребенка знаковым операциям, давая ему материал для размышлений и гипотез, мы сообщаем ему плохо структурированную информацию, полагаясь на детскую память и — в лучшем случае — уповая на то, что игровой метод автоматически результативен. К сожалению, раннее (и не только раннее) обучение неродному языку идет по схеме, аналогичной следующему примеру (мы заимствуем его из [27]). Пусть взрослого человека учат считать до десяти по-японски: *ити, ни, сан, си, го, року, сити, хати, ку, дзю*. Допустим, вы выучили эту последовательность. А теперь решите задачу: мама купила на базаре *ку* яблок и дала по *ни* яблок каждому из *си* детей; сколько яблок у нее осталось? Человек, который через месяц длительных тренировок выучил эту нелегкую науку и освоил счет в пределах *дзю*, несомненно обладает прекрасной механической памятью. Но механическая память не имеет ничего общего с интеллектуальными способностями, а главное — ничему не служит и ничего не развивает.

Все мы рождаемся с почти безграничными возможностями к обучению, к познанию многообразия мира. Человеческий способ эффективной переработки информации — это структурирование многообразия путем выделения в нем значимых инвариантов. Эта центральная идея — обучение выделению смыслового инварианта — может быть легко усвоена

ребенком, если он обнаруживает, что для достижения одной и той же цели (вежливо попросить, правильно поблагодарить, объяснить, где он живет, и т. п.) следует прибегнуть к разным способам в разных языках.

Если же обучение детей неродному языку — русскому или английскому, в три года или в пять, в детском саду или в школе — не более соотносено с идеей смысловых инвариантов, чем упражнения в механическом запоминании,— то это очевидная бессмыслица. Но — и мы надеемся, что с нами согласятся и филологи, и педагоги, и писатели,— изучение любого предмета, да и вообще любого дела, можно превратить в «освоение счета в пределах дзю».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хинт М. Двоязычие и интернационализм // Дружба народов. 1988. № 5.
2. Фрумкина Р. М., Штейнфельдт Э. А. Статистические методы отбора лексики для словаря-минимума по русскому языку // РЯНШ. 1960. № 6.
3. Быков В. Нация, язык, литература. Выступление на «Круглом столе» // Дружба народов. 1988. № 6.
4. Вакуров В. И., Рахманин Л. В., Рахманова Л. И. Краткий словарь трудностей русского языка. М., 1968.
5. Степанов Ю. С. Европейский языковой союз и европейская грамматика наших дней // Ин. лит. в школе. 1969. № 3.
6. Гинзбург Л. Я. Выбор темы // Нева. 1988. № 12.
7. Epstein I. La pensee et la polyglossie. P., 1915.
8. Stern W. Die Erlernung und Beherrschung fremder Sprachen // Z. fur padagogische Psychologie. 1919. № 20.
9. Вайнрайтс У. Языковые контакты. Киев, 1979.
10. Spoerl D. T. The academic and verbal adjustment of college age bilingual students // Journal of genetic psychology. 1944. № 64.
11. Toussaint N. Bilinguisme et education. Brussels, 1935.
12. Saer D. J. The effect of bilingualism on intelligence // British journal of psychology. 1923. № 14.
13. Jamieson E., Sandiford P. The mental capacity of Southern Ontario Indians // Journal of educational psychology. 1928. № 19.
14. Davies M., Hughes A. G. An investigation into the comparative intelligence and attainments of Jewish and non-Jewish children // British journal of psychology (general section). 1927. № 18.
15. Arsenian S. Bilingualism and mental development. N. Y., 1937.
16. Pintner R., Arsenian S. The relation of bilingualism to verbal intelligence and school adjustment // Journal of educational psychology. 1937. № 51.
17. Weiss A. Zweisprachigkeit und Sprachtheorie // Auslandsdeutsche Volkforschung. 1937. № 1.
18. Sander F. Seelische Struktur und Sprache; Strukturpsychologische zum Zweisprachenproblem // Neue psychologische Studien. 1934. № 12.
19. Bilingualism and language disability / Ed. by Miller N. London; Sydney, 1984.
20. Gardner K. C. Social psychology and second language learning: the role of attitudes and motivation. L., 1985.
21. Имедадзе Н. В. Экспериментально-психологические исследования овладения и владения вторым языком. Тбилиси, 1979.
22. Ronjat J. Le developpement du langage observe chez un enfant bilingue. P., 1913.
23. Slobin D. Cognitive prerequisites for the development of grammar // Studies of child language development / Ed. by Ferguson Ch., Slobin D. N. Y., 1973.
24. Тульviste П. Культурно-историческое развитие вербального мышления. Таллин, 1988.
25. Звонкий А. К., Фрумкина Р. М. Свободная классификация: модели поведения // НТИ. 1980. № 6.
26. Фрумкина Р. М. Цвет, смысл, сходство. М., 1984.
27. Звонкий А. Малыши и математика, непохожая на математику // Знание — сила. 1985. № 8.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1990 г.

ЖУРАВЛЕВ В. К.

«КНИГА ЖИЗНИ» Н. С. ТРУБЕЦКОГО

(К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

На здании Венского университета установлена мемориальная доска с барельефом Н. С. Трубецкого и надписью на немецком языке:

FORST
N. S. TRUBETZKOY
SLAVIST
GRUNDER DER PHONOLOGIE
1890-1938

Действительно, его фундаментальный труд «Основы фонологии» [1], написанный полвека тому назад, издавался шесть раз на немецком и шесть раз на французском языках, по одному разу на английском, японском, итальянском, испанском, польском и русском языках. Неугасимый интерес к этой книге объясняется тем, что здесь изложено целостное учение о фонологических противопоставлениях и условиях снятия (нейтрализации) этих противопоставлений. Столь стройного учения о системообразующих факторах не удавалось построить ни одному лингвисту ни до, ни после Николая Сергеевича Трубецкого. Бесспорно общелингвистическое, методологическое значение фонологии. «Фонология как теория звуковых противопоставлений и морфология как теория формальных противопоставлений,— писал Н. С. Трубецкой,— представляет собой две отрасли одной и той же науки, которая должна исследовать противопоставление лингвистических значимостей. Причем все отрасли этой науки должны применять одинаковые методы исследования» [2]. И может быть, именно с легкой руки создателей фонологии она, фонология, стала своеобразным демиургом, создавшим лингвистику XX в. «по образу и подобию своему». Каким бы разделом языкознания мы ни занимались, всюду мы встретимся с фундаментальными понятиями, зародившимися в недрах фонологии: оппозиция, корреляция, нейтрализация и т. п. Наблюдается удивительная тенденция создания новых лингвистических терминов по образу фонологических: фон — аллофон — фонема, морф — алломорф — морфема, граф — аллограф — графема и прочие «-эмы»: графема, лексема, рема, сема, просодема, фраза — фразема и даже тип — типема. Завидная судьба истинно гениального ученого и его детища.

И все же не фонология была основным полем приложения титанических сил Трубецкого. Фонологией он занимался лишь последнее десятилетие своей жизни. Уступая настоятельным убеждениям Р. О. Якобсона,

Трубецкой не без сожаления вынужден был отложить свои прежние исследования, над которыми работал с увлечением много лет... Его первая работа по фонологии появилась лишь в 1929 г. «Основы фонологии», первые страницы корректуры которых Николай Сергеевич держал уже на смертном одре, не были для него тем, что называют «книгой жизни».

За свою недолгую жизнь, до краев наполненную неустанными поисками истины, великими трудами и свершениями, Трубецкой опубликовал 171 работу. Пожалуй, трудно найти другого ученого, равного ему по широте охвата проблематики, глубине проникновения в самую суть изучаемых явлений, поразительной эрудиции, разнообразию и богатству привлекаемого эмпирического материала. Его неустанные «... поиски непроторенных, неизведанных путей лингвистики, филологии, истории культуры, этнологии и народоведения в самом широком смысле этого слова привели к открытию нескольких новых научных направлений и дисциплин, среди которых помимо фонологии следует назвать морфонологию, историю литературных языков, типологию языковых структур и конформативную лингвистику, учение о языковых союзах и контактах» [3, с. 492]. Яркий свет, идущий от создателя фонологии, как бы отбрасывал в тень все другое, что делал и сделал Трубецкой.

За последнее время интерес к Трубецкому резко возрос. И это, бесспорно, связано с новыми изданиями и переизданиями его трудов.

Дважды был издан огромный том (530 с.) его переписки с Р. О. Якобсоном [4, 5]. Читая эти письма, мы попадаем в творческую лабораторию Н. Г. Трубецкого и можем проследить пути формирования понятийного аппарата фонологии, постепенное совершенствование фундаментального понятия системы, поиска системообразующих факторов и т. п. Это, в частности, блестяще обобщил М. Вель [6]. Теперь мы можем представить себе творческую фигуру Трубецкого во весь ее гигантский рост, как-то по-новому прочитать и осмыслить его работы.

Вслед за письмами вышло два сборника его работ: московский [3] и венский [7]. Венский сборник приурочен к пятидесятилетию со дня смерти Н. Г. Трубецкого. Оба сборника сопровождаются весьма содержательными очерками о нем. Глубокий анализ разносторонней деятельности ученого сделали Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов, Н. И. Толстой в Послесловии к московскому сборнику [3, с. 492—519].

Как видно, понадобились усилия нескольких крупнейших специалистов, чтобы воссоздать целостную картину многогранного таланта Трубецкого, представшего перед нами в качестве компаративиста и этнолингвиста, историка духовной культуры, литературы и литературного языка, стиховеда и фольклориста, ученого-теоретика и исследователя, публициста, горячего патриота своей Отчизны, русиста, слависта, индоевропеиста, кавказоведа и финноугроведа. Московский сборник снабжен обширными комментариями ко всем публикуемым работам. Если издатели московского сборника стремились как можно полнее охватить разностороннюю деятельность Трубецкого, то издатели венского сборника ограничились публикацией его славистических работ.

Стремясь отразить деятельность Трубецкого-слависта, Ст. Хафнер, автор венского библиографического очерка, детально проследил зарождение у Николая Сергеевича интереса к праславянскому языку и его истории, развитие идей и представлений о праязыке и методах его реконструкции, рассказал о титаническом труде неутомимого исследователя истории и праистории славянских языков. Здесь мы узнаем о трагической судьбе первого, второго и третьего рукописных вариантов «Опыта пра-

истории славянских языков». Первый вариант был сдан на хранение в Ростовский университет, где в 1918—1920 гг. ученый занимал должность доцента. Материалы второго варианта вместе с архивом Трубецкого после обыска на его квартире и в Венском университете (март 1938 г.) оказались в гестапо [7, с. XIV, XXIII]. По мнению Ст. Хафнера, именно «История праславянского языка» и была «книгой жизни» (Lebenswerk) Н. С. Трубецкого [7, с. XXX]. Судя по письмам, она занимала его почти 25 лет. Но именно этому грандиозному труду, ответственности работы над которым сам Трубецкий сравнивал с «шапкой Мономаха» [7, с. XXI], катастрофически не везло: то пропадала рукопись, то выяснялось, что над книгой надо *еще* поработать, согласовав накопленные факты и представления с новой теоретической находкой, с углубленным представлением о фонологической системе..., то приходилось откладывать любимое дело для срочной работы по фонологии в связи с подготовкой к очередному международному съезду... И может быть, главным трудом его жизни и должна была стать именно история праславянского языка, в то время как опыты исторической фонетики славянских языков, полабские штудии, уточнение представлений о праязыке, фонологические исследования, содержащие поиски системообразующих факторов, и др.— все это представляется своеобразным «отходом производства». Во всяком случае, становится вполне очевидным, что именно историческая фонетика славянских языков служила ученому неиссякаемым источником и важнейшим полигоном апробации его фонологических идей.

О трудах Трубецкого по праславянскому языку мы знаем мало. Лишь узкие специалисты знакомы с некоторыми его статьями по сравнительной грамматике славянских языков и праславянскому языку. Ссылки на них встречаются редко. Существует только одна небольшая заметка о его работах по праславянской фонологии [8].

Последние издания избранных работ Трубецкого позволяют более глубоко оценить его вклад в науку о праславянском языке. В венском сборнике собраны статьи Трубецкого по праславянскому языку, сравнительной и исторической грамматике славянских языков. По ним можно судить о той гигантской работе над историей праславянского языка, которую проделал автор, по ним можно проследить, как усиливался аспект внутренней реконструкции и относительной хронологии явлений, как совершенствовались представления о праязыке и методах его реконструкции, как историческая фонетика закономерно превращалась в диахроническую фонологию со все более четким представлением о системе и системообразующих связях, внутренней движущей силой которых оказываются устройство фонологических оппозиций и корреляций (ср. статьи о гутуральных [3, с. 168—179], о депалатализации [7, с. 291—295]). В опубликованных статьях 1933—1934 гг. можно разглядеть заделы и диахронической фонологии [7, с. 291—295], и диахронической морфологии [3, с. 210—328], и теории реконструкций [7, с. 267—275], базирующейся на исходном пункте лингвистического мировоззрения Трубецкого, согласно которому язык всегда представляет собой систему взаимосвязанных элементов, явлений и процессов.

Несколько статей по этой проблематике опубликовано в московском сборнике [3]. В Примечаниях и Послесловии значительное место [3, с. 503—510] отведено праславянскому языку. Столь тщательного и всестороннего анализа идей и результатов работы Н. С. Трубецкого в данной отрасли знания на фоне его разносторонней научной деятельности, пожалуй, еще не было в историографии нашей науки. Завершая этот анализ,

авторы Послесловия отмечают, «...что сам Трубецкой не построил того многоярусного велелепного здания, которое им было задумано, не написал в конечном итоге своего труда — „Опыт праистории славянских языков“; мы догадываемся о нем лишь по его фрагментам. Следует сожалеть, что цель, выдвинутая Н. С. Трубецким, не достигнута в полной мере и другими учеными, и потому проблема в целом и остается актуальной и по сей день» [3, с. 508]. Задача, следовательно, заключается в том, чтобы достроить парадигму науки о праславянском языке, оставшуюся после Трубецкого недостроенной.

Судя по письмам, проблемами праславянского языка Н. С. Трубецкой глубоко заинтересовался в период подготовки к магистерским экзаменам (1913—1914 г.). В Московском университете праславянский язык пользовался особым вниманием основоположника Московской лингвистической школы Ф. Ф. Фортунатова и его учеников. В 1914 г. в Москве вышла в свет книга В. Поржезинского «Общеславянский язык в свете данных сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков». В 1915 г. А. А. Шахматов опубликовал «Очерк древнейшего периода истории русского языка» в серии Энциклопедии славянской филологии (ЭСФ) [9]. Еще раньше И. В. Ягич, инициатор этой серии, поставил задачу издать книгу о праславянском языке («Общеславянский язык») в качестве очередного выпуска ЭСФ.

Несколько крупнейших ученых пытались решить задачу И. В. Ягича: Г. А. Ильинский, Й. Миккола, А. Мейе и, как теперь стало известно, Н. С. Трубецкой.

В связи с войной и революцией издание ЭСФ прекратилось. Но в 1916 г. незначительным тиражом в Нежине вышел первый обобщающий труд по праславянскому языку «Праславянская грамматика» Г. А. Ильинского [10], а спустя десять лет и второе обобщение — «Общеславянский язык» А. Мейе [11]. Если труд А. Мейе — описание общеславянского языка со стороны индоевропеистики, то книга Г. А. Ильинского написана «изнутри» славистики, с пристальным вниманием к эволюции идей и понятий данной науки, к ее результатам и перспективам развития. В ней обобщался «Монблан фактов» и море научной литературы по каждому отдельно-му элементу, по каждому вопросу науки о праславянском языке. Издание «Праславянской грамматики» Й. Микколы [12] растянулось на многие годы. Впервые в компаративистике зарождалась новая научная дисциплина — наука о праязыке. Необходимо было обсудить и сформулировать ее задачи, предмет и метод, выработать представление о праязыке. Традиционная компаративистика накопила к тому времени несколько противоречивых гипотез: модель родословного дерева и теорию волн, постулат непреложности фонетических законов и выводы лингвистической географии, в соответствии с которыми каждое слово имеет свою историю и географическое распространение. С помощью традиционного сравнительно-исторического метода восстанавливается праязык лишь как своего рода склад реконструированных архетипов, лежащих где-то вне времени и пространства. Но еще Ф. Ф. Фортунатов впервые в индоевропеистике сформулировал положение о том, что праязык, как и всякий язык, должен иметь свою историю и диалектное членение. Фортунатовский тезис — «наука стремится узнать причину и связь явлений» — горячо подхваченный его учениками, нацеливал на поиски более совершенных методов исследования. Н. Н. Дурново вел в Московском университете специальный семинар, целью которого была «систематическая ревизия взглядов на историю русского языка». Активным участником этого семинара был сту-

дент историко-филологического факультета Н. С. Трубецкой. Тогда он осознал, что «метод в фортуатовской школе всегда выдвигался на передний план» [7, с. 263].

В 1915 г. на одном из заседаний Московской диалектологической комиссии (МДК) молодой приват-доцент Н. С. Трубецкой выступил с докладом: «Метод восстановления общеславянского праязыка в „Очерке“ академика А. А. Шахматова». Доклад произвел «эффект разорвавшейся бомбы», вызвал оживленную дискуссию, убедил в необходимости и своевременности поиска более совершенных методов «исторического языкознания и лингвистической реконструкции» [7, с. XII].

Позже Н. С. Трубецкой писал в Автобиографии [7, с. XII], что его предшествующие занятия иранскими и кавказскими языками позволили ему по-новому посмотреть на результаты реконструкции праславянского языка. И в самом деле, за плечами молодого ученого были опыты сравнительно-исторических исследований бесписьменных языков Северного Кавказа, попытки сравнения «арктических языков с угро-финскими и самодскими» [3, с. 493]. Он впервые в компаративистике пришел к выводу, «что можно построить сравнительно-историческую грамматику целиком на основе установленной системы соответствий между живыми языками, исходя только из современных полевых описаний этих языков» [3, с. 496]. В своих сравнительно-исторических штудиях бесписьменных языков Н. С. Трубецкой широко применял данные типологии.

С 1915 г., по признанию Трубецкого, славянские языки «вышли на передний план» его научных интересов [7, с. XII]. Тогда же он решил написать книгу «Предыстория славянских языков», в которой намеревался изложить «возникновение общеславянского из праславянского и праславянского из праиндоевропейского языка» [7, с. XIII].

Вероятно, доклад на МДК был своего рода апробацией темы докторской диссертации, в качестве которой Трубецкой решил взять «Историю возникновения и распада общеславянского языка». В ней он мечтал составить «полную картину звуковой эволюции одного из диалектов индоевропейского праязыка вплоть до распада этого диалекта на более дробные подразделения». «Во второй части,— писал он Р. О. Якобсону 10.5.1920,— при свете полученных данных об эволюции звуков я полагаю пересмотреть изменения морфологии и словаря, классифицировать эти изменения также хронологически, чтобы картина таким образом получилась полная» [4, с. 447].

Революция застала Н. С. Трубецкого на Северном Кавказе, куда он ежегодно ездил на лечение. Там он работал над сравнительной грамматикой кавказских языков, составлял грамматику и словарь черкесского языка. При помощи классических приемов сравнительно-исторического метода он работал над реконструкцией корнеслова и набора фонем северокавказского праязыка [3, с. 495]. Трубецкой по праву считается основоположником этой отрасли сравнительно-исторического языкознания. Основательные штудии в области реконструкции праязыка бесписьменных языков не мешали, а скорее, наоборот, помогали работать над докторской диссертацией по истории праславянского языка. Первая ее часть (фонетическая) была готова в 1918/1919 учебном году, но ее вместе с материалами по кавказским языкам пришлось сдать на хранение в библиотеку Ростовского университета. На некоторое время Н. С. Трубецкого приютил Софийский университет (1920—1922 гг.). Лишь благодаря настойчивым хлопотам И. В. Ягича и П. Кречмера он получил должность ординарного профессора славянской филологии в Венском университете (20.12.1922).

Еще в Софии он пытался восстановить по памяти и составить новый вариант истории праславянского языка, написал и отправил в славистические журналы несколько статей — фрагментов из этой монографии (об относительной хронологии фонетических процессов, о праславянской интонации, словообразовании и формообразовании). Собственно, по этим публикациям (1921—1925 гг.) мы и можем судить о характере новаторских идей Трубецкого в области славянской компаративистики, а в какой-то мере и о содержании доклада 1915 г.

В первой славистической статье (1921 г.) он противопоставляет гипотезе Шахматова, изложенной в «Очерке», свою гипотезу о природе праславянской интонации [7, с. 1—17]. Но не здесь коренилось принципиальное расхождение с Шахматовым. Оно вскрывается в следующей статье (1922 г.), посвященной относительной хронологии некоторых фонетических явлений праславянского языка [7, с. 37—54]. Здесь дана первая «заявка» на полидиалектную концепцию праязыка и впервые предложена периодизация истории праславянского языка. Несколько упрощенной модели родословного древа, которой следовал Шахматов, Трубецкой противопоставлял более реалистическую модель развития языка как изоглоссной области. Если Шахматов исходил из сложившихся в результате ветвления дерева диалектов, которые затем смешиваются, то Трубецкой устанавливал изоглоссы диалектных явлений и их относительную хронологию. Особенно четко такое различие концепций проявилось в статье «О звуковых изменениях русского языка и распаде общерусского языкового единства» (1925) [3, с. 143—167].

Здесь вскрыты особенности научного метода Шахматова «Хотя он (так же, как и его учитель Ф. Ф. Фортунатов) теоретически отвергал „родословное древо“ Шлейхера, в своей практической деятельности он так и не смог освободиться от влияния этой теории: сам того не замечая, он всегда представлял себе развитие языка в форме разветвления родословного древа» [3, с. 145]. «Теория А. А. Шахматова,— констатирует Трубецкой,— была рабочей гипотезой, нужной автору лишь для определения хронологии... звуковых изменений... Те из этих изменений, которые представлены во всех восточнославянских диалектах, относятся к „прарусскому периоду“...; изменения, объединяющие белорусский и украинский, принимаются за древние признаки „древнеюжнорусского“ и т. п.» [3, с. 145]. Такой хронологизации звуковых изменений Трубецкой противопоставляет метод относительной хронологии, позволяющий определить, что данный фонетический закон В имел место после такого-то фонетического закона А и до действия закона С.

Развивая идеи Трубецкого и Шахматова, можно теоретически осмыслить различие их методов хронологизации как различие сравнительной (внешней) и внутренней реконструкции. Первая опирается на генетическую гипотезу, на постулат языкового родства и модель родословного древа. Она нацелена на анализ межъязыковых соответствий. Хронологическая иерархизация языковых явлений и процессов строится по принципу приуроченности к определенным «коленам», точкам ветвления родословного древа (парусское, праславянское, праиндоевропейское состояние и т. п.).

Относительная хронология, базирующаяся на данных внутренней реконструкции, нацелена на анализ внутриязыковых соответствий, на вскрытие отношений между элементами данного языка в его статике и динамике. Здесь хронологизация языковых процессов строится на принципе их взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности. Внутренняя от-

носительная хронология опирается на гипотезу регулярности, на фундаментальное положение компаративистики о непреложности фонетических законов. Последующий фонетический закон, как правило, отменяет действие предшествующего, содействует процессу фонологизации аллофонов, появившихся в результате действия предшествующего закона [13]. Например, фонетический закон первой палатализации обусловил аллофонное варьирование *к/с* перед гласными переднего ряда (*kriketi* $\hat{\ } >$ *krlceto*). Последующий закон $\hat{\ } >$ *a* отменил предшествующий: теперь с возможно не только перед *ё*, но и перед *a* (*кричать* : *крика*). Эта позиция стала позицией дифференциации прежних аллофонов, потенциальная оппозиция (*к* : *с*) фонологизировалась, прежний аллофон получил статус самостоятельной фонемы.

Однако до сих пор при хронологизации явлений и процессов чаще применяется метод Шахматова, чем Трубецкого. Преодолеть давление модели родословного древа не удалось не только Шахматову, но и Г. Шевелеву [14]. Усилия исследователей за последнее время все более сосредоточиваются на точной датировке (+25 лет) праязыковых процессов (Ч. Бидуэл, А. Лампрехт, З. Штибер и др.). Увлечение абсолютной хронологией отодвинуло на задний план проблемы хронологии относительной. Одним из результатов осмысления поисков «внутренней логики и хронологической взаимосвязи явлений» является теоретическая разработка и совершенствование приемов внутренней реконструкции (Ю. Курилович и др.). При этом подчеркивается внутренняя взаимосвязь обоих направлений реконструкции и необходимость сопряжения их результатов [15].

Всего 15 лет Трубецкой проработал в Вене. Здесь он восстанавливал, точнее, писал заново текст «Праистории». Здесь он 12 раз читал, постоянно дорабатывая, курс сравнительной грамматики славянских языков и 8 раз курс старославянского языка. В каждом семестре он объявлял еще два-три курса истории русского и других славянских языков. В 1935 г. предложил своим слушателям специальный курс по истории праславянского языка. Все это свидетельствует о том, что работа над совершенствованием монографии о праславянском языке продолжалась до последних лет его жизни. В актив работы по реконструкции праславянского языка следует отнести и опыт реконструкции мертвого полабского языка [16].

С 1920 г. началась его регулярная переписка с Р. О. Якобсоном. В письмах детально обсуждались проблемы праславянского языка, истории русского и других славянских языков. Большую научную ценность имеет письмо, датированное февралем 1921 г. [4, с. 6–8]. Здесь подробно изложены план диссертации, включая содержание первой (фонетической) части, общее представление о праязыке и периодизации его истории [7, с. XV–XVII; 3, с. 505]. Как видно, Трубецкой поставил задачу преодоления «плоскостного характера» реконструируемого праязыка традиционной компаративистики. С его точки зрения, «общеславянский праязык» охватывает собою «целую эпоху», точнее — «цепочку эпох», начиная с праславянских диалектов эпохи распада праиндоевропейского праязыка, кончая последним фонетическим процессом, характерным для всех славянских языков и диалектов, процессом падения редуцированных [7, с. XVI]. Предложены первый опыт «динамической реконструкции» праязыка и первая периодизация истории реконструируемого праязыка. До этого да, пожалуй, и после, понятия «праязык» и «история» были несоместными.

Первый период охватывает, по Трубецкому, эпоху распада праиндоевропейского языка и обособление группы праславянских диалектов, в которых складываются специфические праславянские явления, в их от-

личии от других индоевропейских диалектов. Второй период охватывает эпоху «полного единства общеславянского праязыка». Третий период — «эпоха начала диалектного дробления». Четвертый период — эпоха стабилизации диалектных групп, прекращение действия общеславянских процессов.

Любопытно, что сходный подход к проблемам периодизации истории праславянского языка осуществил П. Бузук в своем небольшом очерке «Опыт истории доисторической эпохи славянской фонетики» [17], наметивший три периода истории праславянского языка: 1) эпоха преобладания общиндоевропейских изоглосс; 2) эпоха балто-славянских изоглосс; 3) эпоха собственно славянских изоглосс. Это — первые опыты истории праязыка. Праязык Трубецкого и Бузука впервые в науке, как и всякий язык, «получал» свою историю и к тому же ... диалектологию. Так ученики учеников Ф. Ф. Фортунатова выполнили его завет, правда, пока «в первом приближении», преодолевая антиномию классической компаративистики: любой язык имеет историю и диалектное членение, но реконструируемый язык восстанавливается как единый, диалектно нерасчлененный.

Последующие дискуссии по проблемам периодизации истории праславянского языка (А. Белич, Т. Лер-Сплавинский, Н. Дурново, Н. Ван-Вейк, А. Фурдаль, Х. Бирнбаум и др.) детализировали схемы Н. С. Трубецкого и позволили сформулировать представление о праславянском языке как изоглоссной области (Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, В. К. Журавлев) родственных диалектов, где в результате общей динамики изоглосс и изохрон могли стираться прежние диалектные различия либо формироваться новые, если движущаяся с юго-запада либо с запада изоглосса уже не могла преодолеть всю территорию прежней изоглоссной области. В этом плане особый интерес представляет статья Трубецкого «О звуковых изменениях русского языка и распаде общерусского языкового единства», опубликованная впервые на немецком языке в 1925 г. (см. [3, с. 143-167]).

Упрощенной концепции распада праязыка по модели «родословного древа» А. Шлейхера он противопоставил здесь сложную картину дивергентно-конвергентных процессов диалектного континуума, когда «конец дочерней языковой общности не всегда должен быть хронологически более поздним, чем конец материнской языковой общности» [3, с. 507]. Конечной или иной языковой общности, по Трубецкому, означает утрату возможности участвовать в общих языковых (прежде всего звуковых) изменениях. Последним общеславянским процессом Н. С. Трубецкой предложил считать процесс падения редуцированных. Он же является и последним общерусским (восточнославянским) процессом. Изоглосса падения редуцированных, рассекавшая Слaviю на диалекты, допускавшие лишь открытые слоги, п диалекты, имевшие как открытые, так и закрытые слоги, двигалась с юго-запада на северо-восток целых четыре столетия, с X по XIII в. [3, с. 507].

Письма [4] сохранили и подробный план диссертации (см. [3, с. 505—506, примеч. 20]). «Праисторию» Трубецкой собирался писать по «отделам», отдельно «Вокализм» и «Консонантизм», и главам, соответствующим четырем периодам. П е р и о д: до перехода $a \rightarrow o$. Сюда он относил: изменение $e \rightarrow o$ перед и; совпадение а и о в одном звуке; изменение $e \rightarrow i$ перед г, а также переход $s \rightarrow s^h \rightarrow x$, эволюцию среднеязычных и первую палатализацию и др. П е р и о д: от перехода $a \rightarrow o$ до перехода $jo \rightarrow je$. Сюда относятся $a \rightarrow o$; прогрессивное смягчение заднеязычных и др. П е р и о д: от перехода $jo \rightarrow je$ до смягчения согласных перед гласны-

ми переднего ряда (монофтонгизация дифтонгических сочетаний, йотация зубных и губных и др.). **IV п е р и о д:** от смягчения согласных до падения глухих. Диалектные различия начали обнаруживаться в III периоде, но только в IV периоде возник ряд особенностей, объединяющих все западнославянские диалекты в одну группу. Такой он представлял себе «Праисторию» в 1921—1925 гг. (см. письма Якобсону 1.2.1921 г. и Дурново 1.4.1925 г.). Тогда, в 1921—1925 гг., он оформлял наиболее интересные, с его точки зрения, фрагменты монографии в виде отдельных статей и публиковал в различных славистических журналах (см. [4, с. 24]): об акцентологии [7, с. 171—187], относительной хронологии праславянских фонетических процессов [7, с. 217—234], звуковых изменениях и распаде общерусского единства [3, с. 143—167], о носовых согласных в лехитских языках [3, с. 24—37] и др.

Из письма от 22.12.1926 г. мы узнаем, что Трубецкой решил основательно переработать «Предьсторию» [4, с. 100]. Новые перспективы, открывшиеся в связи с зарождением общей и исторической фонологии, заставили пересмотреть и план построения «Праистории». Теперь самому автору план «Праистории» уже «казался устаревшим», но тем не менее летом 1928 г. была переработана в статью еще одна глава «Праистории» [4, с. 115] — «Возникновение общезападнославянских особенностей в области консонантизма» [3, с. 180—195]. Таким образом, опубликованные статьи по праславянскому языку отражают еще дофонологическую концепцию исторической фонетики Н. С. Трубецкого.

Распределение материала по отдельным разделам — «Вокализм», «Консонантизм» — вполне традиционно. Такое распределение находим у А. Мейе и Г. А. Ильинского, Й. Микколы и П. Арумаа, а также почти во всех исторических и сравнительно-исторических грамматиках. При этом с неизбежностью выпадает из поля зрения исследователя естественная взаимосвязь между консонантизмом и вокализмом.

Однако именно отечественная наука о праславянском языке рано пришла к выводу (Фортунатов, Шахматов, Бодуэн де Куртенэ и др.) о том, что ключом ко всей внутренней истории праславянской фонетики является процесс взаимодействия между гласным и соседним согласным. Были сформулированы основные закономерности: 1) о раннем и последовательном смягчении всех согласных перед гласными переднего ряда (Фортунатов, Ягич); 2) о последовательном процессе лабиовеляризации предшествующих согласных перед прежними лабиализованными гласными (Шахматов) и, наконец, более общая закономерность: соседние тавтосиллабические звуки становились палатализованными или лабиовеляризованными [9]. Эти закономерности для раннего Трубецкого оставались в тени. А между тем достаточно было «переписать» эти положения в терминах фонологии, чтобы прийти к выводу о «мягкостной корреляции слогов» и слоговом сингармонизме в праславянском языке. Это и сделал Р. О. Якобсон в 1929 г., предпринявший первый опыт исторической фонологии [18].

Еще одно бесспорно важное положение науки о праславянском языке Н. С. Трубецкой оставил в тени. К тому времени постепенно складывалось представление о «законе открытых слогов» как «о движущем нерве» значительной части праславянских фонетических явлений. Уже Г. А. Ильинский в «Праславянской грамматике» 1916 г. уделил много внимания закону открытого слога [10, с. 82, 96, 106, 108, 114, 117, 157 и т. д.]. Й. Миккола в 1921 г. посвятил этому закону особую статью. Это фундаментальное положение, позволяющее найти взаимосвязь многих фонетических явлений праславянского языка, приписывается Н. Ван-Вейку. Ему удалось

к 1931 г. подвести почти все основные праславянские процессы под две основные тенденции (палатализации и восходящей звучности слога). Обе они «выросли» из вышеупомянутого положения А. А. Шахматова. Дальнейшее уточнение иерархии этих тенденций (П. С. Кузнецов) и установление взаимосвязи между ними (Ф. Мареш), уточнение понятий слогового сингармонизма (Е. Петрович) позволили выявить генезис этого явления (В. К. Журавлев) и представить развитие фонологической системы праславянского языка как цепь взаимосвязанных и взаимообусловленных явлений от сатемовой палатализации в протославянских диалектах индоевропейского языка до падения редуцированных уже в истории отдельных славянских языков [19]. Такой подход, позволяющий выявить строгую хронологическую иерархию фонетических законов, сам по себе не может учитывать реальную возможность диалектных различий в праязыковом состоянии. Усилиями И. А. Бодуэна де Куртенэ, Х. Педерсена, В. А. Богородицкого, С. М. Кульбакина, Г. А. Ильинского и других была установлена хронологическая иерархия большинства фонетических законов праславянского языка.

Бесспорная заслуга Н. С. Трубецкого состоит в том, что метод относительной хронологии он сопрягал с полидиалектной концепцией праязыка [3, с. 180]. Ученый поставил перед собой задачу «критически пересмотреть формулы всех „звуковых законов“ общеславянского праязыка, установить взаимную (относительную) хронологию изменения звуков...» [4, с. 447]. В отличие от своих предшественников, устанавливающих строгую последовательность процессов (А раньше В, С после В, С раньше Д), Н. С. Трубецкой допускал возможность иной последовательности в различных диалектах праславянского языка. Так, определенные процессы праславянского консонантизма у западных славян, по Трубецкому, шли в такой последовательности: А, В (одновременно), затем С → Д —* Е. У восточных и южных славян последовательность процессов была иной: А → С —^ В —^ Е, у восточных славян процесс Д шел позже Е (Е → Д), а у южных процесса Д не было [3, с. 183].

Сопряжение относительной хронологии и лингвистической географии наталкивается на серьезную теоретическую трудность. Если метод относительной хронологии опирается на постулат непреложности фонетических законов, то лингвистическая география сознательно сопротивляется этому учению, утверждая, что всякое отдельно взятое слово распространяется в своих собственных границах. Н. С. Трубецкой искал пути преодоления этой трудности, предложив дифференцировать три вида звуковых различий: фонологические, фонетические и этимологические [3, с. 32–33]. Недоверие к постулату непреложности фонетических законов может быть снято, если вслед за Трубецким различать фонетический и фонологический характер звуковых изменений [3, с. 32], т. е. собственно фонетический закон и последующие процессы фонологизации, морфологизации и социализации звуковых изменений. Таким образом, решение фундаментальных задач компаративистики нуждалось в фонологическом подходе к истории звуков [20].

Глубокая убежденность в наличии строгих закономерностей, внутренней логики языковой эволюции — характерная черта общенаучной концепции Трубецкого и мощный стимул разносторонних поисков этих закономерностей. С этим связана и реабилитация постулата о непреложности фонетических законов и концепция телеологичности (целенаправленности) языковых изменений и поиски цели изменений в системном устройстве языка. Споря с Соссюром, отвергавшим наличие лингвистических

законов, Трубецкой утверждал: «В истории языка многое кажется случайным, но успокаиваться на этом историк не имеет права: общие линии истории языка при сколь-нибудь внимательном и логическом размышлении всегда оказываются не случайными... Осмысленность эволюции языка прямо вытекает из того, что „язык есть система"... Соссюр не решился сделать логического вывода из своего же тезиса...» [4, с. 96—97]. К Соссюру восходит антиномия синхронии и диахронии: с его точки зрения, всеобщая взаимосвязь существует лишь в синхронии, исторические изменения носят случайный характер и «не имеют никакого отношения к системе языка» [21, с. 54]. Иное представление складывалось в школе Ф. Ф. Фортунатова. «История отдельного звука тесно и неразрывно связана с историей всей звуковой системы,— писал А. А. Шахматов еще в 1899 г.— Гомогенные факты обязаны своим происхождением той же самой общей причине в определенном периоде и не могут быть представлены отдельно, но лишь в связи с другими соответствующими явлениями» [22].

Много лет спустя, в апреле 1928 г., на I Международном съезде лингвистов Трубецкой и Якобсон сняли антиномию синхронной фонологии и диахронической фонетики: «Если мы хотим создать историю языка,— декларировали основоположники фонологии,— мы не должны ограничиваться изучением изолированных изменений. Необходимо рассматривать эти изменения как обусловленные системой, в которой они происходят» [23]. Трансформировался и предмет нашей науки: место истории изменений отдельных звуков занимает эволюция «...фонологической системы. Трубецкой был убежден, что фонологическая эволюция приобретает смысл, если используется для целесообразной перестройки системы... Многие фонетические изменения вызваны ... потребностью к созданию устойчивости ... к соответствию „структурным законам звуковой системы»» [24]. Четко выраженному телеологизму Трубецкого противопоставлялась в его время и противопоставляется до сих пор практика антропофонического объяснения звуковых изменений. Однако еще А. А. Шахматов в 1908 г. предупреждал: «Ошибочно было бы думать, что звуковые изменения вызываются физиологическими причинами» [25]. Величайшая заслуга Трубецкого заключается в том, что он впервые выдвинул и обосновал фундаментальное положение исторической фонологии: причины изменения данного звука следует искать в фонологической системе данного языка на данном этапе его развития.

Таким образом, насущные задачи дальнейшего совершенствования методов и приемов исторического языкознания настоятельно требовали уточнения понятий системы, системообразующих факторов.

Решению этой научной задачи высшего ранга и посвятил Н. С. Трубецкой последнее десятилетие своей жизни. В сотрудничестве с Р. О. Якобсоном к 1927 г. были сформулированы основные понятия фонологии (фонологическая система, оппозиция, корреляция и др.). В 1930 г. Трубецкой открыл понятие признака и явление маркированности фонологических оппозиций. Огромное общенаучное значение этого открытия М. Вельш [6, с. 26, 709] сравнивает с открытиями Архимеда и Ньютона. Позже Трубецкой разработал теорию нейтрализации оппозиций.

Н. С. Трубецкой «сделал множество блестящих открытий,— вспоминал Р. О. Якобсон,— но особого упоминания заслуживает его первая в мире попытка построить фонологическую классификацию гласных и, следовательно, получить типологию систем гласных для языков всего мира. Это поистине выдающиеся, глобальные открытия: недаром их сравнивали со знаменитой системой химических элементов Д. И. Менделеева» [21,

с. 56]. Речь идет о его первой публикации по фонологии «Общая теория фонологических систем вокализма» [24], опубликованной в 1929 г. в первом томе Трудов Пражского кружка. Возможность свести несколько десятков вокалических систем к минимальному числу типов позволила разглядеть некоторые закономерности их системного устройства (Systembildung), что, как надеялся Трубецкой, «будет иметь большое значение для истории языка и реконструкции» (см. письмо от 19.9. 1928 [4, с. 117]). Весьма показательно, что эти поиски наиболее общих закономерностей звуковых изменений, обусловленных фонологической системой, шли одновременно с опытом реконструкции фонологической системы мертвого полабского языка, с одной стороны, и синхронным описанием древнейшей системы старославянского (древнецерковнославянского) языка, с другой.

Новые достижения общетеоретического характера, обусловленные необходимостью совершенствования истории праславянского языка, принуждали пересматривать ранее написанные главы и фрагменты. Титаническая работа в области фонологии не засохла, но отодвигала на задний план «книгу жизни». Упорная переработка рукописи о праславянском языке продолжалась. Уже II Международному съезду славистов (Варшава, 1934) был предложен доклад «Депалатализация праславянских *e и *ě перед твердыми согласными в польском языке с точки зрения фонологии» [7, с. 292—295]. Не прекращалась работа и в области диахронической морфологии. Большой теоретический интерес представляют программные статьи 1937 г.— «Мысли о словацком склонении» и «О притяжательных прилагательных (possessiva) старославянского языка» [3, с. 210—228].

Продолжались и размышления о сущности праязыка. В 1937 г. опубликованы тезисы, а в 1939 г. вышел полный текст статьи «Мысли об индоевропейской проблеме» [3, с. 44—59]. В 1937 г. была написана небольшая статья «О предистории восточнокавказских языков». Полидиалектная концепция праязыка пространственно-временного континуума родственных диалектов, проблема сопряжения относительной хронологии и лингвистической географии возбуждали особый интерес Н. С. Трубецкого к лингвистическим атласам. Он был одним из инициаторов создания Славянского лингвистического атласа на I Международном съезде славистов. По инициативе Р. О. Якобсона и Н. С. Трубецкого состоялась Первая международная конференция фонологов (Reunion phonologique internationale) (Прага, 1930). С докладом «Фонология и лингвистическая география» выступил Н. С. Трубецкой [3, с. 31—36]. Содоклад «О фонологических языковых союзах» сделал Р. О. Якобсон. Расширенный вариант доклада последнего вскоре вышел отдельной книгой [26]. Тесная связь проблематики лингвистической географии с задачами совершенствования методов реконструкции праязыка особенно четко проявилась в этой работе Р. О. Якобсона. Не без влияния Н. С. Трубецкого он написал и издал более или менее полный очерк исторической фонологии древнейшего периода истории русского языка [18].

В этой работе Якобсон реконструировал для древнейшего состояния фонологической системы мягкостную корреляцию слогов. Однако ни в современных славянских, ни в других родственных языках, ни в индоевропейском языке такое явление не отмечалось. Для доказательства и следует обратиться к типологии, к фактам языков неродственных. Р. О. Якобсон показал, что сближение тембра смежных звуков, лежащее в основе слогового сингармонизма и мягкостной корреляции слогов,— одно из характернейших явлений так называемого Евразийского языкового союза. И не случайно, восторженно оценивая первую фоноло-

гическую работу Н. С. Трубецкого, Якобсон подчеркивал ее значение прежде всего для лингвистической типологии.

Наука о праславянском языке обогатилась материалом и методом типологии именно тогда, когда в европейской компаративистике типологические исследования противопоставлялись сравнительно-историческим (А. Мейе и др.). Последующие опыты динамической реконструкции фонологической системы праславянского языка потребовали уточнения понятий слогового сингармонизма и расширения опоры на типологические данные [27].

Следует подчеркнуть глубокое понимание Трубецким самой сущности типологических сопоставлений; для него недостаточно сопоставить отдельное явление со схожим явлением неродственного языка, он сопоставлял системы, фрагменты систем, отношения между членами систем.

Не прерывая работу в области истории праславянского языка и исторической фонетики славянских языков, Трубецкой сосредоточился в последние годы жизни на фонологических исследованиях. Он не только писал статьи и выступал с докладами на различных международных съездах, пропагандируя новую научную дисциплину, но вместе с Р. О. Якобсоном организовывал «рабочие группы» энтузиастов фонологии, составлял различные инструкции по сбору фонологического материала, «стандартному» описанию фонологических систем, разрабатывал принципы фонологических транскрипций и методы фонологических исследований, составлял проект фонологического вопросника для стран Европы и т. д.

В 1937 г. были сданы в печать «Основы фонологии». По словам Якобсона, книга включала в себя лишь одну из двух запланированных частей, но даже этот первый том не был закончен автором [21, с. 56]. В нем изложен понятийный аппарат фонологии, дано четкое представление о системном устройстве фонологического яруса языка, тщательно разработана типология оппозиций, корреляций, нейтрализации, систем вокализма и консонантизма. Очевидно, на этом фундаменте и предполагалось построить фонологию историческую, которая могла бы предложить методы выявления «логики звуковых изменений», предопределяемых самой фонологической системой. Все это, вероятно, предполагалось дополнить фонологической географией и морфологией. Естественно, задача реконструкции истории фонологической системы праславянского могла решаться лишь параллельно с формированием представления о фонологической системе и законах ее эволюции. При этом конкретный праславянский материал мог бы содействовать выявлению общих закономерностей и принципов исторической (диахронической) фонологии, а те в свою очередь помогали бы более углубленно осознать эволюцию праславянской фонологической системы. Реализовать эти грандиозные планы Н. С. Трубецкой не успел. Р. О. Якобсон неизменно стимулировал Трубецкого к занятиям фонологией и несколько раз договаривался с издательствами о публикации его «Истории праславянского языка», однако Трубецкой считал работу еще не законченной. Тогда Якобсон написал и издал свой собственный очерк истории праславянской фонологической системы [18], а позже изложил и основные принципы исторической фонологии. Однако эти пионерские труды Р. О. Якобсона все же были далеки от идеальных представлений Н. С. Трубецкого. Героем исторической фонологии Якобсона была оппозиция с ее мутациями, но уже в поздних публикациях по праславянскому языку Трубецкой оперирует сериями и корреляциями. Корреляция и «серия» станут основными «героями» диахронической фонологии А. Мартине. Только здесь встанет проблема «давления системы», но пока это лишь «давление» кор-

реляции или серии. «Краугольным камнем» общей фонологии Трубецкого является нейтрализация. Определить ее место и роль в фонологии диахронической, представить, наконец, систему стержнем фонологической эволюции — все это выпало на плечи нынешнего поколения фонологов (ср. [20]).

Вслед за диахронической фонологией должна создаваться диахроническая морфология. Некоторые заделы этой новой научной дисциплины уже имеются (В. И. Георгиев, Ф. В. Мареш, В. К. Журавлев и др.).

Подводя итог всему сказанному, можно утверждать, что главной «книгой жизни» Н. С. Трубецкого была книга об истории праславянского языка. Он работал над нею почти четверть века, большую половину своей жизни. Написать ее он не успел. Не успел написать и диахроническую фонологию, фундамент которой он построил своими «Основами фонологии». Не успел написать структурную морфологию, над которой, судя по письмам, «постоянно думал» и с увлечением работал в начале тридцатых годов. Многие из задуманного он не успел, многое из написанного пропало. Некоторые конкретные реконструкции фрагментов системы праславянского языка устарели. Предстоит «стыковка» реконструируемой истории праславянского языка с новейшими достижениями компаративистики [28]. Но осталось ощущение страсти и радости познания, неустанного поиска истины и все более и более совершенных методов и приемов реконструкции эволюционирующей системы языка. Создавая «многоярусное и выделенное здание» истории праславянского языка, он как бы «неожиданно» для самого себя формировал лингвистическое мировоззрение XX в. И в этом он, бесспорно, преуспел.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Troubetzkoy N. S. Grundzüge der Phonologie // TCLP. 1939. VII.*
2. *Troubetzkoy N. S. Ober eme neue Kritik des Phonembegriffes // Archiv für vergleichende Phonetik. Bd I. 3. B., 1937. S. 151.*
3. *Трубецкой Н. С. Избранные труды по фонологии. М., 1987.*
4. *Jakobson R. N. S. Trubetzkoy's letters and notes. The Hague; Paris, 1975.*
5. *N. S. Trubetzkoy's letters and notes / Prepared for publication by Jakobson R., with the assistance of Baran H., Ronen O. and Taylor M. Berlin; New York; Amsterdam, 1985.*
6. *Viel M. La notion de «marque» chez Troubetzkoy et Jakobson. Un episode de l'histoire de la pensee structurale. P., 1984.*
7. *Trubetzkoy N. S. Opera slavica minora linguistica. Wien, 1988. (Osterreichische Academie der Wissenschaften. Philos.-hist. Klasse. Sitzungsberichte. 509. Bd).*
8. *Horalek K. N. S. Trubetzkoy und die Phonologie des Urslawischen // Wiener slavischer Jahrbuch. 1959. № 7.*
9. *Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915 (Энциклопедия славянской филологии. I. Вып. 11).*
10. *Ильинский Г. А. Праславянская грамматика. Нежин, 1916.*
11. *Meillet A. Le slave commun. P., 1924.*
12. *Mikkola J. Urslawische Grammatik. Heidelberg, 1913—1950.*
13. *Журавлев В. К. Относительная хронология праславянских процессов по данным внешней и внутренней реконструкции // Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов. М., 1983.*
14. *Shevelov G. A prehistory of Slavic. Heidelberg, 1964.*
15. *Журавлев В. К. Внутренняя реконструкция // Теория лингвистической реконструкции. Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. М., 1988.*
16. *Trubetzkoy N. S. Polabische Studien. Wien; Leipzig, 1929.*
17. *Бузу к Л. А. Спроба гісторыі дагэстарычнай апохі славянскай фанетыш // Зап. аддзела гуман. навук Беларус. АН. Кн. 2: Працы кляса фшыялогі. Т. I. Мнск, 1928.*
18. *Jakobson R. O. Remarques sur revolution phonologique du russe comparee a celle des autres langues slaves // TCLP. 1929. II.*

19. Журавлев В. К. Развитие группового сингармонизма в праславянском языке. Минск, 1963.
20. Журавлев В. К. Диахроническая фонология. М., 1986. С. 29—33; 55—58; 198—203.
21. Якобсон Р. Избр. работы. М., 1985.
22. Шахматов А. А. [Отчет о присуждении премии Котляревского в 1898 г.] // Сб. ОРЯЗ. Т. 46. СПб., 1900. Рец. на кн: *Gebauer J. Historická mluvnice jazyka ceskeho*.
23. Theses presentees au I Congres International des linguistes // Actes I C I. L. Leiden, 1928. P. 85—86.
24. Troubetzkoy N. S. Zur allgemeinen Theorie der phonologischen Vokalsysteme // TCLP. 1929. I. S. 65.
25. Шахматов А. А. Курс истории русского языка. СПб., 1908. С. 11.
26. Якобсон Р. О. К характеристике Евразийского языкового союза. Париж, 1931.
27. Журавлев В. К. Некоторые теоретические и типологические предпосылки гипотезы о праславянских группифонемах // Сборник за филологичу и лингвистичу. Ка. 7. Нови Сад, 1965.
28. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и про то культуры. Ч. 1—11. Тбилиси, 1984.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 1990 г.

ЦВЕТКОВА М. Л.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛЬСКОЙ
РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

В начале семидесятых годов в польской лингвистической литературе заметно возросло количество работ, посвященных проблемам разговорного языка. Несмотря на их многочисленность, легко заметить, что они отражают прежде всего четыре основных аспекта изучения польской разговорной речи (далее — РР):

- I. Общеязыковедческий поиск места РР в структуре польского языка;
- II. Конкретные лингвистические исследования особенностей спонтанной речи на всех языковых уровнях;
- III. Прагмалингвистический аспект;
- IV. Социалингвистический аспект.

I. Среди работ, затрагивающих проблему места РР в структуре польского языка, можно выделить три типа исследований: о границах понятия РР, об отношении РР и диалектов и о языке радио- и телепередач. Все они различным образом связаны с определением статуса РР, ее содержанием и обозначением.

Термин «język potoczny» в польской лингвистической литературе вводится в 1953 г. З. Клеменевич [1], обозначая им разговорную разновидность общепольского языка, которая (в противоположность письменному языку) обладает специфическими просодическими и экстралингвистическими характеристиками. Сходного мнения придерживается А. Фурдаль [2, 3], который в рамках этого понятия разграничивает три его подтипа: устно-литературный, городской и народный.

Несколько иную классификацию предлагают С. Урбанчик [4] и А. и П. Вежицки [5]. Первый выделяет в рамках этноса общенародный язык и диалекты, разделив в свою очередь общенародный язык на письменный и устный. В конечном итоге Урбанчик определяет две формы существования языка — фоническую и графическую. А. и П. Вежицки несколько углубляют этот тезис, утверждая, что разница между письменным и устным языком основана не на разграничении звука и графического знака, а на соотношении двух подсистем в рамках этноса.

В польской лингвистике есть и сторонники приравнивания РР к стилю. Т. Скубаланка, например, предлагает все разновидности языка определять термином «стиль» [6], выделяя, таким образом, в современном народном польском языке три стиля: общепольский разговорный стиль, общепольский разговорный стиль и общепольский письменный стиль.

Первый предлагается разделить еще на типы — социальный, профессиональный, семейный и биологический. Кроме того, ею выделяются индивидуальные устные и индивидуальные письменные стили. Тем же автором вместе с Я. Мазуром введен термин «język potoczny regionalny» [7].

В монографии В. Згулковой используется термин «odmiana (wersja) mówiona języka» и его содержание включается в двойную оппозицию: с одной стороны, по отношению к региональным диалектам, а с другой — к письменному языку.

Спорным в польской лингвистической литературе по проблемам РР является вопрос о соотношении между РР и диалектами. В монографии Я. Мазура [9] утверждается, с одной стороны, что «język potoczny» имеет наддиалектный характер, а с другой, — что требования, выдвигаемые Е. А. Земской с целью отграничить РР от просторечия и диалектов, слишком «высокие», так как они удовлетворяют «лабораторно чистой» РР, в реальности встречающейся крайне редко.

Хотя большинство лингвистов и признает наддиалектный характер польской РР, они все-таки не принимают безоговорочно термин «РР» и продолжают искать дополнительно разъясняющие его слова (ср. большое разнообразие предлагаемых терминов: «język potoczny», «polszczyzna mówiona», «potoczny język regionalny», «odmiana mówiona języka», «ogólnopolski styl mówiony» и др.). Кроме того, наблюдается заметная тенденция изучать польскую РР по регионам и городам (ср. [10—24]). Это, вероятно, является, с одной стороны, результатом работы исследовательских групп, возникших с целью изучения регионального польского языка (первая группа такого типа была создана в шестидесятые годы в Варшаве, а в семидесятые годы они появились в Люблине, Катовице, Кракове, Щецине, Вроцлаве, Познани), а с другой стороны, обусловлено быстро протекающими социальными изменениями, вызывающими динамическую интерференцию диалектов и общепольского языка.

В польской лингвистической литературе значительное место занимают исследования языка радио- и телепередач как особой формы устного общения, которая по некоторым своим экстралингвистическим параметрам близка к РР. С конца 1976 г. группа во главе со З. Кужовой исследует особенности телевизионного языка [25—29]. Этой же группой разрабатываются два частотных словаря — словарь лексических и словарь синтаксических единиц. Сборник «Problemy badawcze języka radia i telewizji» [30] содержит статьи, посвященные языку радио- и телепередач.

II. Конкретные лингвистические исследования польской спонтанной речи на отдельных уровнях языковой структуры свидетельствуют о разной степени разработки ее фонетических, лексических и синтаксических особенностей. В меньшей мере изучены морфология и разговорный текст. Вопросы флексии в польской спонтанной речи затрагиваются вскользь при описании городской речи [31] (специально этой проблемой занималась лишь Т. Скубаланка, см. [32]).

Типология разговорных текстов разрабатывается польскими учеными в основном в чисто теоретическом плане [33—35]. Единственным крупным исследованием в этой области изучения РР является монография Я. Мазура [9], о которой уже шла речь. В ней автор рассматривает типичные структуры, не учитывая фонетические, морфологические и лексические различия регионального характера, и делает попытки вывести надрегиональные языковые элементы, задающие основные типологические характеристики РР. Мазур анализирует организацию и сегментирование разговорного текста и функциональную перспективу высказывания и

сравнивает разговорные, литературные и публицистические тексты. На основе полученных результатов он составляет перечень из 12 основных различий между РР и письменным языком и приходит к выводу, что РР' нужно рассматривать с двух точек зрения — с точки зрения структуры и с точки зрения функции. В структурном аспекте, по его мнению, разговорные тексты являются вариантом общенационального языка, отличающимся редуцированным составом форм и структур и своеобразной дистрибуцией последних. С функциональной точки зрения, однако, РР нужно считать стилистическим вариантом, применяемым в условиях неофициальных контактов, т. е. ситуационно обусловленным, который отличается как от основного варианта, так и от социальных и территориальных вариантов [9, с. 279].

В исследованиях фонетических особенностей польской РР намечаются два основных направления: общетеоретические и методологические проблемы и частные вопросы фонетики спонтанной речи. Первое направление представлено немногочисленными работами, касающимися статистических методов фонетических исследований [36] и основных различий между фонетикой устного произнесения подготовленного текста и фонетикой РР [37].

Изучение конкретных фонетических характеристик польской спонтанной речи сводится в основном к особенностям реализации согласных в интэрвокальной позиции [38—40] и редукции гласных в интерконсонантной позиции [41]. Просодические сигналы сегментирования разговорного текста кроме Я. Мазура [9] рассматривают в своих статьях А. Ропя и А. Русович [42] и К. Рудек-Дата [43]. Интересно отметить, что в некоторых польских исследованиях конкретные фонетические проблемы разработаны с учетом определенных экстралингвистических факторов (см. статьи о произношении интеллигенции г. Лодзи [44] и о фонетических различиях в речи двух его поколений [45]).

Исследования польской разговорной лексики можно разделить на две группы — посвященные, во-первых, традиционному изучению жаргонов и профессионализмов, во-вторых, теоретическому и практическому ограничению лексических единиц обиходной речи. К первой группе относятся статьи Я. Янасовой [46] и Р. Пшибыльской [47] о профессионализмах, а также Д. Бартоля [48] и С. Каня [49], в которых описаны соответственно жаргоны варшавских студентов и польских водителей машин.

Сборник статей [50] содержит доклады, представленные на конференции по вопросам лексики современного польского языка (Варшава, 1977 г.), где наряду с другими проблемами обсуждался и вопрос об определении разговорной лексики (см. [51, 52]). Та же проблема разрабатывается и в других работах [53, 54].

Синтаксису польской РР посвящено несколько монографий и большое количество статей. Первым крупным исследованием синтаксических особенностей спонтанной речи является появившаяся в 1975 г. работа К. Писарковой [55], где объектом изучения являются телефонные разговоры или, согласно классификации фрейбургского центра, так называемые «small talks». Автор обращается именно к ним по двум причинам: во-первых, в них почти не присутствуют паралингвистические элементы (если исключить тембр голоса, то в передаче информации не участвуют ни мимика, ни жест, ни третьи лица), и, во-вторых, они синтаксически отличаются в большей степени от всех остальных вариантов польской РР. Язык испытуемых К. Писаркова характеризует как устную версию польского литературного языка, а в региональном аспекте — как краковский вариант. В монографии подвергаются анализу лексические сигналы, сегмен-

тирующие разговорный текст, структура как простого, так и сложного высказывания, своеобразное использование местоимений и повторов. Полностью отсутствуют характеристики синтаксических функций интонации. Приложенные в конце работы разговорные тексты представляют собой выборки из собранного автором материала.

В своем исследовании К. Писаркова пыталась выявить тенденции, проявляющиеся в синтаксической структуре разговорного текста. По мнению автора, они обусловлены необходимостью поддерживать постоянный контакт между собеседниками и тесной связью между тем, что говорящий думает или чувствует в момент разговора, и тем, что он говорит, т. е. между предметом разговора и самим разговором [55, с. 155]. Благодаря этому при конкретной реализации коммуникативного акта обнаруживается отсутствие некоторых групп в простом предложении и некоторых типов придаточных предложений (в исследованном материале, например, придаточных определения и места). С другой стороны, в разговорном тексте присутствуют элементы, которые вовсе не употребляются или встречаются очень редко в письменном языке (модальные модификаторы, каузативные высказывания, мотивирующие вопрос, отказ, отрицание, эллиптические и незавершенные предложения, вставки и т. п.).

Простое высказывание К. Писаркова рассматривает с точки зрения формальных особенностей предикации (варьирование границ предложения, несамостоятельность реплик в диалоге, их самостоятельные эквиваленты) и модельного маркирования (синтаксическими модификаторами). Исследуя сложное высказывание, она останавливается на паратаксисе в его экспрессивной функции и на гипотаксисе в его импрессивной, дескриптивной и метатекстовой функциях.

В 1980 г. в Познани вышла из печати упомянутая уже монография Х. Згулкова [81. С точки зрения исследованного материала она представляет шаг вперед по сравнению с работой К. Писарковой, так как, с одной стороны, в нее включены не только «small talks», но и монологи, диалоги и дискуссии, а с другой стороны, информанты по своей территориальной принадлежности репрезентируют гораздо большую часть страны (Варшаву, Краков, Лодзь, Вроцлав, Великополье), что предполагает стирание индивидуальных и диалектных черт в их речи. В монографии говорится о составе и частотности употребления фиксированных предлогов, их комбинациях с разными частями речи с левой и с правой стороны и их синтаксических функциях в пределах словосочетаний. Основным методом исследования является статистический. Автор классифицирует предлоги на три группы по степени их употребляемости и рассматривает каждую из них с точки зрения формального и смыслового окружения. В конце монографии приведены результаты статистических исследований по следующим параметрам: части речи, с которыми отдельные предлоги чаще всего употребляются (справа — с. 106—107, слева — с. 114); слова, с которыми связывается самое большое число предлогов (справа — с. 109—111, слева — с. 115—116); конкретные предлоги и соответствующие падежи, с которыми они употребляются (с. 112—113).

В результате проведенного анализа Згулкова приходит к двум основным выводам: во-первых, нет большого разнообразия в употреблении предлогов в польской РР, и, во-вторых, предлог в польском языке является не словом, а морфемой, модифицирующей глагол в семантическом и синтаксическом плане. Относительное однообразие встречаемых в РР предлогов автор объясняет преимущественным использованием одного из существующих предлогов-синонимов.

В связи с изучением синтаксических проблем польской РР необходимо еще раз упомянуть монографию Я. Мазура [9]. В ней впервые кроме словных сигналов для сегментирования текста рассматриваются и просодические элементы высказывания (паузы и перерывы). Последние представлены в двух разновидностях: заполненные (звучанием) и незаполненные.

Рассматривая функциональную перспективу высказывания, Мазур пытается доказать, что 1) в изолированном предложении в польской и в русской РР порядок слов и степень динамичности высказывания определяются семантической основой его глубинной структуры; 2) порядок слов в польском и в русском языках не является свободным — в изолированном предложении он зависит от семантики аргументов (термин «аргумент» использован в значении, которое вкладывает в него Контрерас), а в предложении связного текста — от контекста и коммуникативной цели высказывания.

Кроме названных выше комплексных исследований по синтаксису польской РР нужно отметить еще и работы, посвященные отдельным частным проблемам, как, например, вопросу о функции местоимений в номинальных группах [56], об их поведении в роли подлежащего [57], об удвоении подлежащего в РР [58], об эллипсисе и повторах [59—61].

Синтаксис и методология исследования спонтанной речи стали предметом проведенной в 1975 г. в Люблине конференции. Вопросы, которые обсуждались там (характеристика разговорных текстов на фоне классификации коммуникативных актов, методологические аспекты коммуникативной ситуации разговора и др.), нашли отражение в сборнике статей [62].

III. Прагмалингвистических проблем в плане теории коммуникативных актов касаются в своих статьях главным образом А. Вежицка [63] и К. Писаркова [64]. Сравнивая синтаксис письменных и разговорных текстов, Писаркова приходит к выводу, что различия между ними имеют прагмалингвистический характер [65]. Самым значительным исследованием в этом направлении является диссертация Лабохи о способах выражения желания в современном польском языке [66, 67]. В ней автор рассматривает широкий спектр возможных структур, выражающих эксплицитно или имплицитно желание, требование, и вскрывает частичную социальную дифференциацию в способах их выражения.

IV. Социолингвистические аспекты польского языка достаточно широко разрабатываются как на страницах журнала «Socjolingwistyka», так и в отдельных трудах. Проведены исследования фонетической вариативности в речи жителей разных городов с учетом ее социологической обусловленности [68, 69]; сделана попытка представить социолингвистическую характеристику современного польского языка [70]. На примере некоторых больших городов изучены взаимосвязи и взаимообусловленность между социальными факторами и языковой дифференциацией [71, 72]. Изданы также труды более общего теоретического характера в области социолингвистики [73, 74], но поскольку они не связаны непосредственным образом с проблемами РР, мы на них здесь не будем останавливаться.

Из всего сказанного можно сделать заключение, что исследования польской РР проводятся почти во всех возможных направлениях. Исключением являются только суперсегментные характеристики и частично флексия. Естественно, степень разработанности отдельных проблем РР разная: если в области синтаксиса издано уже несколько крупных трудов, то исследований спонтанной речи в направлении от семантических категорий к их формальной реализации почти нет. По мнению Б. Дуная, существующие лакуны в изучении польской РР будут заполняться в буду-

шем дальнейшим описанием явлений спонтанной речи, их объяснением с точки зрения социальных факторов и решением прагматистических проблем [75, с. 62].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Klemensiewicz Z.* O rożnych odmianach współczesnej polszczyzny. Warszawa, 1953.
2. *Furdal A.* Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego. Wrocław, 1973.
3. *Furdal A.* Podział polskich dialektów miejskich // RKJW. 1966.
4. *Urbanczyk S.* Rozwój języka narodowego. Pojęcia i terminologia // Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich. Warszawa, 1956.
5. *Wierzbicki A. I P.* Praktyczna stylistyka. Warszawa, 1968.
6. *Skubalanka T.* Założenia analizy stylistycznej // Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa. Kraków, 1976.
7. *Skubalanka T., Mazur J.* Język potoczny miasteczek na południowej Lubelszczyźnie // Poradnik językowy. 1973. № 9.
8. *Zgoikowa II.* Funkcje syntaktyczne przyimków i wyrazów przyimkowych we współczesnej polszczyźnie mówionej. Poznań, 1980.
9. *Mazur J.* Organizacja tekstu potocznego (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego). Lublin, 1986.
10. *Klobus A.* Deminutywa, augmentatywa i ekspresywaw polszczyźnie mówionej mieszkańców Sieradza i okolicy // RKJL. 1985. T. 31.
11. *Dunaj B., Awdiejew A., Kowalik J., Kurek H., Ozog K.* Głównie założenia badań języka mówionego Krakowa i Nowej Huty // Socjolingwistyka. 1979. № 2.
12. *Studia nad polszczyznę mówioną Krakowa.* Warszawa; Kraków, 1981.
13. *Wybór tekstów języka mówionego mieszkańców Krakowa.* Kraków, 1979.
14. *Falińska B.* O języku inteligencji mazowieckiej pochodzenia chłopskiego // Współczesna polszczyzna. Warszawa, 1981.
15. *Karas M.* Jak jest z tymi gwarami miejskimi czy też miastowymi // Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań. Katowice, 1976.
16. *Krieger V.* Wyznaczniki składniowej segmentacji tekstu miejskiego języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia. Katowice, 1983.
17. *Kuc M.* Różnice środowiskowe w wymowie potocznej inteligencji w Łomżyńskim // Współczesna polszczyzna. Warszawa, 1981.
18. *Lubas W.* Badania nad językiem mówionym mieszkańców Katowic // Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań. Katowice, 1976.
19. *Lubas W.* Teksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia. T. I. Katowice, 1978. T. II. Cz. 1—2. Katowice, 1980.
20. *Perczyńska N.* Wybrane cechy składniowo-stylistyczne polszczyzny mówionej (na materiale gwary północnomazowieckiej wsi Szczutowo i okolic). Wrocław, 1975.
21. *Ozog K.* Powitania i pozegnania w języku mówionym mieszkańców Krakowa // JP. 1980. LX. № 2.
22. *Wroblewski P.* Regionalizmy w języku inteligencji białostockiej // Współczesna polszczyzna. Warszawa, 1981.
23. *Zariba A.* O zakresie i metodzie badań języka miast polskich // Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań. Katowice, 1976.
24. *Okoniowa J.* Polskie przyimki gwarowe (znaczenia przestrzenne i czasowe). Wrocław, 1987.
25. *Kurkowa Z.* Badania nad językiem telewizji polskiej. Warszawa, 1985.
26. *Miodunka W.* Elementy językowe w przekazach telewizyjnych // Zeszyty prasoznawcze. 1979. XX. Z. 1.
27. *Ropa A.* Próba klasyfikacji występujących w telewizji odmian języka // Zeszyty prasoznawcze. 1979. XX. Z. 1.
28. *Wesotowska D. N.* Monolog telewizyjny. Próba typologii // Zeszyty prasoznawcze. 1980. XXI. Z. 4.
29. *Kurkowa Z., Miodunka W.* Le langage de la television par rapport a la langue parlée et écrite // Biuletyn PTJ. 1983. XXXIX.
30. *Problemy badawcze języka radia i telewizji // Prace nauk. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.* 1981. № 427.
31. *Borek H.* Polszczyzna mówiona w Szczecinie (na podstawie badań sondazowych) // Zeszyty naukowe WSP w Szczecinie. 1975. Z. 13.
32. *Skubalanka T.* Fleksja potoczna i metody jej badania // Studia nad składnią, polszczyznę mówioną. Wrocław, 1978.
33. *Awdiejew A., Labocha J., Rudek K.* O typologii tekstów języka mówionego // Polonica. 1980. VI.

34. *Pisarcowa K.* O spójności tekstu mowionego // *Tekst i język. Problemy semantyczne.* Wrocław, 1974.
35. *Pisarkowa K.* O zależności między typem tekstu a jego strukturą, składniową // *Miejska polszczyzna niwoiona. Metodologia badań.* Katowice, 1976.
36. *Kurek H.* Proba zastosowania metod statystycznych do badania fonetyki języka mowionego mieszkańców Krakowa // *Studia nad polszczyzną mówioną* Krakowa. 1981. 1.
37. *Dunaj B.* Fonetyka języka czytanego a mowionego // *Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego.* Księga referatów ogólnopolskiej konferencji w Toruniu, 27–29 listopada 1978. Toruń, 1982.
38. *Dunaj B.* Realizacja spółgłosek w pozycji interwokalicznej w języku polskim // *Studia nad polszczyzną mowioną* Krakowa. 1981. 1.
39. *Dunaj B.* Realizacja spółgłosek w pozycji interwokalicznej, nagłosowej i wygłosowej, we współczesnej polszczyźnie mowionej // *Sprawozdania z posiedzeń Komisji naukowych PAN w Krakowie.* 1979. 1–111; 1981. T. XXIII/1.
40. *Dunaj B.* Zmiany w grupach spółgłoskowych współczesnej polszczyzny mowionej // *Sprawozdania z posiedzeń Komisji naukowych PAN w Krakowie.* 1981. 1–IV; 1983. T. XXV/1.
41. *Kania J. T.* Redukcja samogłosek w pozycji interkonsonantycznej we współczesnym języku polskim // *Prace filologiczne.* 1975. XXV.
42. *Ropa A., Rusowicz A.* Rola cech prozodycznych w segmentacji tekstu mowionego // *Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego: Księga referatów ogólnopolskiej konferencji w Toruniu, 27–29 listopada 1978.* Toruń, 1982.
43. *Rudek-Data K.* Pauza a przerwanie w wypowiedzi mowionej // *Studia nad polszczyzną mowioną* Krakowa. 1981. 1.
44. *Stieber Z.* Wymowa łódzkiej inteligencji // *JP.* 1946. XXVI. № 2.
45. *Pipczyńska J.* Różnice fonetyczne w mowie dwu pokoleń łódzian // *Rozprawy komisji językowej LTN.* 1978. XXIV.
46. *Janasowa J.* Słownictwo techniczne w akcie mowy // *Socjolingwistyka.* 1979. 2.
47. *Przybylska R.* Problem opisu i klasyfikacji słownictwa fachowego // *Studia nad polszczyzną mowioną* Krakowa. 1984. 2.
48. *Bartold.* O warszawskiej gwarze studenckiej // *Współczesna polszczyzna.* Warszawa, 1981.
49. *Kania S.* O polskiej gwarze szoferskiej // *Socjolingwistyka.* 1980. 3.
50. *Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego.* Wrocław, 1978.
51. *Buttler D.* Kategorie semantyczne leksyki potocznej // *Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego.* Wrocław, 1978.
52. *Lubas W.* Słownictwo kolokwialne i niekolokwialne. Proba definicji // *Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego.* Wrocław, 1978.
53. *Buttler D.* Polskie słownictwo potoczne // *Poradnik językowy.* 1977. № 3.
54. *Buttler D.* Polskie słownictwo potoczne // *Poradnik językowy.* 1978. № 1.
55. *Pisarkowa K.* Składnia rozmowy telefonicznej. Wrocław, 1975.
56. *Miodunka W.* Funkcje zaimków w grupach nominalnych współczesnej polszczyzny mowionej. Kraków, 1974.
57. *Pisarkowa K.* Zaimek w polskim zdaniu. 1: Obserwacje podmiotu zaimkowego w mowie potocznej // *JP.* 1967. XLVII. № 1.
58. *Poluszkiewicz M.* Podwajanie podmiotu — osobliwość języka mowionego // *JP.* 1971. LI. № 1.
59. *Grochowski M.* Czy zjawisko elipsy istnieje? // *Tekst i język. Problemy semantyczne.* Wrocław, 1974.
60. *Zarżbina M.* Nowe zastosowania elipsy (Z zagadnień współczesnego języka) // *JP.* 1970. L. № 3.
61. *Ampel T.* Elipsa i powtórzenie w żywej mowie // *Studia nad składnią polszczyzny mowionej.* Wrocław, 1978.
62. *Studia nad składnią polszczyzny mowionej: Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mowionego,* Lublin, 6–9.X, 1975. Wrocław, 1978.
63. *Wierzbicka A.* «Akty mowy» // *Semiotyka i struktura tekstu.* Wrocław, 1973.
64. *Pisarkowa K.* Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy // *Polonica.* 1976. 11.
65. *Pisarkowa K.* Pragmatyczny składnik kompetencji językowej // *Polonica.* 1975. 1.
66. *Labocha J.* Składnia zdania we współczesnej polszczyźnie mowionej. Kraków, 1980.
67. *Labocha J.* Składnia zdania w polszczyźnie mowionej // *JP.* 1981. LXI. № 1–2.
68. *Gawda E.* Z socjolingwistycznych badań nad wymową mieszkańców Wrocławia // *Socjolingwistyka.* 1980. 3.
69. *Piškowa R.* Socjologiczne uwarunkowania wariantowości fonetycznej w języku mowionym katowickim // *Socjolingwistyka.* 1979. 2.

70. *Kurkowska H.* Proba charakterystyki socjolingwistycznej współczesnego języka polskiego // *Współczesna polszczyzna*. Warszawa, 1981.
71. *Kluszczyńska J.* Zróżnicowanie społeczne a zróżnicowanie językowe w wielkiej aglomeracji miejskiej na przykładzie Łodzi // *Literatura i język Łodzi: Materiały z sesji naukowej w Muzeum Historii Miasta Łodzi*, 18—19.IV.1978. Łódź, 1978.
72. *Tęcza K.* Wpływ czynników społecznych na adaptację językową ludności wiejskiej w środowisku wielkomiejskim (na przykładzie Nowej Huty) // *Studia nad polszczyzną mówioną* Krakowa, 1981. 1.
73. *Lubas W.* Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Szkice socjolingwistyczne. Kraków, 1979.
74. *Piotrowski A., Ziolkowski M.* Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna. Warszawa, 1976.
75. *Dunaj B.* Research into the spoken language in Poland in the last decade with particular reference to Cracow // *Prace językoznawcze*. Z. 84: *Badania języka mówionego w Polsce i w Niemczech*. Kraków, 1986.

© 1990 г.

АНТИПОВА А. М.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ РЕЧЕВОГО РИТМА

В 70—80-е годы, период бурного развития лингвистики текста, вновь-внимание исследователей стали привлекать вопросы ритма. К этому времени наука накопила значительное количество фактов в разных областях знания (прежде всего в биологии), дающих основание полагать, что ритм является одной из основных форм существования материи наряду с временем и пространством [1].

Неслучайно возникло направление, рассматривающее речевой ритм, как общезыковую систему, организующую язык в целом, как систему, которая формируется всеми языковыми средствами [2]. При таком подходе к ритму идея иерархичности ритмической системы оказалась плодотворной.

Встал вопрос о крупных единицах ритма (синтагме, фразе, сверхфразовом единстве), проявился интерес к широкому исследованию просодических характеристик и их роли в ритмизации текста [3—6]. Многие исследования стали вестись с применением анализирующей и синтезирующей аппаратуры.

Смена объекта лингвистического анализа неизбежно приводит к изменениям в методике анализа и принципе подхода к изучаемому явлению. Принцип структурного подхода к изучению языка, господствовавший в исследованиях в 50—60-е годы, начал вытесняться принципом, который был разработан в исследовании Ю. С. Степанова [7] и назван им семиологическим.

Естественно, что между основными принципами анализа языка не может быть непроходимых границ. Одно направление дополняет другое, и методы одного направления не исключают использования методов другого, если это отвечает задачам исследования. Лингвистика текста поставила ряд проблем, связанных с ритмической организацией текста. Наиболее кардинальные из них следующие: проблема определения самого явления, проблема выявления единиц ритма и установление характера их взаимодействия, изучение функций ритма и др. Остановимся подробнее на перечисленных проблемах.

Понятие ритма. Широкое определение, отражающее сущность любого ритма — природного и механического, речевого и неречевого,— может быть сформулировано следующим образом: ритм есть периодичность сходных и соизмеримых явлений (единиц) во времени и в пространстве.

Данное определение нуждается в комментариях. Под соизмеримостью обычно понимают изохронность, временное однообразие, схожесть. Сле-

дует различать два вида изохронности: объективную, реально существующую, и субъективную, воспринимаемую. Вопрос о соотношении данных видов изохронности изучен крайне мало. Однако можно утверждать, что объективно неравные отрезки могут восприниматься как равные. Эксперименты Дж. О'Коннора [8, 9], А. Донована и Х. Дарвина [10] показывают, что существует различие в восприятии речевого и неречевого материала. В речевом материале разница между явлениями, воспринимаемыми как изохронные, больше, чем в неречевых.

Следует также уточнить понятие времени, о котором идет речь в определении ритма. Принято различать две категории времени: реальное и перцептивное (воспринимаемое). Перцептивное время формируется внутренними биологическими ритмами организма человека и есть условие сосуществования и смены человеческих ощущений и других психических актов субъекта. При анализе речевого ритма и определении изохронности периодических явлений исследователи прежде всего руководствуются показателями перцептивного времени.

Понимание ритма как периодичности сходных и соизмеряемых явлений во многом подготовлено исследованиями по восприятию неречевых сигналов, показавшими, что в определенных пределах временные различия игнорируются нашим восприятием. Пороговые границы восприятия пока не известны, но имеются данные, свидетельствующие о том, что с увеличением объема единицы увеличивается временная разница, которая игнорируется нашим восприятием [8—10].

В связи с приведенным выше определением ритма встает следующий вопрос: какими должны быть минимальные и максимальные интервалы между явлениями, чтобы периодический ряд был воспринят как ритмический? Лингвисты пока не ответили на этот вопрос. Опыты на неязыковом материале показали, что существуют два типа ритма: простой и групповой. Простой характеризуется повторением одного и того же явления через равные промежутки физического времени. Групповой ритм в свою очередь подразделяется на простой и сложный. Групповой ритм характеризуется как простой, если явления группируются по два с одинаковым интервалом между ними. Если в группу входит более чем два явления, то такой ритм можно назвать сложным групповым. Интервалы между явлениями могут быть равными и неравными.

При простом ритме минимальный интервал между явлениями равен 0,1 секунды, а максимальный 6—10 секундам. В случае сокращения данного минимального интервала явление воспринимается как биение, а не как ритмически организованное единство. Если временной интервал превышает максимальный порог, то выделенные элементы воспринимаются как изолированные [11].

По данным Т. Болтона [12], минимальный интервал равен 0,115 секунды, т. е. 520 ударам в минуту, максимальный — 1,58 секунды, т. е. 38 ударам в минуту. Данные по минимальному интервалу сходны у различных исследователей, а данные по максимальному интервалу значительно расходятся, что указывает на более расплывчатый характер верхней границы ритмизации. По-видимому, восприятие периодического ряда как ритмического зависит не только от расстояния между периодическими явлениями, но и от характера самих явлений. Б. М. Теплов [13] полагает, что наиболее благоприятной для ритмизации скоростью является скорость от 100 до 200 ударов в минуту. Субъективное ритмизирование не допускает менее 30 и более 500 ударов в минуту.

При групповом ритме длительность внутренних интервалов (внутри

групп) не должна превышать полторы-две секунды, в противном случае ощущение группового ритма терзается. Максимальная длительность внешних интервалов не должна превышать 7 секунд.

Длительность внутренних интервалов зависит от количества группированных явлений. Чем больше явление входит в группу, тем короче внутренние интервалы. По данным Пр. Фресса [11], при группировке пяти-семи явлений внутренние интервалы могут достигать 0,63 секунды, при группировке четырех — 1,2 и при группировке трех — 1,8 секунды.

Группировка явлений происходит за счет различных характеристик звука: высоты тона, громкости и длительности. Установлено, что если одно явление громче другого, то оно воспринимается как начальное в группе. Когда выделенность происходит за счет длительности, то наиболее длительное явление воспринимается как конечное в группе. Выделенность за счет высоты тона не имеет четко выраженных тенденций. Выделенные по высоте тона явления воспринимаются иногда как конечные, иногда как начальные. Часто при восприятии сложных звуков трудно определить, за счет чего выделено явление: за счет высоты тона, громкости или длительности. Более громкие и длительные звуки воспринимаются часто как более высокие, а более высокие в определенном диапазоне как более громкие [14].

Выше шла речь о простом и групповом ритме на уровне восприятия, т. е. явлениях, которые мы слышим и осознаем. Как же соотносятся типы ритма, объективно существующие, с теми, что мы слышим?

Опыты психологов на речевом материале показали, что интервалы, различие между которыми достигает 14,5%, воспринимаются как равные. И наоборот, одинаковые явления, которые располагаются через равные промежутки времени, воспринимаются как групповой ритмический ряд. Явления в таком ряду группируются по два. Примером такого объективно (физически) простого ритма, который воспринимается как групповой, может служить тиканье часов.

Для того чтобы ряд явлений был воспринят как простой ритмический ряд, интервалы между третьим, пятым, седьмым и т. д. сигналами должны быть увеличены до предела, при котором данный ряд будет воспринят как простой ритмический ряд [14].

Работы физиологов и акустиков в области ритма во многом послужили основой для выработки понятия речевого ритма. В ряде исследований [15—17] показано, что чувство ритма у человека связано с общей моторикой и является одним из устойчивых врожденных свойств. Это объясняется тем, что организм человека развивается и существует в ритме определенных физиологических явлений. Биологические ритмы различны по времени и характеру: от секундных до многодневных. Ритмична работа внутренних органов человека, ритм можно усмотреть в сокращении сердца, в дыхании, в смене периодов двигательной деятельности организма и т. д. Четкие ритмические процессы характеризуют и работу мозга [18, 19].

Когда мозг находится в состоянии покоя, относительно мало участков его работают синхронно. Когда же мозг находится в состоянии активности, многие участки мозга начинают работать синхронно [20, 21]. Слуховые стимулы легче и точнее определяются, если они носят периодический характер, т. е. организованы по определенному ритмическому образцу.

Переживание ритма сопряжено с некоторой специфической активностью, со своеобразным ощущением деятельности. Такую деятельность, связанную с переживанием ритма, мы ощущаем при слушании музыки, особенно ритмичной. Чем сильнее переживание ритма, тем скорее мы на-

чинаем ощущать физическую усталость. Двигательные ощущения часто являются необходимым условием установления ритмического восприятия. Когда же восприятие установлено, оно может поддерживаться в сознании без двигательных ощущений.

Исследования У. Кондона и Л. Сандерса показали, что движения здорового новорожденного ребенка обнаруживают много общего с ритмической организацией его будущего языка [17]. К моменту, когда ребенок должен заговорить, у него уже складывается система речевых форм, в том числе ритмических. По наблюдениям Торри [22], существует тесная связь между речью человека и его манерой ходить. Каждый ходит и говорит по-своему.

Исследования Л. С. Выготского [23] помогли установить взаимосвязь дыхания и ритма конкретного произведения. Каждый читаемый текст, по утверждению Л. С. Выготского, имеет свою систему дыхания, которая приспособляется к речи. Писатель творит не только ритмы слов, но и дыхания. А каждой системе дыхания и ритма отвечает строй определенных эмоций, и этот эмоциональный фон сходен с тем, что переживал сочинитель. По свидетельству В. Маяковского [24], многие свои стихи он творил в процессе размеренной ходьбы. Сначала возникал общий ритм произведения, а потом уже подбирались слова.

Понятие речевого ритма складывалось постепенно и во многом неотделимо от тех представлений о ритме, которые бытовали в других науках. В этой связи интересно исследование, проведенное Э. Бенвенистом [25], где показана история становления понятия «ритм».

В лингвистических исследованиях можно найти множество определенных речевого ритма. Из всего этого многообразия выделяются две группы, два типа, которые не противоречат друг другу, но акцентируют различные аспекты этого сложного явления: одни исследователи видят сущность ритма в чередовании разнотипных явлений, другие в периодичности сходных и соизмеримых явлений.

Понимание ритма как чередования ударных и безударных слогов широко распространено среди исследователей стихотворной речи. В тех случаях, когда объектом исследования является текст, речевой ритм рассматривается как иерархия ритмов и в основу понимания ритма кладется периодичность в иерархии. В связи с этим встает вопрос о том, что же образует эту периодичность, какие речевые сегменты являются или могут являться ритмическими единицами. Вопрос о единицах речевого ритма рационально рассмотреть раздельно для стиха и прозы.

Единицы ритма стихотворной речи. По поводу ритмических единиц стиха в литературе в разное время высказано множество точек зрения. Одни исследователи стремились найти основную единицу стиха, другие — рассматривать стих как иерархию ритмов, обнаруживая в стихе несколько ритмических единиц. В качестве мельчайшей единицы стиха выдвигается слог [26—28]. Довольно распространенным является мнение о том, что основной единицей стиха следует считать стопу [29, 30]. Еще со времени появления работ Ф. Зарана и Э. Зиверса [31, 32] строка принимается почти всеми исследователями за единицу ритма стиха [33—44]. Э. Скрипчур [45] отрицательно относится к идее деления строки на стопы и слоги, поскольку строка представляет собой единый речевой поток. В строке, по мнению Э. Скрипчура, выделяются центральные части, которые он называет центроидами. Выделенность достигается за счет интенсивности, времени и частоты основного тона. Идея центроидов перекликается с идеями А. М. Пешковского о «сильном» центре в прозе.

Длинные строки распадаются на синтагмы, которые также могут быть рассмотрены как единицы ритма [46]. Единицей ритма более высокого порядка, чем строка, признается строфа [47, 48], а в нестрофическом стихе — интонационный период [49]. Некоторые исследователи предлагают рассматривать ритм стиха как иерархию ритмов [50—52]. Из сказанного ясно, что даже по такому кардинальному вопросу, как сущность единицы ритма стиха, который и является центральным как для литературоведа, так и лингвиста, нет единого мнения. Единственно, в чем единодушны почти все исследователи, — это в признании строки основной единицей стиха.

Итак, анализ литературных источников дает основание полагать, что в стихотворной речи роль ритмических единиц могут выполнять слог, ритмическая группа, синтагма, строка, строфа (период). Ведущей единицей стиха, по-видимому, следует считать строку.

Единицы ритма прозаической речи. Прозаическая речь четко противопоставлена стихотворной. Различия между ритмической организацией стиха и прозы легко осознаются. По-видимому, поэтому многие исследования, связанные с ритмом прозы, велись и ведутся в сопоставительном плане.

В британской лингвистике распространено мнение, которое четко сформулировано Д. Аберкромби [53]. Стих — ритмичен и метричен, проза — ритмична. Согласно данной точке зрения, признаются ритмичными обе категории речи, а метр объявляется принадлежностью стиха. В таком понимании сути сходства и различия стиха и прозы привлекает простота и четкость позиции. Однако неясным остается вопрос о неметричности стиха. По-видимому, неметрический стих вообще не берется в расчет.

Русскими лингвистами также делались попытки установить общие единицы для стиха и прозы. В качестве таких единиц выдвигаются стопа и ритмическая группа. Понятие стопы получило объяснение и развитие в работах А. Белого [29] и его последователей, понятие ритмической группы наиболее четко представлено в исследованиях Л. Тимофеева [49]. Д. Маккол [54] и А. Класс [27] видят принципиальное различие между ритмом стиха и прозы в том, что в стихе ритм выступает на первое место, в прозе же ритм отодвигается на второе.

А. М. Пешковский в 1925 г. утверждал, что стих и проза ритмичны, но ритмичны на разный манер. Он усматривает основу стихотворного ритма в урегулировании числа безударных слогов в такте и основу прозаического ритма в урегулировании числа тактов в синтагме (фонетическом предложении). Колебание в количестве тактов (ритмических групп) тесно связано с содержанием. Число тактов — это число знаменательных слов (см. [26]). Двумя годами позже А. М. Пешковский писал: «Сущности же ритмических форм прозы я ишу в урегулированном чередовании слабых и сильных тактов (то есть в нормировании числа слабых фонетических предложений, объединенных одним сильным фонетическим предложением, составляющим ударный центр того, что я называю „фонетическим целым“»)» [55, с. 45]. Эта идея «сильного» центра, вокруг которого формируются более слабые формы, разрабатывается во многих работах, связанных с семантическим анализом текста; она практически не получила развития в работах по ритму, хотя сама по себе представляется очень простой и очевидной.

Л. И. Тимофеев [46, 49] считает основным и постоянным признаком стихотворного ритма ударение в конце строки (константу). Ритм, по мнению Л. И. Тимофеева, присущ только стиху, а проза характеризуется ритмичностью. Н. Ашукин [56] и А. Липский [57] защищают идею ритмичности всех видов прозы, включая разговорную. Среди исследователей ритма устной речи эта идея находит поддержку.

Основополагающими в области выявления ритмических единиц стиха и прозы можно считать работы А. М. Пешковского. В книге [26] он рассматривает слог как мельчайшую единицу ритма и как более крупные — ритмическую группу (такт), фонетическое предложение и фонетический период¹. В более поздней работе [58] А. М. Пешковский успешно применяет свою теорию при анализе произведений И. С. Тургенева.

Значительный вклад в разработку вопроса ритмических единиц прозы внесли работы Н. В. Черемисиной [59], показавшей на материале русского языка сходность просодического оформления синтагмы и фразы, а также их периодичность. Тем самым Н. В. Черемисина обосновала возможность рассмотрения синтагмы и фразы как ритмических единиц.

Таким образом, в различное время и различными исследователями выдвигалась идея возможности рассмотрения практически всех речевых сегментов как ритмических единиц. Идея иерархии ритмов прозы также находила поддержку у ряда лингвистов [26, 55—59].

Итак, в основе ритмической иерархии прозы лежит ритмическая группа. Далее идут синтагмы, фраза, сверхфразовое единство². Сходность перечисленных единиц одного уровня может быть выражена через лексико-синтаксическую и просодическую структуры. Анализ возможностей передачи сходности лексико-синтаксическими средствами проведен В. М. Жирмунским [60], который показал, что различные лексические и синтаксические повторы создают в прозе периодичность и эта периодичность служит средством художественного воздействия. Роль просодии в создании сходности единиц одного уровня показана в исследованиях фонетистов [2, 6, 59].

Автор настоящего обзора придерживается мнения, что своеобразной ритмической единицей в прозаическом тексте может служить и так называемая ступень. Ступень—объединение синтагм (обычно двух-трех), в котором последующая синтагма располагается на более низком тональном уровне по сравнению с предыдущей. Последующее повышение (начало следующей ступени) происходит обычно на тех синтагмах, которые начинают относительно самостоятельные синтаксические единицы: речь идет о придаточных предложениях, перечислениях, различных оборотах. Если рассмотреть это явление в тексте, то становится ясным, что объединяющиеся синтагмы или односинтагменные фразы образуют некие смысловые единства, и этому способствует не только синтаксис, но и ступенчато-нисходящее расположение синтагм (фраз).

Ступени образуют периодичность. Просодическая сходность ступеней выражается в том, что начало каждой ступени всегда выше конца предыдущей и сама ступень обладает нисходяще-ступенчатым тональным построением. Тенденция к изохронности на уровне ступени выражена слабее, чем в ритмической группе или сверхфразовом единстве, но сильнее, чем в синтагме. Таким образом, периодичность ступеней составляет некий постоянный фон, на котором развертывается периодичность других ритмических единиц, меньших по длительности или больших,¹ чем сама ступень [2].

¹ Понятие «фонетического предложения» практически совпадает с понятием синтагмы, если под синтагмой понимать просодически оформленное единство. Понятие интонационного целого, как и понятие фонетического периода, более расплывчато. Однако представляется, что данные понятия соотносятся с понятием сверхфразового единства — единицы, по размеру превышающей фразу и объединенной единым смыслом.

² В больших текстах возможно появление и более крупных единиц, например, абзаца.

Исследования в области ритмической организации спонтанно-диалогической речи [61, 62] показали, что спонтанная диалогическая речь богата разнообразными формами ритма. Одни формы образуют четкую регулярность, другие отличаются вариативностью. Наиболее четкая регулярность прослеживается на уровне ритмических групп, акцентированных резким изменением тона (чаще нисходящим).

Ритм спонтанной диалогической речи формируется не только за счет регулярности ритмических групп, но и синтагм, отчасти фраз, ступеней, чередования фонационных и паузных отрезков, а также сверхфразовых единств.

Перечисленные ритмические единицы могут обладать различной степенью регулярности. По-видимому, эта регулярность определяется не только типом диалога, темой, ситуацией общения, но и темпераментом и настроением говорящих. Сложное переплетение ритмических форм спонтанного диалога, их постоянное движение от большей регулярности к меньшей и наоборот создают необычайно гибкий и богатый ритмический строй.

Сравнительный анализ ритмической организации письменных (научных и художественно-описательных) и устных (спонтанно-диалогических) текстов дает возможность увидеть как общие черты ритма, присущие прозе, так и черты различия, которые предопределены условиями коммуникации.

В ритмической системе всех прозаических текстов можно выделить пять ритмических единиц: ритмическую группу, синтагму, фразу, ступень и сверхфразовое единство. Однако следует отметить, что характер этих единиц видоизменяется в зависимости от характера текста. Так, в спонтанной речи часто встречается неполная синтагма, которая практически отсутствует в письменном тексте. В спонтанной речи фраза нередко совпадает с репликой, а деление на сверхфразовые единства более четко проявляется в письменных текстах.

Ведущими ритмическими единицами в письменных текстах, по-видимому, являются: ритмическая группа, синтагма и сверхфразовое единство.

В спонтанной речи также наблюдается регулярная смена фонационных и паузальных отрывков. Наибольшая регулярность подобной смены проявляется в том, что в спонтанной речи ярче обнаруживается тенденция к уравниванию временной длительности пауз и фонационных отрезков, что находит отражение в общем соотношении времени фонации и пауз, а также в тенденции чередовать короткие фонационные отрезки с длинными паузами и, наоборот, длинные фонационные отрезки с короткими паузами.

Письменные тексты отличаются стабильностью ритмов. Для спонтанных текстов характерна смена ритмов.

Различия в характере ритмической организации письменных и устных текстов основаны также на различии просодических средств, используемых в текстах. Так, в спонтанной речи нисходящие тоны характеризуются большей вариативностью, чем нисходящие тоны письменных текстов. В сравниваемых текстах различия проявляются и в размерах (длительности) синтагм, и их просодическом оформлении. В письменных текстах синтагмы длиннее, характеризуются дугообразным нисходящим мелодическим контуром. В устных текстах синтагма короче, характеризуется более изрезанным мелодическим контуром [2].

Функции ритма. Как отмечается во многих исследованиях по ритму, одной из важнейших сторон речевого ритма является его способность объединять элементы ритмической системы. Эта способность во многом

обусловлена иерархическим характером ритмической системы. Отсюда вытекает одна из основных функций ритма — организующая. Эта способность ритма проявляется как на уровне отдельной единицы, так и текста и заключается в способности меньших отрезков формировать большие и больших отрезков объединять меньшие. Единство ритмических импульсов, иными словами, стабильность ритма является признаком целостности текста или его частей. Смена ритмов способствует отчленению частей текста друг от друга. Объединяющая способность ритма предполагает и противоположную способность этого явления — разъединять части целого. «*» Объединяющая функция ритма ощутима особенно четко при сравнении речи здоровых людей и людей, страдающих некоторыми формами церебрального расстройства [63, 15]. Речь последних по своей организации напоминает формы механического ритма, т. е. организации, при которой повторяющийся сегмент не является варьирующей значимой единицей, а превращается в некий элемент, дробящий временной континуум.

Это диалектическое единство противоположных функциональных проявлений ритма обеспечивается двумя взаимосвязанными факторами: стабильностью и сменой ритмов. Последние могут быть рассмотрены как средства осуществления организующей функции, свойственной ритму.

Предсказуемость в языке основана на периодичности. Степень предсказуемости определяется степенью связанности явлений и их регулярностью. Наибольшая регулярность единиц ритма обнаруживается в стихе, поэтому именно в стихотворной речи предсказуемость единиц, их ожидаемость особенно велики. В силу этого ритм не только организует явление (текст), но и способствует его разворачиванию, движению. Ритм не только результат движения, но и само движение [35].

Если стабильность и смена ритмов являются средствами, выполняющими организующую функцию, то через разную степень четкости периодических речевых явлений осуществляется другая функция ритма, которую можно назвать эмоционально-эстетической. Четкость ритма прежде всего обусловлена временной соизмеримостью, которая является регулятором ритма. Четкость периодического ряда оказывает эмоционально-эстетическое воздействие на человека. По-видимому, это воздействие имеет наибольшую величину тогда, когда речевые ритмы находятся в гармонии с биологическими ритмами человеческого организма.

Эмоционально-эстетическая функция ритма проявляется и в прозе. Она выражается в том, что правильно организованная с точки зрения ритма речь воспринимается легко и не вызывает чувства неловкости или затрудненного восприятия. Наличие ритма в прозе осознается тогда, когда нарушается правильность ритмической организации речи либо в сторону увеличения, либо уменьшения четкости ритма и как прямое следствие этого затрудняется ее адекватное восприятие.

Следует отметить, что большинство лингвистов, занимающихся речевым ритмом, исходят из языковой формы, анализ которой ведется с учетом содержательной (смысловой) стороны, а иногда и вне связи со смыслом.

Для русской лингвистической школы характерно обращение к содержательной стороне анализируемого явления. Мощная традиция, созданная работами А. М. Пешковского [26, 55], Б. М. Эйхенбаума [64], Л. И. Тимофеева [49], А. Белого [33], Б. Томашевского [37] и др., не могла не оказать влияния на последующие работы в области речевого ритма [65—68]. Даже в исследовании метра сделаны смелые попытки увязать определенную метрическую организацию с широким, но тем не менее ограниченным кругом образов и сюжетов [69, 70].

В последнее десятилетие исследователи все чаще обращаются к изучению периодичностей в смысловой организации текста. Так, было замечено, что в текстах различной стилиевой направленности информативно нагруженные синтагмы (фразы) чередуются с информативно избыточными. Информативно нагруженные синтагмы (фразы) тяготеют к маргинальным частям текста или сверхфразовых единиц текста. Явление это отмечено не только для прозы, но и для стиха [71—73]. Существует периодичность и в употреблении эмоционально-насыщенных синтагм (фраз), которые чередуются с эмоционально-нейтральными синтагмами (фразами). Эмоционально насыщенные части текста сопровождаются большей жестикующей и более выразительной мимикой, иными словами, в акте коммуникации наблюдается и своеобразная периодичность в употреблении невербальных средств общения [74].

Следует упомянуть еще одно направление в изучении ритма, представленное работами В. В. Налимова и Ж. А. Дрогалиной. Оно кажется интересным и перспективным, т. к. связано теснейшим образом с другими науками о человеке и могло бы привести к положительным результатам в раскрытии тайны вербального и невербального мышления. Делается попытка подойти к проблеме ритма как бы изнутри, со стороны единства передаваемого образа и через изучение значения слова в ритмической речи (прежде всего стихотворной), размытости значений слов, слияния их в континуальный поток образов.

Ритм рассматривается как связующая составляющая между континуальностью мышления и дискретностью языка. Ритм открыт непосредственному восприятию теми возможностями постижения, которые обращены прямо к континуальным образам [75].

Примечательно, что исследования ритма в аспекте плана содержания получают в последнее время широкое распространение [68, 76, 77].

Заканчивая обзор исследований по речевому ритму, хотелось бы отметить, что дальнейшая перспектива в изучении этого сложного явления видится прежде всего в системном подходе к ритму, в сопоставительном анализе ритмической организации различных языков и групп языков, сравнительном изучении речевых и неречевых ритмов. Наиболее ценными видятся здесь комплексные работы по ритму, в центре внимания которых стоит человек как объект исследования. Начало таким работам положено.

В настоящей статье дан краткий обзор главных проблем, по которым ведутся исследования речевого ритма, в основном на материале русского и английского языков. В статье не нашли освещения такие области в изучении ритма, как сравнительное изучение речевых и неречевых (прежде всего музыкального и биологического) ритмов, речевых ритмов и ритмов в системе невербальных средств коммуникации, ритма и симметрии и ряд других. По перечисленным вопросам имеется богатая литература, и ее обзор может стать предметом отдельной статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1" Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
2. А. М. Аитипова. Ритмическая система английского языка. М., 1984.
3. Adams C. English speech rhythm and the foreign learner. The Hague; Paris; New York, 1979.
4. Cooper-Kuhlén E. An introduction to English prosody. Ch. 3: Rhythm. Tübingen, 1986. P. 51—62.
5. Иванова-Лукьянова Г. И. О ритме прозы У/ Развитие фонетики современного русского языка. Фонологические подсистемы. М., 1971.

6. *Климов Н. Д.* О понятии неупорядоченного ритма // Общение: структура и процесс. М., 1982.
7. *Степанов Ю. С.* Семиологический принцип описания языка // Принципы описания языков мира. М., 1976.
8. *O'Connor I. D.* The perception of time intervals // Progress report. L., 1965.
9. *O'Connor I. D.* The duration of the foot in relation to the number of component sound-segments // Progress report. L., 1968.
10. *Donovan A., Darwin C.* The perceived rhythm of speech // Proc. of the 9-th Intern. Congr. of phonetic sciences. V. 2. Copenhagen, 1979.
11. *Fraisse P.* Psychologie du rythme. P., 1974.
12. *Bolton T. L.* Rhythm // American journal of psychology. 1894. 6.
13. *Тенлоэ Б. М.* Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.
14. *Chatman S.* A theory of meter. London; The Hague, Paris, 1965.
15. *Green M.* The voice and its disorder. L., 1964.
16. *Samarin W. J.* Glossolalia as regressive speech // Language and speech. 1973. 1.
17. *Condon W. Sanders L.* Synchrony demonstrated between movements of neonate and adult speech // Child development. 1974. 45.
18. *Гусельников В. И., Ступин Я.* Ритмическая активность головного мозга. М., 1968.
19. *Бюнинг Э.* Ритмы биологических процессов. М., 1961.
20. *Ливанов М. Н., Холодов Ю. А.* Пространственная синхронизация мозговых ритмов // Наука и человечество. М., 1974.
21. *Бехтерева Н. П.* Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека. 2-е изд. М.; Л., 1974.
22. *Torii T.* Walking, breathing and speech. A guide-book for the Third World Congress of phoneticians. Tokyo, 1976.
23. *Выготский Л. С.* О влиянии речевого ритма на дыхание // Проблемы современной психологии. Л., 1926.
24. *Маяковский В.* В мастерской стиха // Новый Леф. 1926. Кн. 8—9.
25. *Бенвенист Э.* Понятие «ритм» в его языковом выражении // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
26. *Пешковский А. М.* Стихи и проза с лингвистической точки зрения. Л.; М., 1925.
27. *Classe A.* The rhythm of English prose. Oxford, 1939.
28. *De Groot A. W.* Phonetics in its relation to aesthetics // Manual of phonetics / Ed. by Kaiser L. Amsterdam, 1957.
29. *Белый А.* Символизм. Книга статей. М., 1910. С. 639.
30. *Boulton M.* The anatomy of prose. L., 1968.
31. *Saran F.* Deutsche Verslehre. München, 1907.
32. *Sievers E. von.* Rhythmisch-melodische Studien: Verträge und Aufsätze. Heidelberg, 1912.
33. *Белый А.* Ритм как диалектика и «Медный всадник». Исследование. М., 1931.
34. *Брюсов В.* Об одном вопросе ритма // Аполлон. 1910. II.
35. *Брик О. М.* Ритм и синтаксис // Новый Леф. 1927. 3.
36. *Жирмунский В. М.* Мелодика стиха // Мысль. 1922. 5.
37. *Томашевский Б. В.* Стих и ритм // Поэтика. Л., 1928.
38. *Verrier P.* La mesure des durees rythmiques dans le vers // Revue de phonetique. 1912. 2.
39. *Snell A.* Pause: a study of its nature and its rhythmic functions in verse, especially blank verse. Ann Arbor, 1918.
40. *Morris A. R.* The orchestration of the metrical line. Ann Arbor, 1923.
41. *Halle M., Keyser L.* English stress, its form, its growth, and role in verse. New York; Evanston; London, 1971.
42. *Kiparsky P.* The rhythmic structure of English verse // Linguistic inquiry. 1977. 8.
43. *Chisholm D.* Generative prosody and English verse // Poetics. 1977. 6.
44. *Leberman M., Prince A.* On stress and linguistic rhythm // Linguistic inquiry. 1977. 8.
45. *Scripture E. W.* The physical nature of verse // Nature. 1924. 64.
46. *Тимофеев Л. И.* Теория стиха. М., 1939.
47. *Томашевский Б. В.* Стих и язык. М., 1959.
48. *Schramm W.* Approaches to a science of English verse. Iowa city, 1935.
49. *Тимофеев Л. И.* Ритм стиха и ритм прозы // На литературном посту. 1928. 19.
50. *Attridge D.* The rhythm of English poetry. L.; N. Y., 1987.
51. *Гаспаров М. Л.* Современный русский стих: метрика и ритмика. М., 1974.
52. *Fowler V.* Prose rhythm and metre // Fowler R. Essays on style and language. Oxford, 1966.
53. *Abercrombie D. A.* A phonetician's view of verse structure // Linguistics. 1964. 6.
54. *Maccoll D. S.* Rhythm in English verse, prose and speech // Essays and Studies. 1914. 5.

55. *Пешковский А. М.* Принципы и приемы стилистического анализа и оценки художественной прозы // *Are Poetica*. М., 1927.
56. *Аиукин Н.* О ритме и фабуле в прозе // *Жизнь*. 1922. 2.
57. *Lipsky A.* Rhythm as a distinguishing characteristic of prose style // *Archives of psychology*. 1907. 4.
58. *Пешковский А. М.* Ритмика «стихотворений в прозе» Тургенева // *Русская речь*. Л., 1928.
59. *Черемшина Н. В.* Ритм и интонация русской художественной речи: Дис. ... докт. филол. наук. М., 1971.
60. *Жирмунский В. М.* О ритмической прозе // *Русская литература*. 1966. 4.
61. *Бурая Е. А.* Роль просодии в формировании ритма спонтанной диалогической речи (на материале английского языка) // *Сб. науч. трудов. МГПИИЯ им. М. Горька*. 1982. Вып. 196.
62. *Гоголадзе Т. А.* Фонетическая организация разновидностей английской спонтанной разговорной речи: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1984.
63. *Винарская Е. Н.* Раннее речевое развитие ребенка и проблемы дефектологии. М., 1987.
64. *Эйхенбаум Б. М.* Мелодика русского лирического стиха // *Эйхенбаум Б. М.* О поэзии. Л., 1969.
65. *Smirnitckaya O. A.* The evolution of Old Germanic metrics: from the scop to the scald // *Proc. XI Congr. of phonetic sciences*. V. 5. Tallinn, 1987.
66. *Goncharenco S. T.* Metro-rhythmic and phonetic structures of Spanish poetic speech // *Proc. XI Congr. of phonetic sciences*. V. 5. Tallinn, 1987.
67. *Немченко Н. Ф.* Ритм как форма организации текста (на материале англоязычной сказки): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1985.
68. *Смусь М. А.* Роль фонетической структуры в создании ритмического движения: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1989.
69. *Гаспаров М. Л.* Семантический ореол метра. К семантике русского трехстопного ямба / *Лингвистика и поэтика*. М., 1979.
70. *Оганезова Н. Г.* Метр стиха и семантика (на материале английского стиха XVI — XIX вв.): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1982.
71. *Абдыгаппарова С. К.* Интегрирующая функция текстовой просодии (на материале английского языка): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1986.
72. *Абдулдаева А. Э.* Инвариативные и вариативные просодические средства в структурировании письменного и устного текста: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1988.
73. *Исхакова Д. К.* Особенности семантической связности текстов английских лирических стихотворений XVI, XIX и XX веков: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1983.
74. *Цибуля Н. Б.* Соотношение некоторых видов информации в тексте (просодико-кинестический анализ) // *Фонология текста*. Вып. 239. М., 1984.
75. *Дроздина Ж. А., Налимов В. В.* Семантика ритма: ритм как непосредственное вхождение в континуальный поток образов // *Бессознательное*. Вып. 3. Тбилиси, 1978.
76. *Бочкарев А. Е.* Ритмическая организация художественного текста (фонетический и семантический аспекты) // *Пространственно-временная и ритмическая организация текста*. Вып. 265. М., 1986.
77. *Зоз Е. А.* Роль ритма в создании целостности поэтического произведения // *Пространственно-временная и ритмическая организация текста*. Вып. 265. М., 1986.

РЕЦЕНЗИИ

Studia Caucasologica. I: Proceedings of the Third Caucasian Colloquium. Oslo, July 1986/Ed. by Thordarson F. 321 p.; II: *Yogt H. Linguistique caucasienne et armenienne*/Ed. by Hovdhaugen E. and Thordarson F. 536 p. Oslo: Norwegian University Press, 1988.

70—80-е годы были отмечены значительно возросшим интересом зарубежной лингвистической науки к кавказскому языкознанию. На смену старшему поколению западных кавказоведов (Г. Деестерс, Р. Лафон, Г. Фогт, Ж. Дюмезиль и др.) пришло немало молодых авторов, уже зарекомендовавших себя как журнальными публикациями, так и крупными монографиями. Резко расширилась и география соответствующих научных центров. В настоящее время кавказские языки изучаются не только в Европе и Северной Америке, но и в таких странах, как КНР и Япония. Очередной иллюстрацией такого положения вещей может служить и недавнее норвежское двухтомное издание — *Studia Caucasologica*, появившееся в серии трудов Института сравнительных исследований человеческих культур в университете Осло.

В первом томе рецензируемого издания содержатся материалы III Международного кавказоведческого коллоквиума, состоявшегося в июне—июле 1986 г. в Осло. В нем опубликованы тексты 15 докладов ученых из Норвегии, Швеции, ФРГ, Голландии, Бельгии, Великобритании, Швейцарии, Польши и США. Характерно, что лингвистическое кавказоведение предстает здесь в качестве дисциплины, выходящей за пределы изучения автохтонных языков Кавказа и предполагающей широкий фронт сравнительно-исторических, типологических и ареальных (прежде всего с выходами в арменистику и осетиноведение) работ. Будучи в своей основе лингвистическим трудом, этот том включает и две публикации нелингвистического характера. Наиболее велик в сборнике удельный вес картвельского языкознания, вопросы которого так или иначе трактуются в восьми статьях.

На фоне до сих пор дающей о себе знать явно недостаточной изученности лазского языка и лазской культурной традиции

весьма ценны по своему материалу, собранному в пределах турецкого Лазистана, две работы В. Фейрштейна. В одной из них, проанализировав топонимику центральной полосы расселения лазов (между Архавом и Визэ), автор приходит к интересному выводу об историческом факте миграции лазов в грекоязычную до того область северо-восточной Анатолии. В другой он усматривает некоторые параллели мифологическому образу «лесного человека» лазских сказочных текстов в других картвельских традициях. М. ван Эйсброк обсуждает этимологию термина грузинской христианской традиции *bzoba*- «вербное воскресенье». А. Харрис формулирует положение об исторической идентичности суф. *-enll-n* переходных словоформ грузинского глагола с суф. *-en* группы сванских переходных глаголов в его диалектных разновидностях. А. Д. Холиски и Н. Кахадзе принимают семантическое описание грузинских глаголов «говорения», имеющих дескриптивную природу. В статье К. Вамлинг рассмотрены основные закономерности объектного согласования в современном грузинском языке. Обширное исследование Й. Гшшерта, посвященное неоднократно дискутировавшейся в прошлом проблеме древнегрузинских названий месяцев, имеет преимущественно этимологический характер, в какой-то мере приближаясь по своему жанру к направлению исследований по армяно-грузинской филологии, явно неудовлетворительно представленному в современном кавказоведении. Наконец, Я. Браун продолжает в небольшой заметке свои многолетние усилия по обоснованию эвскар-кавказской гипотезы, усматривая в структуре примерно двадцати баскских субстантивов следы архаичного постпозитивного артикля.

Три работы в сборнике построены на материале северокавказских языков.

В одной из них В. Берле, исходя из сопоставления различных моделей вокалических чередований в 379 простых чеченских глаголах, распределяет последние между двумя типами спряжения, обособляя при этом также класс неправильных глаголов. В другой В. Шульце констатирует некоторое соответствие между принадлежностью имени существительного к определенному лексическому классу и его падежной формой в составе эргативного предложения в нахско-дагестанских языках. В третьей Р. Смите выявляет на базе имеющегося текстового материала специфические черты адыгской речи убыхов, квалифицируя ее в качестве особого диалекта адыгейского языка.

Две статьи первого тома тяготеют к сфере кавказских ареальных исследований. Рассматривая терминологию овцеводства, Д. Рейфилл приходит к выводу о скудности (особенно бросающейся в глаза при сопоставлении с картиной, наблюдаемой в остальных зонах Евразии) общего материала, так или иначе связывающего в этом отношении автохтонные и неавтохтонные языки Кавказа. М. Иоб показывает обычную производность перформативных (регулятивных) глаголов в языках региона, подчеркивая при этом значительную роль в их формировании элементов контактного происхождения.

В единственной индоевропейской статье сборника, посвященной доистории арм. *ē* и *ou*, принадлежавшей Э. Равнесу, автор вносит свой вклад в установление относительной хронологии фонетических процессов, происходивших в преармянском состоянии. Краткий обзор наиболее информативных арабских источников по истории Кавказа предпринимает Э. Шиманский.

В целом сборник довольно четко отражает общий облик современного зарубежного кавказоведения. Коротко охарактеризованное выше его содержание свидетельствует о том, что в поле зрения наших зарубежных коллег обычно находятся достаточно актуальные проблемы науки. По-прежнему наиболее популярным объектом их внимания оказывается картвельское языкознание. Если в сфере последнего здесь более или менее равномерно представлены как синхронный, так и диахронический аспекты исследования, то в области севернокавказских языков заметно преобладает синхронный. С удовлетворением следует отметить нетривиальность постановки ряда рассматриваемых вопросов. Иногда анализ языкового материала выполняется с точки зрения какой-либо из разработанных в недавнее время методических концепций. Очевидно неплохое знакомство участников труда с исследованиями,

опубликованными на русском и грузинском языках. Наконец, по-видимому, в соответствии с замыслом издателя сборника Фр. Торларсона включенные в него статьи отражают круг кавказоведческих интересов скончавшегося в 1980 г. выдающегося норвежского лингвиста Г. Фогта.

Как известно, труды с широко варьирующим в тематическом и языковом отношении содержанием нелегко поддаются сколько-нибудь обобщенной критической оценке. Отметим тем не менее, что относительно более уязвимой стороной публикуемых в сборнике работ рецензенту представляется их этимологический компонент. Восприятие языкового материала бывает иногда затруднено неунифицированностью используемых транскрипционных систем. Наибольшее число неточностей и опечаток налицо в библиографическом аппарате отдельных статей.

Второй том *Studia Caucasologica* представляет собой воспроизведение совокупности кавказоведческих и арменистических статей (а также одной осетиноведческой), опубликованных Г. Фогтом в различных зарубежных и советских изданиях на протяжении немногим менее полувека (1930—1975 гг.). Очевидное достоинство подобных собраний заключается в том, что они делают обозримыми различные направления творческих исканий ученого, а также эволюцию его взглядов во времени. Сборник создает отчетливое представление о широте кавказоведческих интересов автора, иллюстрируемой здесь его работами по современному грузинскому и древнегрузинскому языкам, служащими в определенной мере дополнениями к принадлежащим ему грузинским грамматикам (ср. [1] и [2]), по картвельской этимологии и топонимике, проблематике внутреннего и внешнего родства кавказских языков, ареальному взаимодействию языков Кавказа, а также по арменистике и осетиноведению.

Читателю нетрудно убедиться в том, что помянутые здесь труды Г. Фогта, ученика известного отечественного филолога прошлого И. В. Абуладзе, а в дальнейшем — почетного доктора тбилисского университета, свидетельствуют как о тесном идейном контакте ученого с советской кавказоведческой традицией, так и о его видной роли в деле популяризации последней в западной науке.

Анализ высказываний ученого в хронологическом порядке демонстрирует, как с течением времени все сдержаннее становилось его отношение к гипотезе о генетической связи между картвельскими, абхазско-адыгскими и нахско-дагестан-

скими языками. Так, если в более ранних работах он по существу признавал их родство, то в последующих он квалифицировал соответствующее мнение не более как «естественное предположение» (ср. с. 163—166, 327—330, 503).

Вполне закономерно вместе с тем, что материалы сборника дают все основания считать Г. Фогта одним из немногих исследователей, глубоко осознанных актуальность изучения ареальных взаимоотношений автотонных и неавтотонных языков Кавказа. В частности, критически оценивая гипертрофированную генетическую ориентацию работ одного из направлений современного кавказоведения, в своей известной статье 1971 г. он писал следующее: «...представляется, однако, что упорный поиск общего происхождения, увлечения „протоязыками“ создают опасность заслонить от нас другие направления исследования, видимо, более плодотворные. Мы рискуем запутаться в массе гипотез, которые нельзя проверить...: необходимо спросить себя, не пришло ли время самым последовательным образом воспользоваться методами ареальной лингвистики» (с. 503). Примерами реализации этого подхода по служат перепечатанные в сборнике статьи Г. Фогта, посвященные связям картвельских языков с армянским как в аспекте бросающихся в глаза структурных параллелизмов в их развитии, так и в аспекте отдельных разделяемых ими материальных общностей. Используемая автором методика исследования последних достаточно эффективна (в частности, оправдал себя на практике его тезис, согласно которому наличие в грузинском по армянскому литературных языках общих лексем при их едином значении нередко указывает на их происхождение из третьего источника). Дальнейшие исследования этого плана, несмотря на внушительные достижения предшествовавшей традиции (ср. работы Н. Я. Марра, А. Г. Шанидзе, Р. А. Ачаряна, И. В. Абуладзе и др.), по-прежнему составляют весьма перспективную область кавказской ареальной лингвистики. Должна быть естественной, вместе с тем, и та осторожность, с которой автор подходит к каузальному истолкованию конкретных конвергентных явлений, характеризующих автотонные и неавтотонные языки Кавказа. В этом отношении весьма показательна его работа, посвященная рассмотрению стимулов конвергентного развития фонологической и грамматической структуры грузинского, армянского и осетинского языков (с. 177—190).

Конечно, далеко не все положения Г. Фогта, высказывавшиеся им в разновременных публикациях, отражают со-

временное состояние науки (следует к тому же учитывать, что будучи не только кавказоведом, но и лингвистом-теоретиком, баскологом, американистом, а также исследователем проблем норвежской фонологии, он не всегда находил возможность возвращаться к однажды уже затрагивавшимся им вопросам). Ср., в частности, отнесение им эпохи дифференциации общекартвельского состояния к промежутку времени между VII—IV вв. до н. э. (ср. с. 175—176 и 467), довольно неожиданную в свете его же мнения о глубокой хронологии некоторых фонетических процессов, происходивших уже в исторически засвидетельствованных картвельских языках, высказывавшегося в других его работах (см., например, с. 119—120). Весьма дискуссионными представляются и некоторые из предлагавшихся им этимологических решений. Среди последних можно упомянуть его мысль о вероятной зависимости армянского обозначения ореха от груз. *nigoz*-«гречский орех» (с. 124) (ср. в этой связи [3]), попытку выведения на с. 128 арм. *ciran* «абрикос» из грузинского источника (ср. [4, с. 53—54]) или трактовку на с. 517 общекартвельского **asul*-«дочь» как именного производного от глагола, представленного древнегрузинской словоформой *esua* «он имел» (об объекте класса человека).

Однако во много раз существеннее то, что неизбежные в практике каждого исследователя издержки с избытком возмещаются фактически насыщенным и методически поучительным содержанием сборника. Оно в полной мере раскрывает умение автора видеть реальные проблемы предмета исследования, способность по достоинству оценить повое в науке (ср. также [5]) по активно подключаться к его дальнейшему развитию, а также умение корректно полемизировать со своими оппонентами.

С содержанием обоих томов рецензируемого издания гармонирует и их внешняя сторона (досадно лишь, что во втором томе не выправлены некоторые опечатки, сохранившиеся со времени первой публикации статей). Не приходится сомневаться в том, что предпринятая Э. Ховдхаугеном и Фр. Тордарсоном публикация вносит свой положительный вклад в науку и послужит заметным стимулом к дальнейшему развитию зарубежного кавказоведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Vogt H.* Esquisse d'une grammaire de georgien modern // NTS. 1938. Bd IX.
2. *Vogt H.* Grammaire de la langue georgienne. Oslo, 1971.

3. *Эдельман Д. И., Климов Г. А.* Из истории одной древнепереднеазиатской лексической изоглоссы // Ирано-афразийские языковые контакты. М., 1987.
4. *Мачавариани Г. И.* Общекартвельская консонантная система. Тбилиси. 1965
- (на груз. яз.).
5. *Фогт Г.* // ВЯ. 1966. № 6. Рец. на кн.: Гамкрелидзе Т. В., Мачавариани Г. И. Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Тбилиси, 1965.

Климов Г. А.

Разновидности юродской устной речи/Отв. ред. Шмелев Д. Н., Земская Е. А. М.: Наука, 1988. 260 с.

Рецензируемая книга продолжает цикл исследований, посвященных изучению живого языка современного русского города. Теоретические основы этого научного направления в советском языкознании были разработаны Е. А. Земской в конце 60-х гг. [1], основные результаты исследований представлены в коллективных монографиях о литературной разговорной речи [2–5], в сборнике статей о городском просторечии [6], а также в целом ряде книг и статей авторов указанных монографий [7] и др.

Обсуждаемый сборник открывает дальнейшие перспективы исследований этого цикла, в нем осуществлен новый подход к вычленению объекта изучения: если в предшествующих работах предмет исследования определялся социальными характеристиками говорящего субъекта, то здесь он избирается по иному признаку — с точки зрения формы речи (устная речь). Эти перспективы обстоятельно характеризуются Е. А. Земской во вступительной статье сборника — «Городская устная речь и задачи ее изучения» (с. 5—44). Автор анализирует целый ряд явлений, предопределяющих основные особенности устной речи: ее неподготовленность как важнейший признак, характер и вид коммуникаций, взаимоотношения говорящего субъекта и адресата речи, невербальные компоненты коммуникации, коммуникативные намерения говорящего, жанры речи.

Четкость выделения, дифференциации и противопоставления объекта исследования придает большую объяснительную силу теоретическим решениям Е. А. Земской, обуславливая вместе с тем их полемическую заостренность и бескомпромиссность. Вспомним, например, широко известное противопоставление разговорной речи (РР) как особой языковой системы кодифицированному литературному языку (КЛЯ) (см. [2, с. 5—25]). В обсуждаемой статье автор не отступает от своих теоретических принципов и приемов исследования, но поле его наблюдений становится более обширным, охватывающим как КЛЯ, так и РР и просторечие. Это

обуславливает интерес исследователя не только к дифференциальным, но и к интегральным признакам — к тем «переходным мостам», которые объединяют противопоставленные разновидности устной и письменной речи.

Так, характеризую особенности свободного тематического развития текста (закон ассоциативного присоединения), автор дает весьма выразительное сопоставление примеров из РР и диалога из «Дней Турбиных» М. Булгакова (с. 25—27), в анализе коммуникативных намерений говорящего рассматриваются материалы как собственно РР, так и КЛЯ (с. 30—39), в определении жанров речи привлекаются понятия и признаки устного и письменного текста (с. 39—43). Такой подход позволил обнаружить целый ряд текстообразующих закономерностей и сформулировать общий вывод о типологических особенностях (универсалиях и фреквенталиях) разговорной речи русского и других языков (с. 43—44).

Языковой статус устной русской речи, ее типы и разновидности, их взаимосвязь и соотношение явились предметом квантитативно-типологического исследования А. Ф. Журавлева (с. 84—150). В качестве объекта анализа здесь выделены следующие типы речи: устная публичная речь, разговорная речь (РР), просторечие, диалектная речь; кроме того, в каждом из этих типов рассматривается два различных вида устной речи: монолог и диалог. Изучение разновидностей устной речи было проведено в сопоставлении с письменной речью, представленной тремя разновидностями: научный стиль, официально-деловой стиль, беллетристика. Для исследования было отобрано 39 текстов — фрагментов письменных сочинений и расшифровок магнитофонных записей устной речи, объединенных в 11 названных групп (три стиля письменной речи и восемь разновидностей устной речи).

Индексы, с помощью которых оцениваются выбранные тексты, представляют собой отношение отмеченного в тексте числа каких-либо единиц либо к его

объему, либо к числу языковых единиц более высокой иерархической ступени. Все статистические данные сведены в 26 таблиц, представляющих те параметры, по которым сопоставляются статистические данные всех одиннадцати разновидностей письменной и устной речи. Индексы употребительности различных языковых явлений позволяют сформулировать четкие и вполне определенные выводы. Так, анализируя употребительность падежных форм имени существительного и местоимения-существительного, автор приходит к следующему заключению: «Наибольшая эффективность индекса употребительности родительного падежа обнаруживается в оппозиции подготовленной и спонтанной речи (в первом из этих типов речи формы родительного падежа встречаются почти в два с половиной раза чаще, чем во втором)» (с. 123). Подобные выводы, в зависимости, естественно, от количественных показателей, делаются по употребительности личных местоимений, по словосложению, деривации, словоизменению, префиксации, суффиксации, флективности, аналитичности, грамматичности, глагольности и т. д. анализируемых разновидностей речи.

Статистические данные А. Ф. Журавлева, результат большой и кропотливой работы, представляются совершенно необходимыми (и уникальными по своей ценности) для дальнейших сопоставительных исследований устной и письменной речи. Более того, они будут служить надежным ориентиром в стратегическом планировании изучения многих явлений кодифицированного литературного языка и живой разговорной речи.

Вместе с тем нельзя не отметить и противоречивость, недостаточную убедительность (кстати, не только не скрываемую, но и постоянно подчеркиваемую автором исследования) некоторых решений и полученных результатов. Это обусловлено прежде всего противоречивостью по разнородности самих факторов языка. Кроме того, познавательная ценность количественно-типологических решений прямо пропорциональна надежности и доказательности исходной классификации языкового материала. Если же критерии предлагаемой классификации вызывают сомнение, то все статистические выкладки автоматически утрачивают свой смысл.

Учитывая это обстоятельство, автор постоянно стремится к четкому и строгому обоснованию своей систематизации языкового материала. Почти во всех случаях предлагаемые классификационные решения могут и должны быть приняты — иногда и просто за наименее лучших. Но некоторые из них не пред-

ставляются вполне доказательными.

Так, при измерении общей предикативности текстов подробно перечисляются все выделенные автором предикаторы. При этом особо подчеркивается условность осуществленной систематизации. Ср.: а) «...однородные глагольные сказуемые считались разными предикативными элементами...» (с. 127); б) «не включались в самостоятельный подсчет именные однородные части при одной связке, в том числе нулевой» (с. 127). Положение (б) небесспорно, но важнее то, что оно представлено эксплицитно и что решение, аналогичное тому, которое сформулировано в положении (а), вызвало бы еще больше возражений. При всей дискуссионности выделения этих предикаторов (высказывать все сомнения здесь вряд ли целесообразно) это классификационное решение является в целом вполне приемлемым, а полученные результаты вызывают несомненный научный интерес.

А вот следующая далее характеристика неглагольной предикации (с. 128—130) в большой степени, если не полностью, утрачивает свою объяснительную силу. Классификационное решение, казалось бы, вполне логично: в этой рубрике рассматривается тот же языковой материал, но за вычетом собственно глагольных предикаторов. «Единственное, что объединяет ее составляющие, — отмечает автор, — это то, что она представляет собой не основные формы выражения сказуемого, противопоставляемые „классической“ глагольной предикации» (с. 129). Языковой материал этой рубрики онтологически крайне разнороден, — подчеркивает исследователь (с. 129). Ср.: *Мой брат учитель; Дома тесно; Курить вредно; Куда! В кино II, А ты! Тоже II* и т. п. Но не это главное. Безглагольность (нулевая связка) письменной и устной речи имеет разное языковое содержание: в первом случае (научный и официально-деловой стиль, беллетристика) нулевая связка включается, как правило, в план настоящего вневременного, тогда как во втором (все разновидности устной речи) она выражает значение настоящего актуального, сиоминутного с актом коммуникации. Сопоставление таких статистических данных не имеет собственно языковых оснований.

Основные выводы исследования А. Ф. Журавлева представлены в графической экспликации зависимостей и сходств (различий), существующих между выделенными разновидностями и формами устной и письменной речи. Эта схема (с. 147) наглядно представляет новизну и оригинальность осуществленного исследования. Следует также отметить, что в приложении К статье даны хорошо

подобранные образцы устной речи (семь текстов, с. 148—150).

Т. Г. Винокур обсуждает проблему стиливых свойств устной речи (с. 44—84). Исследователь исходит из того, что «...если время утверждения, что разговорная речь — это стиль, прошло, то утверждение, что в разговорной речи есть разговорный стиль и что составляющие его элементы проявляют себя не только вне, но и внутри РР, остается актуальным» (с. 62). Несмотря на необычность подчеркнутого положения его развернутое обоснование подтверждается весьма интересными наблюдениями и конкретным анализом многочисленных примеров. «Лингвостилистика обросла непомерно раздутым и противоречивым понятийно-терминологическим аппаратом» (с. 46), — совершенно справедливо подчеркивает автор. Не вводя новой терминологии, Т. Г. Винокур обнаруживает и исследует действительно новые стилистические категории и понятия. Ср. названия разделов ее статьи: разговорная речь, разговорный стиль, устная форма, стилистика звучащего текста, ситуативно-стилевые зависимости устного высказывания.

Анализируя способы выражения оценки в устной речи, Л. А. Капаназде приходит к выводу, что в РР в качестве оценок часто выступают гиперболы, литоты, метафоры, т. е. те средства, которые хорошо выражают субъективность говорящего по отношению к выражаемому (с. 151—156). Отличия РР от КЛЯ здесь заметны и значительны. Так, в РР для образования субстантивных метафор-оценок используется конкретная лексика: *балахон* (пальто), *сундук*, *стена* (несговорчивый, угрюмый человек) и т. п., метафорический перенос обозначений животных, птиц, рыб, насекомых («зверные метафоры») весьма активен и регулярен (многие случаи словарями не фиксируются), в качестве оценочных широко используются заменители вербального ряда — жесты, мимические движения, суперсегментные явления — прежде всего интонация и тон речи.

М. В. Китайгородская исследует особенности построения устного просторечного текста (с. 156—182). Современное русское просторечие не имеет, как известно, достаточно строгого определения, что обуславливается в первую очередь динамическими изменениями, осуществившимися в нашем языке в последние десятилетия. По мнению Е. А. Земской и М. В. Китайгородской, все современное просторечие можно разделить на два слоя — старый и новый: старый связан с диалектными особенностями (фонетика, морфология, лексика), новый слой характеризуют те «типические явления,

которые возникают при усвоении литературного языка недостаточно образованными жителями города или лицами, вышедшими из деревни» [6, с. 92]. Основное внимание автора статьи привлекает новый слой, точнее — общие для РР и просторечия тенденции: имплицитность построения текста, избыточная эксплицитность текста, свобода построения конструкций. Наблюдения М. В. Китайгородской весьма интересны и убедительны, однако общий вывод сформулирован с предельной осторожностью: рассматриваемые тенденции, свойственные и РР, оказываются в просторечии более продвинутыми (с. 181). С таким выводом нельзя не согласиться, хотя, по нашему мнению, в синтаксисе РР и просторечия больше все-таки общего, чем различного.

Синтаксические явления рассматриваются и в статье Т. С. Морозовой, анализирующей особенности построения текста в литературной устной публичной речи (с. 182—208). Наиболее удачны здесь разделы, характеризующие тенденцию к расчлененной подаче информации: конструкции с местоименным удвоением темлы высказывания (ср.: Реальные связи с вузом / они выражаются в нашей продукции), построения с повторением темы перед каждой ремой в однородном ряду (ср.: Они характеризуются вот такой вот общностью значения / и что важно / они характеризуются сегментированностью) и др. (с. 195—199). Общие выводы и суждения автора статьи представляются интересными и перспективными. Однако некоторые конкретные наблюдения неубедительны: вызывает возражение характеристика особенностей функционирования словоформ именительного предикативного (с. 204), схематично и фрагментарно описано употребление местоимений *этой*, *такой*, *там*., *здесь*, *какой-то* (с. 204—206).

Н. Н. Розанова анализирует особенности реализации гласных фонем <a> и <o> в 1-м предударном слоге после твердых согласных и [ц] в произношении коренных жителей Москвы (с. 208—233). Составляя данные КЛЯ и просторечия, автор приходит к следующим выводам: 1) употребление в 1-м предударном слоге широкого открытого [a:], превышающего по длительности ударный гласный, в современном московском литературном произношении более свойственно женщинам (предполагается перераспределение старых произносительных норм по другому социальному признаку); 2) в московском просторечии произношение широкого открытого [a:] в 1-м предударном слоге более распространено, чем в литературном языке, и меньше зависит от фразовой позиции.

Н. Е. Ильина рассматривает некоторые

проблемы русской морфологии (с. 224—230). В основе ее наблюдений положение А. А. Реформатского о фузионном стыке корня с суффиксом (*ленинградский*) и агглютинирующем стыке приставки с корнем (*подсадить*). В КЛЯ эта закономерность проявляется весьма строго и отчетливо. Просторечие подчиняется фонетической стихии, поэтому в нем трудно определить место морфемных швов и установить состав морфов в слове. В РР одни приставки (типа *е-, ее-, с-, со-* и т. п.) не контрастируют с корнем (морфемный шов часто оказывается смазанным), тогда как другие (*архи-, анти-, пере-, между-*) четко обозначают морфемную границу, а иногда и обретают самостоятельность (ср.: Сегодня стирала она / училась / *добродетельна* была *сверх* Ц).

Л. А. Капаналдзе (с. 230—234) и Е. А. Земская (с. 234—240) вносят существенные уточнения в понятие главных жанров РР (диалог, монолог, полилог, рассказ, городские стереотипы). Если ранее говорилось о том, что в РР границы жанров размыты и один жанр естественно перетекает в другой [3], то накопление нового материала, — подчеркивает Л. А. Капаналдзе, — позволяет говорить не о «перетекании», а о естественном переложении жанров, быстрой их смене в повседневном речевом общении.

Е. А. Земская обнаруживает в непристуженном диалоге одно из его характерных свойств — тематическую полифонию. Важно подчеркнуть, что это явление еще не привлекало внимания исследователей. Политематичность выражается в том, что диалог может протекать сразу по двум (реже — больше) линиям, так как разные собеседники ведут разные темы. В статье представлена четкая и, на наш взгляд, вполне убедительная классификация тематической полифонии. Это новое научное положение аргументируется выразительными примерами как из РР, так и из художественной литературы (А. И. Герцен, сценарные записи И. Бергмана и М. Антониони). Наблюдения Е. А. Земской, весьма существенные для грамматической и стилистической интерпретации текста, вызывают целый ряд вопросов. В какой мере данное явление представлено в русской классической литературе? Когда и у каких авторов оно получает распространение (в наше время его, например, активно использует Ю. Коваль)? Какие типы тематической полифонии предпочтительны в художественных произведениях (драматургия, киносценарии)? Эти и другие вопросы могут быть предметом специального исследования.

Весьма своеобразной является тематика лингвопсихологических заметок О. П. Ермаковой — «Разговоры с животными»

(с. 240—247). К этой области функционирования языка лингвисты еще не обращались, а между тем, как убедительно показывают наблюдения О. П. Ермаковой, она содержит богатый и интересный материал для характеристики психологического мира и культуры речи говорящего индивидуума.

Заключают сборник три небольших статьи: О. Б. Сиротининой («Языковой облик г. Саратова», с. 247—253), З. С. Санджи-Гаряевой («Некоторые особенности устной речи г. Элисты», с. 253—257), Н. И. Голубевой-Монаткиной («К проблеме сопоставления французского и русского просторечия», с. 257—259). Эти работы обнаруживают перспективы и направление дальнейшего изучения городской устной речи.

Оценивая рецензируемый сборник в целом положительно, можно было бы указать и некоторые его недостатки. В частности, во многих статьях с большей или меньшей подробностью характеризуются те теоретические положения, которые разделяются едва ли не всеми авторами этой книги и которые частично известны по предварительным публикациям работ по проблематике РР и городской устной речи. Однако повторение некоторых научных положений, по-видимому, неизбежно и, кроме того, оно отчасти компенсируется как авторским видением исходных теоретических позиций, так и переосмыслением и развитием сформулированных ранее определений и суждений.

В заключение необходимо подчеркнуть, что если при первых публикациях цикла работ по РР [2, 3] общая характеристика этой проблематики представлялась достаточно полной и, может быть, законченной, то теперь наше восприятие и осмысление исследований устной речи существенно изменилось: стало очевидным, что это научное направление выдвинулось на передовые позиции в развитии советского языкознания, и каждая новая публикация по этой проблематике, дополняя и обогащая общие представления об устной речи, обнаруживает необходимость дальнейшего целенаправленного изучения разговорной речи во всем богатстве и разнообразии ее функционирования и ее связей с другими формами коммуникации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Земская Е. А. Русская разговорная речь: Проспект (ротапонт). М., 1968.
2. Русская разговорная речь. М., 1973.
3. Русская разговорная речь. Тексты. М., 1978.
4. Земская Е. А., Кутайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная

- речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.
5. Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1983.
 6. Городское просторечие: - Проблемы изучения. М., 1984.

7. Земская Е. А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. М., 1979; 2-е изд. М., 1987.

Чернов В. И.

Neues Testament des Cudov-Klosters. Eine Arbeit des Bischofs Alexij, des Metropoliten von Moskau und ganz Bussland. Phototypische Ausgabe von Leontij Metropolit von Moskau, Moskau, 1892/Mit einer Einleitung hrsg. von Lehfeldt W. Köln; Wien: Btlaue Verlag, 1989 (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven/Hrsg. von Herder H.-B. und Rothe H. in Verbindung mit Olesch. R. Bd 28).

Настоящее издание привлекает наше внимание к исключительно интересному памятнику славянской письменности XIV в., в судьбе которого остается много неясного и значение которого еще не выявлено до конца. Из вступительной статьи издателя мы узнаем об интересе к этому тексту в русской науке XIX в., о частичных и полных его публикациях. Рукопись, хранившаяся в Чудовом монастыре московского Кремля, исчезла в 1918 г., а в нашем распоряжении остаются ее далекие от совершенства копии — фотографическое издание, выполненное в 1887 г. под наблюдением архим. Амфилохия, и фототипическое издание, выполненное в 1892 г. на иждивении московского митрополита Леонтия. В предисловии к изданию 1892 г. было сказано, в частности, следующее: «Еще московский митрополит Платон, украсивший сей памятник драгоценными камнями и жемчугом, начертал на нем: *тойто вѣауѣ Аѣов шС хѣва -Оужаѣров њГ (ри/аѣТЕIV* (т. е. «...это Евангелие как некое сокровище должно хранить».— А. А.). Продолжая сию заботу и выполняя сие завещание, мы сочли долгом издать этот памятник фототипически, чтобы распространить обладание им между людьми веры и науки, и вместе с тем навеки сохранить его на тот случай, если бы подлинник его, в силу каких-либо несчастных судеб, подвергся уничтожению» [1]. Пророческое значение этих слов велико сегодня еще и потому, что отечественная филология пренебрегает этим наглядным и убедительным примером для подражания.

Тираж издания 1892 г. ограничился сотней экземпляров, поэтому можно от всей души приветствовать новую попытку фототипического тиражирования одной из копий 1892 г. В. Лефельту оказался доступен экземпляр из университетской библиотеки в Тире. Не все экземпляры 1892 г. равноценны по своему качеству, возможно, тирский не относится к числу лучших, так что в издании 1989 г.

немало мест, которые нельзя прочесть совершенно. Глоссы и маргиналии на полях не читаются полностью, тогда как в некоторых экземплярах 1892 г. их почти все можно разобрать с помощью увеличительного стекла. Если бы новое издание было основано на нескольких экземплярах 1892 г., результат, вероятно, был бы более удовлетворительным.

Текст Чудовской рукописи Нового завета представляет собою плод целенаправленной работы одного переводчика-редактора. Как это характерно для истории переводов св. Писания, переводчик знал и использовал какой-то славянский текст, но смысл своего труда видел в том, чтобы привести славянскую версию в полное согласие с греческой. С этой точки зрения вся работа может быть названа «переводом», поскольку принципиальная установка на воспроизведение всех лингвистических особенностей оригинала прослеживается здесь со всей очевидностью. Однако с точки зрения славянской традиции св. Писания этот труд может быть охарактеризован как «редакция», ибо использование известной славянской версии произведения (об этом ниже) также не вызывает сомнения. Научная основательность работы проявляется последовательным проведением всех лингвистических приемов. Переводчик-редактор стремился к тому, чтобы одним и тем же элементам греческого оригинала соответствовали одни и те же элементы славянской версии. Сходных попыток последовательного проведения избранных приемов в истории переводов св. Писания у славян известно не так уж много: это перевод толковых Пророков, выполненный в Болгарии в начале X в., и переводческая практика Епифания Славянского и его школы. Результаты первого опыта не столь выразительны, потому что сохранились в поздних списках XV—XVI вв., расхождения между которыми не всегда позволяют надежно реконструировать архетип. Школа Епифания дошла до полного отрицания само-

ценности славянского текста, стараясь подчинить все его лингвистические формы греческому оригиналу. В итоге лишь Чудовская рукопись дает нам неповторимую возможность создать сопоставительную греческо-славянскую грамматику. Работа эта к сожалению, до сих пор не осуществлена.

Датировка и рукописи, и заключенного в ней текста XIV веком не вызвала сомнений еще в ту эпоху, когда рукопись была доступна палеографам и филологам. Тем меньше оснований сомневаться в ней теперь. Нужно лишь добавить, что текст Чудовской рукописи близок к поздней редакции Евангелия и Апостола, как это можно видеть по изданиям Г. А. Воскресенского [2, 3]. Эта «четвертая», по Г. А. Воскресенскому, редакция представляет собою, как кажется, «извод», или «текстовый тип», т. е. текст, сформировавшийся не в результате единовременного редактирования, а в ходе многочисленных справ, направленных на сближение славянской версии с поздней византийской версией Нового Завета. Частичное совпадение поздней редакции и Чудовского текста значит то, что изготовитель последнего опирался в своей работе на текст поздней редакции. Самая ранняя датированная рукопись поздней редакции относится, по сообщению И. Д. Добрева, к 1316 г. (Карейское евангелие на Афоне). Следовательно, текстологическая датировка также указывает на XIV в.

Недавно И. Винтр [4] изложил интересные наблюдения о зависимости Чудовского текста в объеме Евангелия от Чешской библии, но приведенных данных все же, пожалуй, недостаточно, чтобы считать эту гипотезу доказанной. Во всякой текстологической традиции между каждой парой рукописей оказывается известное число совпадений, не разделяемых остальными рукописями; точно так же между двумя средневековыми переводами одного оригинала всегда обнаруживаются совпадения, не разделяемые всеми другими переводами этого оригинала. Необходимо полное изучение текстологической истории всех переводов одного и того же оригинала, чтобы уверенно интерпретировать такие совпадения.

Традиция приписывает изготовление и текста, и самой рукописи московскому митрополиту Алексею (1293/8—1378), когда он находился в Константинополе ок. 1355 г. Эта традиция не младше XVII в.: в свое предисловие к переводу Евангелия соответствующее свидетельство включил Епифаний Славинецкий. В согласии с нею в XVIII в. в рукопись была внесена копия духовного завещания, писанного в свое время собственноручно московским митрополитом. В Чудо веком тексте Епи-

фаний находил оправдание и опору для собственного перевода, и это возбуждает недоверие к его свидетельству. А. И. Соболевский [5] решительно отверг домыслы о тождественности почерка Чудовской рукописи с почерком митроп. Алексея, а М. Корнеева-Петрулан [6] выявила в рукописи целых четыре руки. Она же, впрочем, нашла возможным довериться Епифанию в том, что самый перевод сделан московским святителем: в тексте есть черты, свидетельствующие о том, что писцы писали под диктовку, а е-то и мог осуществлять митроп. Алексей. К таковым чертам отнесены: непроведенные гречизмы, обиходные слова вместо книжных, новообразования, буквалитмы в передаче синтаксиса и ударения, отражающие обиходную речь. Но все эти черты слишком распространены в славянских средневековых переводах, чтобы аргументацию такого рода можно было признать достаточной. Самый облик рукописи с тщательно организованным текстовым пространством, с инициалами, отмечающими начала служебных перикоп, с указаниями на зачала-концы не только на полях, но и в самом тексте, с умелым расположением заставок и киновари не допускает мысли о спонтанной работе под диктовку. Едва ли Чудовская рукопись является исходным списком той особой редакции новозаветного текста, который написан на ее листах; скорее всего, у нее был антиграф по крайней мере в виде черновых материалов.

Соображения о том, что в языке Чудовской рукописи отразились индивидуальные речевые навыки митроп. Алексея (они высказаны, в частности, И. Огненько и Л. П. Жуковской и приведены В. Лефельтом, с. 17), убедительными не кажутся. «Русский» облик выражен в данном тексте не более, чем в любом другом восточнославянском списке Евангелия, содержащем текст кирилло-мефодиевского или симеоновского происхождения. Даже восточнославянская акцентологическая система рукописи (а это первый по времени восточнославянский манускрипт с проставленными ударениями) не может быть уверенно отождествлена с великорусской, украинской или белорусской диалектной средой XIV в., как это показано во вводной статье (с. 30—32).

Чудовская рукопись уникальна по составу: других славянских кодексов, которые содержали бы целиком Новый Завет, и только его, мы не знаем. Полнота новозаветного канона подчеркивает четкий, вне литургический характер текста. Безусловно, это явление нового времени, вызывшегося во всей своей полноте несколько десятилетий спустя первопечатным греческим Новым Заветом,

изданным в 1516 г. в Базеле Эразмом Роттердамским. Каждой книге за исключением Апокалипсиса предшествует оглавление и иногда предисловие. Но составу кодекса противоречит разбивка на литургические перикопы (зачала), произведенная уже писцами основного текста, с добавлением, вероятно, позже, после изготовления основного текста, киноварных указаний на время чтения каждой перикопы. Как всякая литургическая книга Чудовский кодекс содержит синаксарь и месецеслов. Не читаемый в церкви Апокалипсис разбит на семь равных частей с леммами на полях от «понедельника» до «недели», возможно, для келейного употребления. Приспособлением текста к литургическому применению отражается в Чудовской рукописи основной способ бытования св. Писания в Византии и у славян средневековья.

Отсутствие других полных экземпляров этой славянской версии Нового Завета не следует понимать как свидетельство непопулярности текста в этом его виде. Этот факт говорит о том, что рукописная книжность не испытывала потребности в сборнике такого состава — Новый завет в согрего. По частям этот текст переписывался. Уже Г. А. Воскресенский указал два списка Евангелия с этим же текстом (ГБЛ, фонд 304, 111, № 6/М. 8652, ГПБ, Q п I 1) и один список Апостола (ГПБ, собр. Погодина 27), которые по манере письма и оформлению напоминают оригинал — Чудовскую рукопись. Теперь нам известны также три копии Апокалипсиса (ГБЛ, фонд 304, № 710, фонд 310, № 1, ГПБ, Q п I 6, см. [7]). Именно эта редакция Апокалипсиса отразилась в Острожской библии 1581 г. — непосредственно или через список с текстом смешанного характера вроде рукописи XVI в. из собрания Плюшкина № 46 (БАН). По устному сообщению Н. Б. Тихомирова, в составе собрания Троице-Сергиевой лавры имеются служебные Евангелия, использующие текст Чудовской рукописи. Такие находки не исключены в других крупных монастырских собраниях.

Таким образом, вдохновенный труд одного из восточнославянских книжников XIV в. — возможно, святителя Алексея — всегда привлекал к себе внимание как в церковных, так и в научных кругах (В. Лефельдт приводит ценные указания на интерес к этому тексту, проявленный крупными библистами XVIII в. Миха-

элисом и Грисбахом). Новое фототипическое его переиздание вновь напоминает нам, что в его исследовании еще очень далеко до последней точки. Можно с полной уверенностью утверждать, что критическое издание текста с использованием в аппарате всех только что названных рукописей заложило бы прочное основание для изучения языка этого текста, его происхождения, его места в текстологии славянской версии св. Писания, в культурной и церковной истории нашей страны. В данном случае имеется редкая возможность исчерпать в одном издании всю текстологическую традицию целиком. Такое критическое издание готовят в настоящее время Славянская библейская комиссия, учрежденная Международным комитетом славистов в сентябре 1988 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новый Завет господя нашего Иисуса Христа. Труд святителя Алексея, митрополита Московского и всея Руси / Фототипическое издание Леонтия, митрополита Московского. М., 1832.
2. *Воскресенский Г. А.* Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка по 112 рукописям. М., 1896.
3. *Воскресенский Г. А.* Послания св. апостола Павла. Вып. 1—5. Сергиев Посад, 1892—1908.
4. *Vintr J.* Shody mezi prvnm starofieskym pfekladem bible a staroruskym Novym zakonom tzv. tfeti redakce // Wiener slavistisches Jahrbuch. 1987. Bd 33.
5. *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903, С. 29—31.
6. *Корнеева-Петрулан М.* К истории русского языка. Особенности письма и языка писцов московских владык XIV в. // Slavica. 1937—1938. Т. XV. № 1.
7. *Алексеев А. А.* Кирилло-Мефодиевское переводческое наследие и его исторические судьбы (Переводы св. Писания в славянской письменности) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. X Международный съезд славистов: Докл. советской делегации. М., 1988. С. 145 (примеч. 59).

Алексеев А. А.

Семантика сегодня является, видимо, главной заботой языковедов. Хотя история вопроса, с приливами и отливами, измещается не десятилетиями, а столетиями, глубина и сложность семантических структур понемногу приоткрывается перед учеными лишь сейчас. В ряду трудов, содействующих этому процессу, свое место занимает и рецензируемая монография В. М. Русановского. Она выполнена большей частью на украинском материале, но широко опирается также на русские и белорусские данные, многочисленные факты семантического развития всех других славянских языков. В поисках семантических закономерностей автор активно привлекает и неславянские языки, индоевропейские и неиндоевропейские. При этом диакронический взгляд на вещи (преобладающий в монографии) с необходимостью определяет широкие хронологические рамки анализа семасиологических явлений.

Монография состоит из 12 разделов и заключения. В первом разделе рассмотрены форма и содержание языковых единиц. Форма слова квалифицируется как его фонетическая оболочка и грамматические особенности, а содержание — как отношения номинации. Термином «язык», по мысли автора, обозначается четыре феномена: 1) неопосредованный речевой поток, 2) речевой поток, опосредованный системой вспомогательных знаков (обычно — графем), 3) конкретный язык — реальная сущность, интегрирующая всю совокупность индивидуальных речевых актов, 4) универсальная система, интегрирующая все конкретные языки, — язык человечества вообще. Единицы всех этих феноменов должны не противопоставляться, а отождествляться (с. 11). Эти единицы — звук, интонационная единица, слово, словосочетание и предложение. Фонема же, интонаема, лексема, модель словосочетания и модель предложения суть не единицы языка, а модели познанной стороны реальных языковых единиц, т. е. звуков, интонационных единиц и т. д. Морфемы в состав единиц языка не включаются, интерпретируясь как субъединицы слова.

Подобное осмысление языковых единиц является, конечно же, дискуссионным. Как, например, представить в языке (а не в речи) конкретный звук? Взгляд на фонему как на модель звука вполне правомерен, но ведь и язык точно в той же мере является моделью, извлеченной из совокупности речевых актов. Модель-язык и укомплектован «модельными единицами» — фонемами (а не звуками)!

Вместе с тем концепция языковых единиц, изложенная В. М. Русановским, является оригинальной и, как свидетельствует рецензируемая монография, вполне действенной. Реальная семантика заключена в реальном слове с его реальной историей, а не в каких-то моделях.

Второй раздел посвящен внешней и внутренней формам слова, их взаимозависимости. Излагая и развивая учение А. А. Потебни, автор оценивает внутреннюю форму как общую семему мотивирующего и мотивированного слова (с. 16), как движущую силу языкотворчества (с. 27), как ближайшее историческое расстояние между двумя значениями в развитии лексической семантики слова (с. 25). Внешняя же форма интерпретируется в словообразовательном и морфологическом плане. К примеру, слова с тождественной внутренней формой могут обладать как общностью внешней формы (*правда* и нем. *die Wahrheit*), так и ее различием (*моряк* и англ. *seaman*). Автор всесторонне освещает значение внутренней формы в семантической жизни языка. Внутренняя форма при этом иногда понимается чересчур расширительно, ср. сопоставление укр. *смама* и *мтть*, чеш. *stena* и *stin* «тень» (с. 19), хотя слова эти этимологически не связаны.

В третьем разделе монографии изучается системная обусловленность языковых единиц. Здесь сформулированы и определены понятия семантического и стилистического инвариантов для разных уровней языка. Семантический инвариант — это абстрактная величина, присущая всем подчиненным ему вариантам, а стилистический инвариант — величина конкретная, выступающая в виде одного из реально существующих вариантов (с. 47). Так, на лексическом уровне семантический инвариант суть семема, присущая всей совокупности вариантов, т. е. всему синонимическому ряду, а стилистический инвариант — член синонимического ряда, обладающий наименьшей коннотативностью. Для украинского вариантного (синонимического) ряда *палата, попіи, світлиця, тмната, келля, конура* семантический инвариант — семема «жилое помещение», а стилистический инвариант — слово *гЛнмата*. На морфологическом же уровне семантический инвариант — значение грамматической категории (например, категории времени, реализуемой в вариантном ряду настоящее — прошедшее — будущее), а стилистический инвариант — нейтральная дублетная форма (например, укр. форма 3 л. ед. числа *робить* в дублетной паре *робить — робе*). При этом мини-

мальной единицей лексической семантики является сема (пучок сем), а грамматической — сема. Грамматические семы (например, сема «настоящее время») слагаются не в семемы, а в* категории. Отметим, что в этом разделе, богатом свежими мыслями, термин «сема» оказывается несколько неопределенным. Он то отождествляется с термином «значение» (с. 29), то отделяется от него. Так, на с. 30 выделяется сема слова *робота*, которая «присуща всем значениям» этого слова.

Название четвертого раздела — «Объективные и субъективные элементы языкового значения». Речь здесь идет о денотации и коннотации. Ценность раздела — в углубленном анализе механизма изменения значения слова, который, как правило, опирается на сложные взаимодействия объективного и субъективного семантических элементов.

Следующий раздел посвящен системной обусловленности развития семантики слова. Проблема соотношения денотации и коннотации остается здесь одной из ведущих. Но в орбиту авторского внимания вовлечены и такие диалектически взаимосвязанные явления, как: 1) однозначность и многозначность слова (движение от однозначности к многозначности и наоборот, с восхождением от конкретных значений к абстрактным и развитием новых конкретных значений на базе абстрактных); 2) автономность семантической структуры слова и относительность этой автономности (на протяжении своей истории слово не остается самим собой); 3) развитие синонимии, омонимии и антонимии (синонимическим рядам В.М. Русановский придает первостепенное значение, показывая, в частности, многообразие связи синонимии с антонимией и омонимией); 4) метонимия и метафора как средства номинации.

Противопоставление автором, вслед за И. Павелкой, метафорического и лексического значений (с. 93—94) сомнительно. Лексическое значение противопоставляется контекстуальному, а метафорическое (которое может быть как контекстуальным, так и лексическим) — прямому. Производные лексические значения зачастую оказываются одновременно и метафорическими, ср. *огонь* «пыл, жар, страсть» (как свойство человека, человеческой натуры)». В целом же данный раздел, самый обширный в монографии, представляет собой очерк общей теории исторической семасиологии, содержащий важные обобщения.

Такие же обобщения по грамматической семантике высказаны в шестом разделе «Устойчивость грамматической структуры». Здесь сформулированы основные положения концепции, излагаемой в монографии В. М. Русановского. Это, прежде

всего, мысль о том, что качественные изменения в грамматической системе происходят в результате взаимодействия языковых уровней, а грамматические элементы возникают на базе лексических единиц. При этом влияние лексики на грамматику является внутрисистемным фактором и начинается в синтаксисе, затем доходя (или не доходя) до морфологии (с. 114). Внутривидовые противоречия вообще являются основной движущей силой языкового развития, тогда как экстралингвистические факторы, несомненно действующие в языке, не объясняют причин инноваций и не дают им возможности проникнуть в языковую систему (с. 111—112). Этот механизм грамматической динамики и объясняет устойчивость грамматической структуры, которая насущно необходима для функционирования языка, для обеспечения связи поколений. Так, структура глагольных словоформ и частотность главных глагольных суффиксов за последние 300—400 лет в украинском языке, по наблюдениям В. М. Русановского, почти не изменились. Существенным является также тезис о том, что к словообразовательным принадлежат все без исключения морфемы, так как все они выступают в составе слова (с. 113—114).

Эти два раздела являются ключевыми в исследовании В. М. Русановского. Последующие шесть разделов вносят в сформулированные здесь положения те или иные уточнения и конкретизации, распространяют их на проблему межязыковых контактов, функциональных и экспрессивных стилей, языковой нормы.

Говоря о влиянии межязыковых контактов на семантику (сельмой раздел), автор выделяет и развернуто анализирует, с семантическими акцентами, три типа таких контактов — взаимодействие 1) диалектов, 2) диалектов с литературным языком и 3) литературных языков, а также, соответственно, три типа билингвизма, своеобразно интерпретирует термины «адстрат», «субстрат» и «суперстрат» (с. 132), детализирует свое понимание внутренних законов развития языка, подчеркивает, что «преувеличение или, наоборот, преуменьшение роли экстралингвистических моментов может привести к ошибкам вульгарно-социологического характера» (с. 130).

Тесно связан с этой проблематикой и последующий раздел, посвященный внешним влияниям на развитие лексической семантики. Здесь рассмотрены разнообразные и разновременные заимствования, пришедшие в праславянский, древнерусский и украинский языки из романских, германских, кельтских, финно-угорских, тюркских и др. языков. Автор оперирует в основном традицион-

ными наборами лексем. Так, среди германизмов фигурирует и *вкобь* (с. 146), хотя В. В. Мартынов обоснованно отстаивает славянское происхождение этого слова [1]. Говоря о психологическом восприятии исконных слов как заимствованных, автор, вслед за Л. С. Ковтун, иллюстрирует эту мысль словами *пльнязь* и *цата* (с. 157), которые действительно являются иноязычными (германизмы латинского происхождения). Но в разделе имеются и очень интересные находки, содержательные эпюды семантической динамики украинских наречий, развития калек, тонких! анализ внутриславянских обменов, факторов регуляции своего и чужого в лексике и др.

Переходя в последующих разделах к проблематике семантической структуры языка в его функциональных разновидностях, В. М. Русановский дает определение стиля, охватывающее понятия функционального, экспрессивного и индивидуально-авторского стилей (с. 163), убедительно обосновывает мысль, что экспрессивные стили хронологически предшествовали функциональным (с. 166—167), выделяет в качестве главных семантических параметров функциональных стилей терминологическую и экспрессивную лексику. Если принять тезис В. М. Русановского, что «художественный стиль существует только в письменной форме» (с. 167), то тогда неясно, как быть с мыслью самого автора, что одним из определяющих признаков каждого функционального стиля является связь его письменного и устного вариантов (с. 180).

Сама эта мысль об устойчивых определяющих признаках функциональных стилей представляется важной и конструктивной. Таких признаков, исторически изменчивых, но обязательных, выделяется четыре. Это, помимо названного, функциональное назначение и социальная обусловленность; наличие степеней экспрессивности; набор специфических дифференциальных элементов. Признаки эти, особенно соотношение письменного и устного вариантов стиля и степеней экспрессивности, рассмотрены В. М. Русановским вдумчиво и глубоко, на широком — в лингвистическом и хронологическом отношении — материале.

В семантическом ключе анализируются также вопросы нормы на разных этапах

истории литературного языка. Об исторической динамике нормы В. М. Русановский говорит с присущей всему его исследованию основательностью, с определением понятий, с опорой на данные разных языков и разных хронологических срезов. Раздел о норме содержит очень много принципиально новых положений, касающихся соотношения донациональных и национальных языков, типологического анализа развития литературных языков, соотношения литературного языка и диалекта. Он хорошо показывает, сколь глубоко разбирается современная наука в проблемах становления национальных литературных языков и их норм, как далеко ушла от плоского и прямолинейного тезиса, бытовавшего 20—25 лет назад, что новые литературные языки формируются на базе определенных, весьма узко очерченных диалектов.

Завершающий раздел монографии рассматривает значение межязыковых контактов для стилового обогащения литературных языков. Здесь речь идет о взаимоотношении языков на уровне мифа, фольклора, художественной литературы и ее переводов, международного сотрудничества языков. Важны и плодотворны мысли автора о двух этапах заимствования — материальном и семантическом. По словам В. М. Русановского, «язык оставляет полностью открытой для проникновений свою семантическую структуру, зато ставит могучие фильтры для материальных носителей семантики» (с. 218). И поэтому, сохраняя свою специфику, литературные языки вместе с тем «...напоминают собой соединенные сосуды, в которых естественно поддерживается одинаковый уровень семантического наполнения» (с. 219).

Монография В. М. Русановского — одно из ярких достижений украинской советской лингвистики. Ее результаты обогатят общую и историческую семасию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Мартынов В. В.* Глоттогенез славян. Опыт верификации в компаративистике // ВЯ. 1985. № 6. С. 45—46.

К арпенко Ю. А.

Жекарвальный журнал Japan Echo, выходящий в Токио на английском языке и ставящий своей целью «давать в каждом номере полные или частичные переводы значительных статей известных комментаторов, написанных для японской аудитории и опубликованных в ведущих журналах, выходящих на японском языке» (с. 1), посвятил специальный выпуск не совсем обычной для журнала теме — японскому языку, его основам, корням, современному состоянию и условиям функционирования в обществе, наконец, перспективам его развития. Фактически этот номер журнала представляет собой сборник статей ведущих японских лингвистов, историков и экономистов, обращающихся к широкой иноязычной аудитории.

Успех подобного начинания во многом, если не в решающей степени, зависит от искусства составителя и редактора, которому нужно из отдельных статей собрать мозаичную, но яркую картину явления. В данном случае это удалось. В столкновении противоречивых оценок, личных пристрастий и антипатий, собственного опыта и ссылок на предшественников, сопоставлений результатов статистических исследований и отдельных слов, вырванных из широкого потока языковой практики, встает объемная картина развития живого, цельного в своей противоречивости японского языка, впитавшего в себя все достижения культуры японского народа и выстоявшего в самых, казалось бы, неблагоприятных условиях.

Общее представление о современном состоянии японского языка дает первая статья сборника «Некоторые характерные черты японского языка», написанная проф. Х. Киндайти. Она достаточно традиционна по духу и указывает прежде всего на особенности, отличающие японский от других языков: компактность ареала его распространения (вплоть до недавнего времени по-японски говорили только японцы и только в Японии; нигде, кроме Японии, он не используется в качестве официального языка); существование единого национального языка при широком распространении региональных диалектов и профессиональных жаргонов; заметные лексические и грамматические различия в речи мужчин и женщин; наличие широкого спектра вежливых форм и ситуационных клише. В этом списке не хватает самого главного — упоминания о сложной системе письменности, в которой, кроме заимствованных из Китая иероглифов, используются две слоговые азбуки — хирагана, которой записываются изменяемые части слов, а иногда и целые слова, и катакана, применяемая сейчас в основном для записей

заимствований из европейских языков. Впрочем, эта особенность японской письменности хорошо известна; в рецензируемом сборнике ей посвящена значительная часть предисловия, написанного С. Миурой. Кроме того, в предисловии затрагиваются и другие вопросы, которые могут представить интерес для неподготовленного читателя: эволюция японского языка вместе с обществом, роль языка в повседневной жизни японского человека, языковое образование и т. п. Манера изложения у С. Миуры также достаточно традиционна.

А вот следующий материал — диалог этнографа М. Маубары и писателя Р. Сибы о происхождении японского языка — сразу бросает читателя в гущу лингвистических дискуссий; вопрос о корнях и предшественниках японского языка столь же естественный, сколь и трудный. Сам диалог идет в очень типичном для японцев стиле «нмаваси» (букв. «окучивание, окапывание корней»), когда аргументы собеседников не сталкиваются, а дополняют друг друга, охватывая все более широкий круг понятий, что позволяет детально осветить все грани проблемы, не разрушая ее тонкую структуру грубым аналитическим вмешательством. Однако не являясь специалистами-языковедами, участники диалога, естественно, не могут глубоко проникнуть в эту исключительно сложную проблему, ограничиваясь интересными, но непрофессиональными замечаниями. От весьма вольных сопоставлений звучаний слов «рис» и «бамбук» в японском языке к южнокитайских диалектах собеседники переходят к изложению результатов несколько более серьезных исследований, намечают связи японского языка с малайско-полинезийскими и алтайскими языками.

Казалось бы, при анализе степени родства японского с другими языками естественно обратиться к плодам весьма развитой ветви языкознания, каковой является компаративистика. Однако участники диалога то ли вообще не знают о ее существовании, то ли сознательно избегают обращения к строгим научным результатам, ограничиваясь популярными версиями, к тому же слабо подкрепленными фактическим материалом. Конечно, возможности компаративистики применительно к японскому сильно ограничены определенной уникальностью этого языка, но полностью пренебрегать ею по меньшей мере нелогично. Остается полагать, что сделано это сознательно, чтобы не терять принятого в сборнике типично популярного стиля изложения.

В последнем убеждает и то обстоятельство, что участники дискуссии часто

обращаются и к другим вопросам, на первый взгляд, далеким от чисто лингвистических проблем. В частности, им интересно, почему в Японии отсутствует традиция акынского, импровизационного пения, столь распространенная в других странах Восточной Азии. Связано ли это с отсутствием глубокого внутреннего ритма в японском языке? Собеседники считают, что это именно так и что это как раз и отличает японский язык от тех языков, с которыми его пытаются связать: и от австронезийских, и от монгольских, и от корейского.

Естественно, завершается диалог М. Мацубары и Р. Сибы melancholicным резюме: «...практически каждый исследователь, стремившийся установить связь между японским языком и конкретным семейством языков, сталкивался с сильной оппозицией» (с. 14) других лингвистов. Вопрос о корнях японского языка остается открытым, и языковедам предстоит еще большая работа для установления окончательной истины.

Интересный материал для размышлений дает статья проф. Т. Исивата «Займствований в исторической перспективе». Займствованиям посвящено большое число работ японских и зарубежных исследователей. Вместе с постоянными жалобами на засилье иностранных слов в среде лингвистов звучат и трезвые оценки необходимости и правомерности займствований. Они СИЛЬНО осекают лексику языка, привлекая внимание слушателей и читателей необычностью облика, и потому часто используются в текстах рекламно-информационного характера; применение займствований снижает число омофонов и делает речь более понятной на слух. Скажем, японское слово *сирину* означает, в зависимости от используемых для написания иероглифов, и «частный», и «муниципальный», и в первом значении иногда заменяется займствованием *пайвэнтто* — от англ. *private* «частный». Многие займствования пришли в язык из интернациональной научно-технической лексики, например, *эндзиниарингу* (от англ. *engineering* «техника, машиностроение»), *рэ:дза:* (от англ. *laser* «лазер»).

Казалось бы, наплывы прямых займствований всегда должны совпадать с периодами наибольшей «открытости» страны и активизации ее связей с внешним миром. Однако если сравнить два таких периода — «открытие» Японии в середине XIX в. после двухсотлетней самозащиты и период после 1945 г., когда послевоенная Япония активно искала свое место в современном мире, — то половодьем фонетических займствований сопровождался лишь последний период. Почему? Почему в самый, может быть, критический момент японской истории, в 1860—1870-х

годах, когда выявилось колоссальное отставание Японии от западных стран, когда вооруженные самурайскими мечами и кремневыми ружьями японцы встречали броненосцы западных держав, когда Япония бросилась учиться у Запада, перенимая там манеры, одежду, образ жизни, научно-технические достижения, когда, казалось бы, вместе с ними должна была исключительно быстро впитываться западная лексика и терминология, японский язык не пошел по пути фонетических займствований, столь типичному для нашего времени? Почему развитие языка пошло другим, гораздо более медленным и неэффективным путем — из большого запаса функционировавших в письменном языке китайских иероглифов составались новые, отсутствующие в китайском языке слова, которыми и стремились передать займствованные с Запада понятия?

Проф. Исивата связывает ответ на этот вопрос с традициями Токугавской Японии, из которой вышли реформаторы эпохи Мэйдзи (1868—1912 гг.): «В Японии эпохи Мэйдзи западная культура воспринималась в основном через печатное слово, главным образом, через переводы на японский западных сочинений. Интеллектуалы эпохи Мэйдзи были хорошо знакомы с китайской классикой и обладали обширными познаниями в китайской иероглифике. Они нашли применение своим знаниям, создавая сотни новых слов, необходимых для перевода иностранной литературы, и таким образом способствовали развитию культуры Мэйдзи» (с. 18).

Думается, дело не только в приверженности деятелей эпохи Мэйдзи к китайской классике. Глубокие воздействия отличной от японской культурной традиции потребовали для подготовки адекватного культурного отклика обращения к самым основам японского языка, привлечения его золотого фонда, который, несомненно, составляет иероглифика. Это не только система символов, способная в краткой графической форме передать самые сложные, самые отвлеченные понятия, но и культурологическая система, аккумулировавшая весь опыт, образ мыслей и традиции восприятия мира японскими людьми. Глубокое воздействие обусловило и глубокий лингвистический отклик.

Послевоенный наплыв займствований выглядит с этой точки зрения несколько по-иному. Прежде всего он совпал по времени с активным выходом Японии на внешние рынки, который осуществлялся путем займствования научно-технических и других достижений на уровне патентов и ноу-хау, т. е. на более «поверхностных» уровнях, не требующих глубоких изменений структуры мышления. Наиболее восприимчивые к займствованиям отрасли знания, такие, как спорт, мода,

легкая музыка и др., — испытали сильное влияние массовой культуры, отличительной чертой которой служит порой принудительный ассортимент понятий «общества потребления», постоянно, сменяющих ДРУГ друга. В таких условиях фонетические заимствования часто не успевали прижиться в языке и смысливались новыми терминами, набегавшими вместе с новыми понятиями. Дополнительную поддержку фонетическим заимствованиям оказала общая интернационализация и диверсификация международной общественно-политической и научно-технической лексики. Наконец, как же говорилось, нельзя сбрасывать со счетов и широчайшее распространение в послевоенные годы информации и рекламы, которые для привлечения внимания зрителя и слушателя должны обладать некоей «пикантностью» или «неожиданностью». Для таких целей идеально подходит заимствования, отличающиеся своим необычным фонетическим и зрительным обликом и потому «выступающие» из общего информационного потока.

К слову сказать, в зрительном плане эти возможности заимствований были относительно быстро исчерпаны. В настоящее время для привлечения внимания в текстах такого рода используются и латиница, и некие абстрактные геометрические фигуры, и транскрипционные знаки, и — снова! — немалое количество иероглифов, малоупотребительных прежде, что лишний раз свидетельствует об их непреходящем значении в письменном языке. В самое последнее время иероглифическая база языка еще более расширилась в связи с появлением словопроцессоров, о которых пойдет речь ниже.

Короткая статья Ё. Инагаки посвящена социологическим опросам, призванным определить самые популярные слова японского языка. Так, исследование, проведенные в конце 70-х годов, выявили безусловное первенство слова *дорёку* (усилия), что, по мнению автора, хорошо отражает стремление японцев к общим усилиям ради достижения желаемого результата. Среди отдельных иероглифов первенствовали знаки *ай* (любовь), *макото* (искренность) и *юмэ* (мечта) — главным образом, благодаря изысканному виду этих иероглифов.

Естественно, результаты таких опросов мало кто принимает всерьез; скорее, это свидетельствует о широте тематики лингвистических исследований и используемых в них подходов. Такое положение дел, по-видимому, традиционно для японской лингвистики. Об этом говорит хотя бы статья «Революционеры в лингвистике современной Японии», написанная Т. Коидзуми.

Здесь мы встречаемся с разоблачением

еще одного распространенного мифа — мифа об отсутствии ярких индивидуальностей в истории японской науки и японской истории вообще. «Японский монолит» скрывает отдельных людей, до сих пор нам мало что известно о личностях творивших эту историю.

Аринори Мори — яркая личность яркого периода японской истории — первых лет периода Мэйдзи — один из героев очерка Т. Коидзуми. Происходивший из знатного самурайского рода Сацума, А. Мори начал свою сознательную жизнь поступком неслыханным — в 17-летнем возрасте, в 1865 г., в нарушение всех законов, запрещавших японцам покидать страну, он с большой свитой выехал в Англию, где изучал европейскую историю, физику, химию, математику, принял христианство. В 1875 г. вернувшийся в Японию Мори — жених на первой в Японии свадьбе по европейскому образцу: с белой вуалью у невесты, с брачным контрактом и без синтоистского священника. Стремительная жизнь и карьера Мори — посол в Китае, посол в Англии, министр просвещения в первом японском кабинете министров, основатель всей системы народного образования — столь же резко оборвалась: 11 февраля 1889 г., в день, когда была принята первая японская конституция, Мори был убит в своем доме неким Бунтаро Нисино, фанатичным приверженцем «пути богов», за якобы недостойное почтение к осященным веками церемониям при посещении главного синтоистского святилища в Исэ.

Собственно лингвистические взгляды Мори отличались крайним экстремизмом: видя почти безнадежное отставание Японии от стран Запада, он считал единственным путем спасения страны полный отказ от японских традиций и языка и замену последнего на английский.

Утопичность подобных взглядов несомненна, их легко не только критиковать, но и высмеивать, что с тех пор неоднократно и делалось. Конечно «добровольный отказ от родного языка был бы равносителен культурному самоубийству народа. Но взгляды Мори слишком экстравагантны, чтобы не попытаться понять причины их возникновения. Сейчас с большим трудом можно представить себе ту пропасть, которая отделяла Японию от остального мира во времена Мори. Почувствовать глубину этой пропасти можно уже на том простом факте, что трактат самого Мори «Религиозная свобода в Японии», написанный на ломаном английском языке в 1872 г., на японском в это время написан быть не мог в принципе: соответствующие термины в японском языке почти начисто отсутствовали, скажем, слово *скай* (общество) было

«изобретено» Гэнъитиро Фукути только в 1875 г. Пессимистический прогноз Мори относительно развития японского языка, к счастью, не оправдался; язык выстоял и вышел на новый виток своего развития.

На следующей фазе языкового существования крайние точки зрения уже не имели той новизны, что воззрения Мори, и рассматривались уже как чистые курьезы. К ним можно отнести предложение известного писателя Наоя Сита о замене японского языка на французский, высказанное, правда, также на изломе новой японской истории в 1946 г., или немногочисленные попытки популяризации латиницы, не находящие массового отклика.

К статьям «реформаторского» цикла в рецензируемом сборнике примыкают заметки С. Маруя под характерным названием «Глупость языковой реформы». Аргументы Маруя против реформы японской письменности аналогичны уже изложенным: в стране, где традиционно почитается письменное слово, где иероглифами оклеен каждый клочок свободной поверхности стен в торговых кварталах, в стране, где иероглифы на ширмах, вазах, раздвижных дверях, где каллиграфия — древнейшее и самобытное искусство, всякая реформа, переводящая язык на европейские лингвистические рельсы, обречена на провал. «Есть ли на свете страна настолько идиотская, чтобы реформировать свой язык для удобства иностранцев?» — спрашивает автор (с. 34). Вопрос, конечно, риторический.

Как известно, в послевоенные годы в лингвистических кругах Японии иолучили широкое распространение идеи школы языкового существования (япон. *гэн-го сэйкацу*); японскими учеными был сделан существенный вклад в развитие этих идей. В работе М. Ямадаки традиционный круг вопросов, анализируемый адептами этой школы, освещается под новым углом зрения. Фактически заметки Ямадаки — это своего рода лингвистические мемуары, записки о языковом существовании одного человека — их автора, которые тем не менее весьма интересны и типичны как свидетельства изменений, происшедших в языковой ситуации за время жизни людей одного поколения (Ямадаки родился в 1934 г.). Детство автора, прошедшее в оккупированной японцами Маньчжурии, оставило след знакомства со многими языками и восприятие своего родного языка через его письменный компонент, вернее, через тексты школьных хрестоматий. В результате даже после возвращения в Японию автор, довольно быстро овладев диалектами Киото и префектуры Кумамото, где ему довелось жить, — по-прежнему мыслит категориями письменного языка.

Закрепили эту ситуацию и занятия китаяским, которые сводились в основном к декламации отрывков из произведений классиков, и изучение английского, которое в послевоенной ЯПОНИИ было ограничено чтением книг. В результате такого процесса обучения, который, по словам автора, был весьма типичен для людей его поколения, сложилась языковая практика, при которой человек делает «упор на том, что сказано, не задумываясь о том, как сказано» (с. 36).

В такой ситуации послевоенная реформа образования, ориентированная на примат устной речи и упрощение иероглифики, сослужила, как считает Ямадаки, плохую службу. Основные ценности и выразительные средства языка, лежавшие в его письменном компоненте, оказались отодвинутыми на задний план, и произошло *общее* падение языкового уровня, сопровождавшееся наплывом разговорных форм, неясностями и неточностями, характерными для устной речи. В свою очередь, устная речь, став главным компонентом языка, испытывала непосильную нагрузку, в результате чего перестала играть присущую ей роль и также сильно упростилась. Этому способствовало и развитие средств массовой информации — дополнительный импульс в сторону унификации языка. Свои языковые воспоминания Ямадаки завершает на печальной ноте: «На сцене и в обыденной жизни мы бесечно относимся к нашей речи, ошибочно полагая, что нужные слова придут к нам сами собой, как по волшебству... В результате нашу устную речь нельзя записать, а письменный текст невозможно прочитать вслух» (с. 42).

Ситуация, конечно, не столь трагична, хотя, несомненно, процесс развития японского языка сталкивается с определенными трудностями. Кроме отмеченных Ямадаки, можно выделить широкий спектр новых проблем, связанных с внедрением в повседневную жизнь японцев все новых и новых средств передачи и обработки информации, непосредственно затрагивающем и языковую сферу. К таким средствам относятся и так называемые словопроцессоры — своего рода симбиозы пишущих машинок и персональных компьютеров. Они обладают огромными возможностями для хранения, редактирования, корректирования и печатания текстов. Для Японии появление словопроцессоров оказалось сушей находкой — они мгновенно вытеснили громоздкие пишущие машинки: ведь весь многотысячный набор иероглифов теперь может храниться в памяти компьютера, а человек, работающий за словопроцессором, может набирать текст японской слоговой азбукой или латиницей — ЭВМ автоматически выберет соответст-

вующие знаки и распечатать текст в виде привычной японскому глазу смеси из иероглифов, хираганы и катаканы. Впрочем, как отмечает в своей статье «Японский язык в эру словопроцессоров» М. Номура, за эти блестящие возможности нужно платить немалую лингвистическую цену. Трудности применения словопроцессоров связаны прежде всего с обильной омофонией в японском языке: множество слов, пишущихся разными иероглифами, на слух, а значит, и при записи азбуккой, выглядят совершенно одинаково, и ЭВМ не может их различить. Сам Номура приводит характерный пример того, как эта особенность языка затрудняет работу со словопроцессором. Стандартная вежливая концовка письма *торисоги ё : ё : номи* (букв, «[написано] в спешке, [поэтому ограничиваюсь] только самым главным») в интерпретации компьютера записывалась знаками, обозначающими «быстро пью, чтобы напиться».

Конечно, проблемы не только в том, чтобы различать омофоны (в словопроцессорах последних моделей машина выдает несколько вариантов написания отдельных слов, если они есть). Примененные словопроцессоров ограничивается и такими особенностями, японской орфографии, как отсутствие стандартного написания слов: в зависимости от контекста, а часто и в одном контексте, слово может писаться либо иероглифами, либо каной, либо сочетанием тех и других знаков — никаких жестких правил на этот счет нет. Как это объяснить компьютеру?

И еще одна особенность современной ситуации. Многие фирмы — производители словопроцессоров закладывают в их компьютерные словари иероглифические написания слов, которые в современной языковой практике пишутся почти исключительно азбуккой; таким образом, происходит «реанимирование» части иероглифов и их чтения, притом что значительная часть читателей их может не знать. Наконец, многими исследователями, в том числе и автором статьи, высказываются опасения, что распространение словопроцессоров приведет к общему падению уровня грамотности по той простой причине, что японцы, читая иероглифы, разучатся их писать и будут полагаться в этом только на память компьютеров. Насколько обоснованны эти опасения — покажет будущее. По крайней мере, ясно, что японскому языку придется существовать во все более тесном взаимодействии с новыми информационными системами, и не учитывать этого лингвисты не могут.

Другой взгляд на перспективы развития языка в этих условиях изложен в об-

зорной статье известного экономиста М. Моритани, написанной широкими, яркими мазками. Перспективы, по его мнению, самые светлые: здесь и возможность составления с помощью компьютера любовных посланий в самых разных стилистических вариантах, здесь и компьютеризированное сочинение романов из заготовок-полуфабрикатов, созданных известными писателями, здесь и распространение машинного перевода и связанные с этим изменения строя языка...

Киюо Номото, генеральный директор научно-исследовательского института родного языка, несколько лет назад выдвинул идею о возможности обучения иностранцев началам японского языка на основе разработанной им упрощенной модели японского языка, в которой словарный запас и грамматические правила сведены к минимуму. Эти идеи были встречены резкой критикой не столько из-за утопичности программы как таковой, сколько из-за того, что при построении модели Номото не только упростил язык, но и исказил его (так, в упрощенном варианте языка «для единообразия» предлагалось использовать не существующую в реальном языке отрицательную форму связки *дэези* вместо *дэ ва аримасэн* «не быть»). В данной статье Номото, учтя критику, предлагает обновленный вариант своей модели, содержащей около 2000 слов и около 1000 иероглифов,— для тех, кто намерен пойти в изучении дальше разговорного языка. Впрочем, на основании одной статьи трудно судить, насколько приемлем новый вариант «упрощенного японского».

Из остальных материалов рецензируемого номера журнала привлекает внимание стенограмма круглого стола «Глобализация японского языка». Модное слово «глобализация» в данном случае использовано совершенно уместно. В последнее время наблюдается подлинный взрыв интереса к японскому языку: в разных формах японский изучает сейчас более двух миллионов человек. Естественно, японские лингвисты не могут стоять в стороне от этого процесса. Нельзя не согласиться с мнением Т. Уэмэса: «Японская цивилизация но является уникальным образованием, доступным только для японцев, она содержит универсальные элементы, которые могут разделить с ней народы других стран мира» (с. 62). Японский язык — один из неотъемлемых компонентов этой цивилизации. Рост интереса в мире к японскому языку, по мысли участников дискуссии, объясняется не только успехами страны в экономике, но и общим сдвигом мирового сообщества от европоцентристской точки зрения на мир к более универсальным воззрениям, обращением к культурным основам одной из

интереснейших дальневосточных цивилизаций.

Для японцев этот интерес будет иметь и оборотную сторону: с выходом языка на международную арену они потеряют своего рода право собственности на язык, и его развитие будет уже не в полной степени определяться языковыми процессами, протекающими в стране-прародительнице языка. В «глобализованном» языке, вероятнее всего, произойдут лексические и грамматические изменения, неприемлемые для ревнителей лингвистических традиций.

Ограниченный объем заметок не позволяет детально рассмотреть все статьи сборника, однако общий вывод сомнений не вызывает: цель, поставленная состави-

телями, достигнута. Читатели получают ясные представления о самых разных аспектах жизни японского языка. Конечно, было бы наивным ожидать от популярного журнала научной строгости и взвешенности оценок, притом что подавляющая часть материалов посвящена не традиционным проблемам грамматики, фонологии и семантики, а социолингвистическим аспектам языка, где вряд ли могут быть выработаны строгие критерии истинности. Под этим углом зрения и нужно рассматривать журнал, который, думается, будет интересен как профессионалам, так и всем неравнодушным к Японии.

Кручина Е. Н.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

13—15 декабря 1988 г. в Новосибирске (Академгородок) состоялась III Всесоюзная конференция «Исследования звуковых систем языков аборигенов Сибири и сопредельных регионов», организованная Лабораторией экспериментально-фонетических исследований Института истории, филологии и философии (ИИФФ) СО АН СССР. В ее работе приняли участие около 90 представителей 10 НИИ и 29 вузов из 25 городов 7 союзных и 5 автономных республик, а также 2 автономных областей. Конференция подвела итоги работы фонетистов за пять лет, прошедших после II Всесоюзной фонетической конференции (Новосибирск, 1983), определила и скоординировала задачи предстоящих исследований.

На четырех пленарных и трех секционных заседаниях было заслушано и обсуждено 64 доклада по проблемам общей фонетики и фонологии, вопросам изучения звукового состава и систем фонем языков и диалектов Сибири и сопредельных территорий (тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, финно-угорских, обско-угорских, самодийских, енисейских, палеоазиатских) в синхронии и диахронии. Важно отметить возросший интерес фонетистов-экспериментаторов к исследованию просодических систем, морфонологических и фонотипических процессов, перцептивной фонетики — направлениям, мало разработанным в сибирских исследовательских центрах.

Открывая конференцию, директор ИИФФ акад. А. П. Деревянко (Новосибирск) отметил актуальность задач, стоящих перед созданной заслуженным деятелем науки Тувинской АССР В. М. Наделевым сибирской школой фонетистов. Сложившаяся языковая ситуация требует принятия экстренных мер по фиксации и всестороннему изучению языков малых народов Сибири, претерпевших значительный урон из-за серьезных ошибок в практике проведения языковой политики, в связи с чем возникла реальная опасность исчезновения целого ряда языков, уже сейчас насчитывающих предельно ограниченное

число носителей. Экология культуры, важнейшей составляющей которой является язык нации, нуждается в защите. Деятельность сибирской фонетической школы направлена на объединение усилий представителей академической, отраслевой и вузовской науки в рамках комплексной целевой программы «Культурное наследие народов Сибири и русского народа».

Большой интерес вызвал доклад В. Б. Касевича (Ленинград) «Синтагма и восприятие», в котором рассматривалась роль синтагмы как оперативной единицы в процессах восприятия речи. Приводились данные экспериментов на материале русского, китайского и японского языков, демонстрирующие разную структуру перцептивно вычленимых синтагм в зависимости от типа языка и динамику членения на синтагмы в пределах текста.

Б. В. Поспелов, К. И. Долотин, М. И. Каплузи (Москва) показали значимость и возможности использования методов анализа и синтеза речевых сигналов в лингвистических исследованиях. Новый метод аппаратурно-программного изучения речи представили Р. К. Потапова, Н. А. Сарсембаева, Б. А. Абдиев (Москва). Проблематике математического моделирования формантной структуры вокалических звукотипов и их систем посвящен доклад А. Д. Тяпкина (Рига).

Ряд докладов был посвящен различным аспектам современного синхронного состояния вокалических систем в языках народов Сибири. Б. Б. Феер (Томск) в докладе «Фонация гласных» предложил учитывать вид звуковой фонации и способ ее протекания при решении спорных вопросов релевантности сегментных и суперсегментных явлений. Состав гласных фонем в сагайском и качинском диалектах хакасского языка выявила Г. В. Кыштымова (Новосибирск). Конститутивно-дифференциальные признаки, структурирующие подсистемы гласных в ряде тюркских языков, анализировались на материале шорского языка Ф. Г. Чиспяковой и Н. В. Шавловой (Новокузнецк), кумандинского — И. Я. Селюкиной

(Новосибирск), чадканского — В. Н. Кокориным (Барнаул), бачатско-тедуганского — Н. В. Гаврилиным (Барнаул), кумыкского — Н. Х. Ольмесовым (Махачкала), узбекского — С. А. Атамирзаевой (Ташкент). Исследование артикуляционно-акустических параметров фарингализованных гласных и горлового пения позволило К. А. Бичелдею (Кызыл) констатировать наличие корреляции стиля «сыгыт» с фарингализацией. Б. И. Татаринцев (Кызыл), рассмотрев особенности перехода $a > ы$ в первых слогах слов тувинского языка в ареальном, дистрибутивном и хронологическом планах, пришел к выводу о его независимом и автономном развитии. Н. В. Деннинг (Томск), поделившаяся наблюдениями над некоторыми фонетическими процессами в системе селькупских гласных, отметила, что в центральных селькупских диалектах вследствие падения редуцированных нивелировалась разница между исторически консонантными основами и основами на редуцированный; эта разница, однако, восстанавливается в парадигматических формах как отражение разных этапов общесамодийского процесса.

Актуальные проблемы диахронических исследований консонантных субсистем были освещены в целом ряде докладов. Н. Н. Широбоква (Новосибирск) в докладе «О субстрате в якутском языке» проследила закономерности исторического развития переднеязычного спиранта s и гуттуральных, указывающие на связь якутского языка с языками циркумбайкальского региона. Это первый этап перехода $s- > h- > 0$ в анлауте при сохранении интервокального $-s-$ и изменения дистрибуции заднеязычных и увулярных согласных. Аналогию этим изменениям автор находит в некоторых языках тунгусо-маньчжурской группы (эвенский, негидальский и др.), но не в эвенкийском, с которым якутский язык взаимодействует уже на другой территории а в более позднее время.

Ш. Ц. Купер (Томск), рассмотрев фонетические процессы, потенциально или реально участвующие в генезисе шумных звонких согласных фонем в диалектах селькупского языка, предложил схему фонологизации с привлечением морфологической информации ли примеров с большой фонетической вариативностью. Аналогичная проблема проанализирована в совместном докладе Я. А. Глухого, Ш. Ц. Купера, Ю. Л. Морева (Томск) на материале энецкого языка. По мнению докладчиков, большая вариативность долготы шумных согласных ($tt \sim t$, $dd \sim d$ и т. д.) и стопроцентная стабильность в проявлении признаки глу-

хости/звонкости свидетельствуют о фонологичности противопоставления в системе по признаку участия/неучастия в артикуляции голосовых связок. Н. Б. Бадагаев (Элиста) в докладе «О неустойчивости аффрикат в алтайских языках» проанализировал процессы спирализации аффрикат в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках и определил локальные зоны максимальной концентрации этого процесса. М. В. Филимонов (Томск), выявив систему регулярных кето-шумерских звукоответствий с учетом бинарных звуковых корреляций между основным и «женским» вариантами енисейской и шумерской языковых группировок, пришел к выводу о наличии следов «женского» (эмсального) варианта в северокавказских и ностратических праязыках. Корреляции вокальных и консонантных систем посвящены доклады Р. Ф. Деннига (Томск) «Редукция безударных гласных и ее влияние на консонантизм кетского языка» и Ю. А. Морева (Томск) «Проблема долготы в звуковом строе селькупского языка».

М. И. Трофимов (Ош), анализируя фразовое и логическое ударение в тюркских языках и трактуя фразовое ударение как компонент акцентной характеристики тюркского слова, привел ряд примеров, подтверждающих существование этого фактора как отличного от собственно словесного или тактового ударения. Некоторые проблемы акцентуации татарского языка рассмотрел Х. Х. Салимов (Елабуга). Отрицая наличие словесного ударения в казахском языке, С. Б. Жанабаева (Джамбул) считает, что акцентная выделенность одного из слогов является признаком ритмического ударения в рассматриваемом звуковом отрезке. Характер, локализация и функциональная нагрузка словесного ударения в языке казымских ханты составили предмет исследования Г. Г. Куркиной (Новосибирск). На конференции получили также освещение актуальные направления изучения интонационных систем языков народов Сибири и языков, типологически сходных, выявлены структурно-семантические модели предложений с различной коммуникативной установкой, определена роль фонетических факторов в ритико-мелодической организации речи.

Значительный интерес аудитории вызвал доклад Д. Маркус, А. Сарканиса (Рига) «Латышский язык в некоторых поселениях Сибири и Башкирии». Фонетико-фонологический анализ языка старожилов латышских поселений в Красноярском крае и в Башкирии в сопоставлении с данными, полученными на материале языка латышей Лат-

вии, позволил исследователям выдвинуть гипотезу о том, что наиболее устойчивыми фонетическими аспектами латышского языка (диалектов) как на основной этнической территории, так Я" на изолированных территориях проживания латышей являются система вокализма, словесное ударение первого слога, словесные интонации и фонологическая оппозиция по краткости — долготе. А. В. Е с и о в а (Новокузнецк) заострила проблему возрождения и развития шорской письменности.

В рамках конференции под председательством В. Б. К а с е в и ч а состоялся симпозиум по дискуссионным проблемам сингармонизма — явления, характерного для языков урало-алтайской типологической общности. Раскрывая специфику сингармонизма в селькупском языке и рассматривая его как остаточное явление, Ю. А. М о р е в (Томск) признал ведущим началом в организации селькупского слова ударение, а не сингармонизм. Оригинальная трактовка тюркского сингармонизма как нивелирующего ударение предложена А. Д ж у н и с б е к о в ы с і (Алма-Ата) в докладе «Фонология сингармонизма и синлабическое письмо». Компромиссное решение проблемы предложено А. В. К а б а н о в ы м (Абакан), по мнению которого ударение и сингармонизм сосуществуют в хакасском языке. Рассматривая сингармонизм как явление, определяющее весь фонетический облик слова — его вокализм, консонантизм и синлабику, С. К у р е н о в (Ашхабад) выделил для туркменского языка 12 сингармонических слоготипов. Об особенностях реализации губной гармонии гласных в туркменском языке и ее роли в организации фонетической цельноформленности слова доложил Д. Г о к л е н о в (Ашхабад). Констатировав «Случай нарушения гармонии гласных в итагильском языке», М. М. Х а с а н о в а (Владивосток) высказала предположение о начавшемся разрушении сингармонической системы, истоки которого следует искать в истории развития языка. А. О. О р у с б а е в, К. К. У м у р а л и с е в а (Фрунзе) в докладе «Сингармонизм и проблема совершенствования графики и орфографии киргизского языка» обосновали несостоятельность введения в киргизский алфавит букв для обозначения глубокоязычных согласных ɛ, и *, поставили ряд новых задач по совершенствованию графики и орфографии. Важную роль сингармонизма в звуковой организации тюркского стиха показал на материале башкирских протяжных напевов Ф. Х. К а м а е в (Уфа). Дискуссии, возникшие на симпозиуме по проблемам истории сингармонизма, его характера и фонологической

сущности, стали значительным шагом к достижению взаимопонимания лингвистов.

Конференция приняла ряд постановлений и рекомендаций, направленных на совершенствование фонетических исследований.

Селютина И. Я. (Новосибирск)

С 18 по 21 октября 1989 г. в г. Пензе проходило первое Всесоюзное совещание «Проблемы фоносемантики». Устроителями этого совещания были Институт языкознания АН СССР, Госкомитет РСФСР по народному образованию и факультет иностранных языков Пензенского государственного педагогического института им. В. Г. Белинского.

Как показывают тезисы выступлений («Проблемы фоносемантики», М., 1989 г.), изданные к началу совещания, в рамках этого лингвопсихологического направления в современном языкознании особое внимание уделяется общим и смежным вопросам фоносемантики, методам изучения фоносемантических средств, фоносемантическим свойствам языковых единиц, фоносемантическим средствам в рождении и восприятии речевого высказывания и текста, фоносемантическим средствам языка и фоносемантическим средствам в художественных текстах.

В качестве доклада К. У. Ш а д р и н а (Пенза) представила методические материалы — выборки из очерка Жана Старобинского «Слова под словами: анаграммы Фердинанда де Соссюра». В этом очерке комментируются записи Ф. де Соссюра по поводу анаграмм: в частности, тот понятийный аппарат, который мог бы быть применен к описанию анаграмматических эффектов в прозе и поэзии (параграмма, логограмма, гипограмма, дифон и манекен, пролиферация).

В докладе А. В. Пузырева (Пенза) «Анаграммы как фоносемантическое средство: перспективы изучения» указывалось, что наиболее важным в ближайшем будущем представляется а) уточнение анаграмматической терминологии (анафония, криптограмма, трифон, ключевое слово), б) проверка реальности существования анаграмм, анализ анаграмм в прозаической и поэтической речи, выяснение их стилистического значения, в) связь порождения анаграмм с рождением речевого высказывания/текста и с творческими способностями, г) сопоставление анаграмматически организованных разноязычных текстов, д) история анаграмматических исследований.

Соотношению фоносемантики и грамматики был посвящен доклад С. В. В о р о н и н а и И. Б. Д о л и н о й (Л е

нинград), в котором рассматривались глаголы, «увязывающие» пролонгированность/непродолгованность называемого глаголами действия с долготой/краткостью звукового рисунка — инстанты, континуэнты и фреквентативы (инстанты — точечные, а континуэнты — процессные предикаты. Фреквентативы же — мультипликативные предикаты, указывающие и на отдельные микродействия, и на весь процесс, состоящий из таких микродействий).

В докладе «О фоносемантической модели слова» С. В. Никифорова и А. М. Холода (Днепропетровск) излагались результаты ассоциативного эксперимента с семантически неидентифицируемыми словами (типа *бридель, сабаль, сухмень, орсель, тинопль*). Эти результаты дали авторам возможность прийти к выводу о том, что формирование ассоциативных связей слов-реакций предопределяется семантическими факторами, на которые в свою очередь влияют консонантные и ударно-слоговые характеристики слов-стимулов.

В. И. Жельвис (Ярославль) в докладе «Фонетическая депласация как эмоциогенная функция» проанализировал четыре разновидности депласации (фонетического искажения слова или текста). По его мнению, это явление связано с «магией имени», с оценкой носителями языка словесной оболочки как неотъемлемого свойства выражаемого этим словом понятия. О принципиально произвольном, мотивированном характере языкового знака говорилось и в докладе Б. П. Сеничкиной (Куйбышев) «Роль фоносемантики слова в условиях порождения оговорок». Рассматривая языковой знак в качестве квазиобъекта (различия в нем знаковую форму и содержание), докладчица показала, что сходство на уровне формы знака создает условия для сбоя лексемы на уровне содержания (таково, например, сходство звукосочетательных моделей слов *повидло* и *подливка* — в них три слога, второй слог — ударный, из семи/восьми фонем шесть совпадающих).

В докладе Т. Л. Полукаровой (Пенза) «Фонетическая значимость английских монофтонгов» излагались результаты шкалирования >тих единиц выпускниками английского отделения специального факультета. Результаты атого исследования показали, что краткие английские монофтонги ассоциируются с признаками «хороший, маленький, светлый, быстрый, легкий, веселый, короткий, подвижный», а долгие монофтонги с признаками «плохой, большой, темный, медленный, тяжелый, грустный, количественный, длинный, медлительный». Монофтонги переднего ряда соотносятся

с признаками «нежный, безопасный», а монофтонги заднего ряда — с признаками «мужественный» и «страшный». ЛабIALIZED монофтонги оценивались испытуемыми как «округлые», не лабиализованные — как «угловатые», а монофтонги — дифтонгоиды воспринимались в качестве «шероховатых» (на фоне всех остальных «гладких» монофтонгов).

Рассмотрению роли фоносемантических средств в организации художественного текста были посвящены доклады А. Л. Чубаровой (Пенза) и Е. С. Петровой (Ленинград). В первом из них — «Фонетическое значение слова в стилиевой дифференциации английского текста» — рассматривалась (на материале стихотворения У. Теннисона «У моря») роль организации звуковой формы как художественного средства; во втором — «Изображение отступлений от фонетической нормы и их коммуникативно-прагматическое использование в английском тексте» — такое средство характеристики литературного персонажа, как фонетические особенности его речи (формы их передачи — ненормативная орфография, метаязыковой комментарий, цитаты — передразнивания). Изображение этих нарушений указывает на принадлежность говорящего к той или иной национально-языковой или социальной общности, а также возрастной группе.

Доклады Н. А. Аверьяновой (Пенза), Л. В. Ивановой (Оренбург), С. Ю. Косициной (Днепропетровск), Л. Н. Кучеровой (Пенза) были посвящены рассмотрению художественной литературы с фоносемантической точки зрения. В первом из них «Звукосимволизм и интерпретация поэтического текста» сопоставлялась звуковая организация стихотворения Э. По «The Bells» и его переводного варианта, предложенного В. Брюсовым («Звон»). Это сопоставление, по мнению докладчицы, крайне необходимо для адекватной интерпретации поэтического текста; во втором — «О фоносемантических поисках в языке современной поэзии» — рассматривались «приращения смысла», достигаемые за счет неоднократного повтора слов, тождественных или близких по сочетанию звуков; в третьем — «Некоторые идиостилевые особенности фоноико-грамматической структуры лирики Я. П. Полонского» — анализировались характерные черты поэтического языка поэта. В частности, С. Ю. Косициной было установлено, что повествовательная лирика Я. П. Полонского «маркирована» более ровным звукоупотреблением, чем романсная/напевная, имеющая строфическую композицию. В четвертом докладе — «О возможной типологии синтагматических фоносемантических средств» — об-

суждалась роль ассоциативной доминанты опорного слова в романе Г. Манна «Верноподданный». По мнению докладчицы, такого рода доминанты являются одним из важных средств создания подтекста художественного произведения.

В докладе О.Л. Шулеповой (Усть-Каменогорск) «Об одном из подходов к проблеме фоносемантического кода» была предпринята попытка определить это понятие, исходя из речевых особенностей художественного произведения, психического типа автора и реципиента.

Среди докладов, представленных на совещание, укажем еще на два. В первом — «Звукоизобразительность и диалектология: взаимовыгодное сотрудничест-

во» (авторы — О. И. Бродович, и Н. Н. Швецова — Ленинград) рассматривались те дополнительные возможности, которые дает диалектная лексика (английские звукоизобразительные слова) для решения фоносемантических — теоретических и прагматических — проблем. Во втором — «Экологические аспекты фоносемантики орнитонимов» (авторы — В.Д. Ильичев, О.Л. Силева, Ю.А. Сорокин — Москва) были представлены результаты сравнительного анализа разноязычных ониматопов и количественного сопоставления ониматопов и голосов птиц.

Сорокин Ю. А. (Москва)

PSKAAMA



СИСТЕМА ПРОВЕРКИ ТЕКСТОВ

^

SPELLCHECKER FOR RUSSIAN

**



4?

Вы работаете с русскими текстами на персональном компьютере? Вам поможет программа ОРФО — уникальное сочетание новейших достижений лингвистики и информатики.

ОРФО:

- проверяет правописание с помощью словаря в 120000 слов;
- выявляет ошибки согласования в предложениях;
- находит опечатки в знаках препинания;
- легко обучается новым словам.

ОРФО работает на компьютерах типа **IBM PC/AT/XT** и совместима с любым текстовым редактором.

103104. Москва, ул. Остужева, 7, корп. 2

Телефон: **(095) 290 35 24,**
299 99 04

Факс: **(095)200 22 16**

INFORMATIC MOSCOW №0823

**ИНФОРМАТИК
MOSCOW**

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

4. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

5. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

а) список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи;
б) ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3], [2–4], [1, 3]; в случае однородной ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте;

в) подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

6. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

8. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

Технический редактор *Белова Н. Н.*

Сдано в набор 26.06.90	Подаисано к печати 10.08.90	Формат бумаги 70x100*		
Высокая печать	Усл. печ. л. 13,0	Усл. кр.-отг. 72,1 тыс.	Уч.-изд. л. 15,7	Бум. л. 5,0
	Тираж 5479 экз.	Заказ 171	Цена 1 р. 60 к.	

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волконка, 18/2. Институт русского языка,
телефон 203-00-78

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6